

# Благодарность

Автор глубоко признателен своим коллегам по творческому семинару за их доброжелательные критические замечания, сделанные во время работы над этой книгой. Особая благодарность Луи Дематтэ, Роберту Футхорэпу, Гретхен Шилдс, Эми Хемпел, Дженнифер Барт, а также моим родным в Китае и США.

Море цветов трем чудесным людям, встреча с которыми была для меня радостью и удачей: моему редактору Фейт Сейл, которая верила в успех этой книги, моему литературному агенту Сандре Дийкстра, которая буквально спасла мне жизнь, и моему преподавателю Молли Джайлз, которая подвигла меня на написание этой книги и вплоть до завершения работы над ней оказывала мне всяческую поддержку.

*Посвящается моей матери и памяти ее матери*

*Однажды ты спросила, что останется в моей памяти.*

*Это и еще много другого.*

# КЛУБ РАДОСТИ И УДАЧИ

## *МАТЕРИ*

Суюань У  
Аньмэй Су  
Линьдо Чжун  
Иннин Сент-Клэр

## *ДОЧЕРИ*

Цзиньмэй (Джун) У  
Роуз Су Джордан  
Уэверли Чжун  
Лена Сент-Клэр

## ПЕРЫШКИ ИЗ-ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЛИ

*Одна пожилая женщина вспоминала, как много лет тому назад в Шанхае она купила лебедя за смешные деньги. Рыночная торговка, расхваливая птицу, сказала: «Он так вытягивал вперед шею в надежде стать гусем, что теперь — посмотрите только! — стал слишком красив, чтобы его зажарить!»*

*Потом эта женщина вместе с лебедем переплыли океан шириной в несколько тысяч ли, вытягивая свои шеи в сторону Америки. В пути женщина ворковала, обращаясь к лебедю: «В Америке у меня родится дочь, в точности такая, как я. Но там никто не будет судить о ее достоинствах исходя из того, как громко рыгает после еды ее муж. Там никто не станет смотреть на нее сверху вниз, потому что у нее будет чистейший американский английский, без малейших изъянов, уж я за этим прослежу. Там она всегда будет так сыта, что не сможет испить ни капли печали! И она поймет, что я имела в виду, потому что я дам ей лебедя — существо, которое превзошло свои надежды».*

*Но когда она прибыла в незнакомую страну, работники иммиграционной службы отняли у нее лебедя, оставив в ее дрожащих руках только одно перышко — на память. А потом ей пришлось заполнить столько всяких анкет, что она забыла, зачем приехала и что осталось у нее за плечами.*

*И вот эта женщина состарилась. У нее есть дочь, которая выросла, разговаривая только по-английски и испив куда больше кока-колы, чем печали. Уже несколько лет эта женщина все собирается отдать своей дочери лебединое перо и сказать: «Это перышко на первый взгляд не представляет никакой ценности, но оно приехало издалека и принесло с собой все мои лучшие намерения». И она все ждет год за годом того дня, когда сможет сказать это своей дочери на чистейшей американском английском.*

## Цзиньмэй У

### Клуб радости и удачи

Отец попросил меня занять мамино место за столом для игры в маджонг в Клубе радости и удачи. Оно опустело после маминой смерти два месяца тому назад. Папа считает, что маму убили ее собственные мысли.

— Ей в голову пришла какая-то идея, — сказал он. — Эта идея непомерно разрослась и взорвалась у нее в голове до того, как она успела ее высказать. Должно быть, она думала о чем-то очень плохом.

Врач сказал, что смерть наступила от кровоизлияния в мозг. По мнению маминых подруг из Клуба радости и удачи, она умерла быстро, как кролик, не успев завершить свои дела. Предполагалось, что очередное собрание Клуба радости и удачи состоится у нее.

За неделю до смерти она позвонила мне, жизнерадостная и самоуверенная:

— Для прошлой встречи Клуба тетя Линь готовила суп из красных бобов, а я сварю темный суп с кунжутными семечками.

— Не устраивай представлений, — сказала я.

— Это не представление. — Мама сказала, что оба супа примерно равноценны, *чабудо*. А может, она произнесла *бутон* — нечто совсем другое. Это Сан-францисский вариант Клуба радости и удачи мама организовала в тысяча девятьсот сорок девятом, за два года до моего рождения. В тот год мои родители уехали из Китая с одним только жестким кожаным чемоданом, набитым дорогими шелковыми платьями. Захватить с собой что-либо еще не оставалось времени, объяснила мама папе уже на корабле. Но его руки все еще продолжали лихорадочно перерывать скользкие шелка в поисках полотняных рубашек и шерстяных брюк.

По прибытии в Сан-Франциско папа велел маме спрятать подальше все дорогие шелковые вещи. Она не снимала коричневого китайского платья в скромную клеточку до тех пор, пока Общество по приему беженцев не выдало ей двух поношенных платьев; сшитые на американских женщин, эти платья были ей велики. Общество состояло из нескольких седовласых дам-миссионерок из Первой китайской баптистской церкви. Из-за этих подарков мои родители не могли отказаться от их приглашения посещать церковь. Не могли они отклонить и чисто практический совет дам

улучшить свой английский, посещая по средам вечерние занятия по изучению Библии, а чуть позже не посмели уклониться и от пения в церковном хоре по субботам с утра. Там мои родители познакомились с Чжунами, Су и Сент-Клэрами. Моя мама сумела почувствовать, что женщины из этих семей тоже оставили у себя за спиной, в Китае, трагедии, о которых были не в силах говорить, и привезли в Америку надежды, о которых пока еще не могли рассказать на своем скудном английском. Или, по крайней мере, распознала это по напряженному выражению их лиц. И увидела, как загорелись у них глаза, когда она посвятила их в свой план организовать Клуб радости и удачи, одно из таких китайских выражений, которые обозначают лучшую часть двойственных мыслей. Я никогда не запоминаю то, что сразу не поняла.



Идея создания Клуба пришла маме еще во времена ее первого замужества, это было в Куэйлине, перед тем как его захватили японцы. Поэтому для меня Клуб связан с ее куэйлинской историей. Эту историю мама всегда рассказывала, чтобы не скучать, когда уже нечего было делать, когда все чашки были перемыты, а пластиковый стол фирмы «Формика» дважды вытерт, когда папа погружался в чтение газет, прикуривая одну от другой сигареты «Пэлл-Мэлл», а это означало, что его лучше не беспокоить. В такие минуты мама вытаскивала коробку со старыми лыжными свитерами, которые нам присылали незнакомые сородичи из китайской колонии в Ванкувере. Она обрезала низ свитера, вытягивала из него перекрученную нитку и равномерными размашистыми движениями начинала наматывать ее на кусочек картона. Войдя в ритм этого монотонного занятия, мама приступала к своему рассказу. В течение многих лет она рассказывала мне одну и ту же историю, меняя только концовку, которая становилась все мрачнее, отбрасывая длинные тени на ее, а в конечном итоге и на мою жизнь.



— Задолго до приезда в Куэйлинь я мечтала о нем, — начинала мама по-китайски. — Я представляла себе зазубренные пики гор, обступающие

извилистую реку с зелеными берегами из волшебных мхов. Вокруг горных вершин клубились белые туманы. Если бы тебе удалось проплыть вниз по течению реки, питаясь волшебным мхом, ты бы набралась сил для того, чтобы взобраться на вершину. Оступившись, ты бы падала на мягкое ложе из мха и лишь смеялась. А достигнув вершины, с которой виден весь мир, испытала бы такое счастье, что его бы тебе хватило на всю оставшуюся жизнь.

В Китае все мечтали о Куэйлине. Приехав туда, я поняла, какими робкими были мои мечты и какими жалкими — мысли. При виде холмов я рассмеялась и вместе с тем содрогнулась. Их вершины были похожи на головы гигантских рыб, пытающихся выпрыгнуть из котла с кипящим маслом. За каждым холмом проступали тени других рыб, а за ними все новые и новые тени. Но стоило облакам чуть-чуть переместиться, и холмы мгновенно превращались в медленно наступающих на меня чудовищных слонов! Представляешь? А у подножия холмов были потайные пещеры, на сводах которых росли целые огороды из свисающих вниз камней, формой и цветом напоминающих капусту, арбузы, репу и лук. Ты представить себе не можешь, какое удивительное и прекрасное зрелище это было.

Но я приехала в Куэйлинь не для того, чтобы любоваться его красотами. Человек, который был моим мужем, привез меня с нашими двумя малышами в Куэйлинь, потому что считал, что там мы будем в безопасности. Он был офицером Гомиьндана. Оставив нас в маленькой комнатухе двухэтажного дома, он уехал на северо-запад, в Чункин.

Мы знали, что японцы побеждают, даже когда газеты писали обратное. Каждый день, каждый час в город стекались тысячи людей, они толпились на тротуарах и искали, куда бы приткнуться. Они приезжали с востока, с запада, с севера и с юга. Бедные и богатые, кантонцы и северяне, а кроме китайцев еще иностранцы и миссионеры всевозможных религий. И, конечно, гомиьндановские солдаты и офицеры, считавшие, что им нет равных.

Город был переполнен сорванными с насиженных мест людьми. Если бы не война, раздоров среди этого пестрого сборища было бы не избежать, причин хватало. Представь себе: жители Шанхая и крестьяне с севера, ростовщики и цирюльники, рикши и беженцы из Бирмы. Каждый смотрел на окружающих сверху вниз. То, что заплеванной тротуар был один на всех и что все страдали от одинаково изнурительного поноса, значения не имело. Все мы дурно пахли, но каждый утверждал, что другие пахнут гораздо хуже. Каково? Ах, как я ненавидела американских летчиков, восклицавших «Уй-йя!», чтобы вогнать меня в краску. Но самыми

омерзительными были крестьяне с севера, которые сморкались прямо в руку и толкались, заражая всех вокруг своими грязными болезнями.

Как ты понимаешь, Куэйлинь быстро потерял для меня все свое очарование. Я больше не взбиралась на вершины, чтобы воскликнуть: как прекрасны эти холмы! Меня интересовало только, какие из них уже захвачены японцами. В постоянном напряжении, с детьми на руках, я сидела в каком-нибудь из темных углов своего дома, готовая чуть что вскочить и бежать. Когда взывали сирены, оповещая о бомбежке, мы с соседями срывались с места и, словно дикие звери, бежали прятаться в глубокие пещеры. Однако подолгу сидеть в темноте невозможно. Что-то внутри тебя ссыхается, и ты начинаешь сходить с ума от жажды света. А снаружи рвутся бомбы. Бу-ум! Бу-ум! И градом сыплются камни. Мне теперь было не до всяких грядок из кочанов и клубней. Я видела только сочащиеся каплями воды внутренности древнего холма, которые могли обвалиться прямо на меня. Можешь себе представить, каково это, когда не хочется быть ни снаружи, ни внутри, а просто нигде — взять и исчезнуть?

Когда звуки бомбежки отдалялись, мы, как новорожденные котята, выползали из пещеры и пробирались в город. И меня всегда поражало, что холмы на фоне горящего неба еще на месте, что их еще не разнесло вдребезги.

Клуб я придумала однажды летней ночью. Было так жарко, что даже мотыльки падали на землю с отяжелевшими от горячих испарений крылышками. Город был заполнен беженцами — для свежего воздуха просто не оставалось места. Непереносимая вонь от сточных канав поднималась к моему окну на втором этаже, не находя ничего лучшего, как устремиться прямо мне в ноздри. В любой час дня и ночи снизу доносились визги. Это мог быть крестьянин, перерезающий горло заблудившейся свинье, или офицер, бьющий полуживого крестьянина за то, что тот загородил ему дорогу, разлегшись на тротуаре. Я не подходила к окну, чтобы узнать, в чем дело. Чего ради? И тогда-то я подумала: нужно что-то делать, нельзя опускать руки.

Моя идея заключалась в том, чтобы собрать четырех женщин за моим столом для игры в маджонг. Я заметила, кого нужно позвать. Все мы были молоды и полны сил. Одна, как и я, была женой офицера. Вторая — девушка с превосходными манерами из богатой шанхайской семьи, незамужняя. Она спаслась от японцев, успев захватить с собой совсем немного денег. Еще одна девушка была из Нанкина. Я никогда больше не видела таких черных волос, как у нее. По рождению она принадлежала к низкому сословию, но была очень мила и приятна и удачно вышла замуж,

за пожилого человека, который умер, оставив ей достаточное состояние, чтобы она могла неплохо жить.

Каждую неделю мы складывали деньги в общую копилку и поочередно собирались друг у друга, чтобы немного развеяться. Чтобы задобрить судьбу, хозяйке полагалось подавать особую еду *дяньсюнь*: пирожки в форме серебряных слитков, длинную рисовую лапшу, удлиняющую жизнь, вареный арахис, помогающий зачинать сыновей, и, конечно, апельсины, от которых жизнь становится изобильной и сладкой.

При наших скромных средствах мы угощали друг друга такими чудесными блюдами на этих вечеринках! И не обращали внимания на то, что начинка в пирожках была жесткой, а апельсины испещрены червоточинами. И ели понемногу — вовсе не потому, что еды было мало, нет, мы Делали вид, будто не можем проглотить ни кусочка добавки, потому что досыта наелись днем. Мы знали, что позволяли себе роскошь, доступную лишь немногим. Мы чувствовали себя счастливицами.

Наполнив желудки, мы наполняли деньгами чашку и ставили ее на видное место. Потом садились за игральный стол. Мой стол достался мне от родителей, он был сделан из очень пахучего красного дерева, не из того, которое вы называете палисандровым, а из *хонму* — оно такое замечательное, что в английском даже слова подходящего нет. У этого стола была такая толстая столешница, что, когда на нее высыпали фишки из драгоценной слоновой кости, ничего не было слышно, кроме постукивания костяшек друг о друга.

Едва начиналась игра, все разговоры прекращались. Только когда кто-нибудь брал фишку, слышалось отрывистое «Пон!» или «Чоу!». Играть полагалось со всей серьезностью, думая только о том, чтобы своим выигрышем заставить улыбнуться судьбу. После шестнадцати конов мы продолжали пиршество — на этот раз, чтобы отпраздновать удачу. А потом болтали до утра, рассказывая истории про хорошие времена, которые уже прошли, и хорошие времена, которые еще придут.

Ах, какие это были замечательные истории! Рассказы лились рекой! Мы смеялись до слез. Взять хотя бы историю про петуха, устроившего в доме переполох и с хриплым криком взлетевшего на гору обеденных чашек, в которых на следующий же день он преспокойно лежал, разрубленный на куски! Или о девушке, которая писала любовные письма от имени двух своих подруг, влюбленных в одного и того же мужчину. Или о глупой иностранке, которая во время фейерверка упала в обморок в туалете от разрыва шутих за стеной.

Все вокруг считали, что нехорошо устраивать еженедельные

пиршества, в то время как многие в городе умирают от голода, едят крыс, а позже и помои, которыми даже крысы гнушаются. Кое-кто думал, что мы одержимы бесами — веселиться, когда в наших же собственных семьях гибнут взрослые и дети, теряются дома и состояния, мужья разлучаются с женами, братья с сестрами, дети с родителями! Хмм! У нас спрашивали, как мы можем смеяться.

Но мы вовсе не были бездушными или слепыми. Всем нам было страшно. У каждой было свое горе и своя боль. Но отчаяние для нас было равносильно желанию вернуть то, что уже навсегда потеряно, или продлить то, что и так уже невыносимо. Сколько можно сокрушаться о любимом теплом пальто, которое осталось висеть в стенном шкафу в том доме, что сгорел вместе с твоими отцом и матерью? Как долго можно хранить в памяти чьи-то руки и ноги, раскачивающиеся на телеграфных проводах, и бегающих по улицам тощих собак, у которых из пасти свисают наполовину обглоданные человеческие конечности? Что лучше, спрашивали мы друг у друга, — сидеть и покорно ждать собственной смерти с подобающими случаю мрачными лицами или самим выбирать свою судьбу?

И мы решили устраивать вечеринки и каждую неделю отмечать нечто вроде Нового года. Каждую неделю можно было оставить в прошлом все наши невзгоды. Мы не позволяли друг другу думать ни о чем плохом. Мы пировали, смеялись, играли в игры, проигрывали и выигрывали и рассказывали замечательные истории. И каждую неделю мы надеялись на удачу. Эта надежда была нашей единственной радостью. Так мы пришли к мысли назвать наши маленькие вечеринки праздниками радости и удачи.

Мама обыкновенно заканчивала свой рассказ на бравурной ноте, хвастаясь своим умением играть:

— Я выигрывала много раз, и мне так везло, что подружки дразнили меня, спрашивая, где я научилась так хитрить и жульничать, — говорила она. — Я выигрывала десятки тысяч юаней. Однако совсем не разбогатела. Нисколько. К тому времени бумажные деньги обесценились. Даже туалетная бумага стоила больше. И мысль, что банкнота в тысячу юаней не годится даже на то, чтобы подтереться, заставляла нас помирать со смеху.

Для меня мамина куэйлиньская история долго оставалась волшебной китайской сказкой. Она всегда заканчивалась по-разному. Иногда мама говорила, что на обесцененную банкноту в тысячу юаней можно было купить полчашки риса. Рис превращался в кастрюлю каши. Эта размазня обменивалась на две свиные голяшки. Голяшки превращались в шесть яиц,

шесть яиц — в шесть цыплят. И так далее.

Но однажды вечером, после того как она отказалась купить мне транзисторный приемник и я, надувшись, просидела целый час молча, мама спросила:

— Как можно думать, что тебе не хватает чего-то, чего у тебя никогда и не было? — И рассказала мне конец истории совсем по-другому.

— Однажды рано утром ко мне пришел военный, офицер, — сказала она, — и велел быстро отправляться к мужу в Чункин. Я поняла, что он советует мне бежать из Куэйлиня. Я знала, что случилось с офицерами и их семьями, когда приходили японцы. Но как я могла уехать? Из Куэйлиня не ходили поезда. Помощь пришла от моей подруги из Нанкина. Она заплатила какому-то человеку, чтобы он украл тачку для угля, и пообещала предупредить остальных наших друзей.

Я уложила вещи и детей в тачку и покатила ее в сторону Чункина. Через четыре дня японцы вошли в Куэйлинь. По дороге от догнавших меня беженцев я узнала о кровавой резне в городе. Это было ужасно. Гомиьндановцы утверждали, что Куэйлинь надежно защищен китайской армией и находится в полной безопасности. Вплоть до последнего дня газеты трубили о великих победах Гомиьндана. А вечером того дня на улицах, усыпанных этими самыми газетами, рядами, словно свежеразделанная рыба, лежали люди — мужчины, женщины и дети, не утратившие надежд, но взамен расставшиеся с жизнью. Услыхав это, я изо всех сил заспешила дальше, спрашивая себя на каждом шагу: глупо они поступили или храбро?

Я толкала тачку в сторону Чункина до тех пор, пока у нее не сломалось колесо. Я бросила на дороге свой замечательный игровой стол из *хонму*. Но к тому времени все мои чувства притупились, и я не могла даже плакать. Я сделала из платков перевязи, посадила в них своих девочек и повесила их на плечи. В обеих руках я несла сумки: одну с одеждой, другую с едой. Их я тащила до тех пор, пока не стерла в кровь ладони. Когда липкими и скользкими от крови руками уже ничего нельзя было удержать, я побросала и эти сумки одну за другой.

По дороге я видела, что остальные беглецы делали то же самое, постепенно теряя всякую надежду. Дорога была просто вымощена сокровищами, и чем дальше, тем ценнее они становились. Рулоны превосходной ткани и книги. Портреты предков и плотничьи инструменты. Пока не начали попадаться клетки с притихшими утятами, разевавшими клювы от жажды, а потом даже серебряные урны, лежащие прямо посреди дороги, там, где их владельцы, расставшись с последней надеждой, решили

больше не тратить на них сил. К тому времени как я добралась до Чункина, я потеряла всё, за исключением трех нарядных шелковых платьев, надетых одно на другое.

— Что значит «всё»? — выдохнула я в конце. Меня ошеломила мысль, что такое могло произойти на самом деле. — А что случилось с детьми?

Мама не промедлила с ответом ни секунды. Просто сказала, давая понять, что больше ей уже нечего добавить:

— Твой отец не первый мой муж. И ты родилась уже потом.



Первый человек, которого я вижу, войдя в дом Су, где сегодня вечером собирается Клуб радости и удачи, — мой отец.

— Это она! Как всегда опаздывает! — восклицает он.

И это правда. Все семеро, папа и друзья моих родителей, уже здесь. Всем им за шестьдесят, а то и за семьдесят. Они смотрят на меня и смеются — всегда опаздывает, все еще ребенок в свои тридцать шесть.

Я стараюсь унять внутреннюю дрожь. В последний раз я видела их всех на маминых похоронах. Я была тогда совершенно убита и захлебывалась от рыданий. Сейчас им, должно быть, трудно себе представить, что мамино место может занять кто-то вроде меня. Один мой приятель сказал как-то, что мы с мамой похожи, что у нас одинаково изящные жесты, одинаковый детский смех и уклончивый взгляд. Когда я не без робости сообщила это маме, она с оскорбленным видом заявила: «Ты не знаешь даже сотой доли меня! Как ты можешь быть мною?» И была права. Как я могу заменить маму в Клубе радости и удачи?

— Тетя, дядя, — повторяю я, кланяясь всем по очереди. Я всегда звала этих старых друзей своих родителей тетями и дядями. И обойдя всех, подхожу к папе.

Он рассматривает фотографии, сделанные Чжунами во время их недавней поездки в Китай.

— Посмотри, — из вежливости говорит он, показывая на общий снимок американской группы, стоящей на лестнице с широкими ступенями. На этой фотографии нет ни малейшего признака того, что она была снята в Китае; с тем же успехом это мог быть Сан-Франциско или любой другой город. Но, кажется, папа даже не смотрит на фотографию. Такое впечатление, что ему это мало интересно. Он и всегда-то был вежливо-

безразличен. А теперь особенно. Какое же слово есть в китайском для обозначения безразличия из-за того, что вы не можете *увидеть* никаких различий? «Это так выбила его из колеи мамина смерть», — думаю я.

— Взгляни сюда, — говорит он, показывая мне следующую невыразительную фотографию.

В доме у Су оказываешься как бы под спудом тяжелых густых запахов. Слишком много китайских блюд приготовлено в слишком тесной кухоньке, слишком много ароматов, по отдельности восхитительных, спрессовано в один невидимый толстый слой. Я помню, как мама, входя к кому-нибудь в дом или в ресторан, принималась, а потом произносила громким шепотом: «Я носом видеть и чувствовать липкий грязь».

Я уже много лет не бывала у Су, но гостиная за это время несколько не изменилась. Она в точности такая, какой я ее помню. Переехав двадцать пять лет назад из Чайнатауна<sup>[1]</sup> сюда, в район Сансет, тетя Аньмэй и дядя Джордж купили новую мебель. Она вся еще здесь и даже выглядит почти новой под желтой пленкой. Та же полукруглая кушетка, обитая бирюзовым буклированным твидом. Те же журнальные столики в колониальном стиле, из массивных кленовых досок. Фарфоровая лампа с поддельными трещинами. Единственное, что меняется каждый год, — это длинный календарь из соломки, подарок Кантонского банка.

Я помню эту обстановку, потому что, когда мы были детьми, тетя Аньмэй, чтобы уберечь от нас свою новую мебель, закрыла ее прозрачной полиэтиленовой пленкой. Родители брали меня с собой к Су на собрания Клуба радости и удачи. Мне, как гостье, поручали следить за младшими детьми, которых было так много, что по крайней мере один из них обязательно ревел, ударившись головой о ножку стола.

«Ты ответственная», — говорила моя мама, и это означало, что, если что-нибудь будет разлито, сожжено, потеряно, сломано или испачкано, отвечать придется мне. Независимо от того, кто это сделал. Мама и тетя Аньмэй в эти дни надевали смешные китайские платья с жесткими стоячими воротниками и вышивкой шелком, изображавшей цветущие ветки. Мне эти платья казались слишком вычурными для настоящих китайцев и слишком нелепыми для американских вечеринок. В те дни, еще до того как мама рассказала мне свою куэйлиньскую историю, я считала, что Клуб радости и удачи — позорный китайский пережиток, вроде тайных сборищ куклуксклановцев или боевых плясок индейцев под звуки там-тама на экране телевизора.

Но сегодня ничего таинственного здесь нет. Тетушки радости и удачи

одеты в узкие брюки и яркие блузки с набивным рисунком, на ногах у них — разные варианты прочной прогулочной обуви. Мы все сидим за обеденным столом в столовой, под лампой, похожей на испанский канделябр. Дядя Джордж надевает бифокальные очки и открывает заседание зачитыванием протокола:

— «Наш капитал составляет 24 825 долларов, то есть примерно по 6206 долларов на супружескую пару или по 3103 доллара на человека. Мы продали „субару“, потеряв на ней шесть семьсот пятьдесят. Мы купили сто акций „Смит интернэшнл“, когда курс упал до семи. Приносим благодарность Линьдо и Тиню Чжун за угощение. Особенно удался суп из красных бобов. Встречу в марте пришлось отложить. Решение о следующей встрече было принято дополнительно. Мы скорбим об утрате нашего дорогого друга Суюань и выражаем соболезнования семье Каннина У. Представлено к рассмотрению, с почтением, Джордж Су, президент и секретарь».

Мне кажется, что сейчас они заговорят о моей маме, о чудесной дружбе, которой она их одарила, о том, что я приглашена сюда в память о ней и мне предлагается занять ее место за игральным столом, чтобы не пропала идея, пришедшая ей в голову жарким днем в Куэйлине. Но все лишь согласно кивают в знак принятия протокола. Даже папина голова спокойно покачивается вверх-вниз. И у меня возникает ощущение, что, занявшись новыми делами, они отложили мамину жизнь в сторону.

Тетя Аньмэй поднимается из-за стола и неторопливо идет на кухню готовить еду. Лучшая мамина подруга тетя Линь перебирается на бирюзовую кушетку и, сложив руки, наблюдает за мужчинами, все еще сидящими за столом. Тетя Иннин, запускает руку в свой мешочек с вязанием и вытаскивает оттуда начало крошечного голубого свитера. При каждой встрече мне кажется, что она еще больше усохла по сравнению с прошлым разом.

Дядюшки радости и удачи начинают обсуждать, какие бы акции им купить. Дядя Джек, младший брат тети Иннин, ратует за какую-то золотодобывающую компанию в Канаде.

— Это надежная защита от инфляции, — авторитетно заявляет он. По-английски он говорит лучше всех, почти без акцента. Кажется, хуже всех по-английски говорила моя мама, но зато она всегда утешалась тем, что ее китайский самый лучший. Она говорила на мандаринском диалекте с едва заметным шанхайским акцентом.

— Разве мы не собирались сегодня играть в маджонг? — громким шепотом обращаюсь я к туговатой на ухо тете Иннин.

— Потом, — отвечает она, — после полуночи.

— Дамы, вы на собрании Клуба или где? — спрашивает дядя Джордж.

После того как все единодушно голосуют за покупку акций канадской золотодобывающей компании, я отправляюсь на кухню, чтобы спросить у тети Аньмэй, почему Клуб радости и удачи начал вкладывать деньги в акции.

— Раньше мы играть маджонг, победитель забирай всё. Но выигрывать всегда один и тот же, и проигрывать один и тот же, — отвечает она. Она начинает вонтоны:<sup>[2]</sup> подцепляет палочкой кусочек приправленного имбирем мяса, выкладывает его на тончайший кусочек теста и одним плавным движением пальцев скрепляет края — получается крошечное подобие медицинского колпака. — У тебя нет удача, если кто-то есть ловкость. Потому мы давно решить делать вклад акции. Для этот уметь не надо. Даже твой мать был согласен.

Тетя Аньмэй подсчитывает вонтоны на стоящем перед ней подносе. Она уже сделала пять рядов по восемь штук в каждом.

— Сорок вонтоны, восемь человек, по десять каждый, еще пять ряды, — говорит она сама себе и продолжает свое дело. — Мы соображали. Очень умный. Теперь все мы выигрывать и проигрывать одинаковый. Мы можем получить удача на биржа. Теперь мы играть маджонг на удовольствие, чуть-чуть доллары, победитель забирать всё. Проигравший получать остатки еда! Так что каждый получать какой-то радость. Умный, а?

Я продолжаю наблюдать за тем, как тетя Аньмэй делает вонтоны. С такими быстрыми и умелыми пальцами не надо думать о том, что делаешь. Наверное, поэтому мама всегда возмущалась что тетя Аньмэй никогда не думает о том, что делает.

«Она неглупа, — сказала мама после одного случая, — но у нее нет хребта. На прошлой неделе мне в голову пришла отличная мысль. Я сказала ей: „Давай сходим в консульство и попросим документы для твоего брата“. И она готова была бросить все свои дела и немедленно туда бежать. Но потом поговорила с кем-то. Кто знает — с кем? И этот человек сказал ей, что она может навлечь неприятности на своего брата в Китае. Этот человек сказал, что ФБР внесет ее в список и потом она до конца своих дней не оберется хлопот. Этот человек сказал: „Ты попросишь ссуду под дом, а они скажут: никакой ссуды, потому что ваш брат коммунист“. Я ей сказала: „Да ведь у тебя-то уже есть дом!“ Но она все равно продолжала чего-то бояться. Тетя Аньмэй склоняется то в одну, то в другую сторону, — добавила мама, — и сама не знает почему».

Я смотрю на тетю Аньмэй и вижу приземистую ссутуленную женщину семидесяти с лишним лет с грузным телом и тонкими бесформенными ногами. У нее по-старушечьи мягкие и плоские кончики пальцев. Я раздумываю над тем, что же такое особенное она исхитрялась делать, чтобы всю жизнь вызывать нескончаемый поток критики с маминой стороны. И опять мне кажется, что мама всегда была недовольна своими друзьями, мной и даже моим отцом. Вечно чего-то не хватало. Вечно требовалось что-то улучшить. Вечно что-то было не сбалансировано. У каждого из нас какой-то элемент был в избытке, а другого не доставало.

Элементы — это из маминых представлений об органической химии. Человек сделан из пяти элементов, говорила она.

Слишком много огня — и у тебя плохой характер. Это как у папы, которого мама всегда ругала за курение, а он кричал, чтобы она помалкивала. Это сейчас он чувствует себя виноватым за то, что не позволял ей выговориться.

Недостает дерева — и ты слишком быстро склоняешься к чужому мнению и не можешь настоять на своем. Это как наша тетя Аньмэй.

Слишком много воды — и ты плывешь то в одну, то в другую сторону. Это как я: начала делать диплом по биологии, потом по искусству, но, не закончив ни того ни другого, бросила всё и устроилась на работу в небольшое агентство секретаршей, а потом занялась составлением рекламных проспектов.

Обычно я пропускала мимо ушей мамины замечания и не принимала всерьез ее китайских суеверий и примет, которые у нее имелись на все случаи жизни. Когда мне было уже за двадцать и я посещала курс по введению в психологию, я попыталась объяснить ей, что не стоит слишком сильно критиковать детей — это не лучший способ воспитания.

«В педагогике есть такой подход, — сказала я, — согласно которому родителям рекомендуется не ругать детей, а подбадривать. Понимаешь, люди стараются поступать так, как от них ждут. А когда ты делаешь замечание за замечанием, это означает, что ты ничего хорошего от человека не ждешь». — «В этом и проблема, — ответила мама. — Ты не стараться. Лень встать. Лень делать то, чего от тебя ждут».

— Все к столу! — радостно возвещает тетя Аньмэй, внося в комнату дымящуюся кастрюлю с вонтонами, которые она только что приготовила. На столе, сервированном а-ля фуршет, как на куэйлиньских вечеринках, куча еды. Папа зарывается в гору *чоу мейн*,<sup>[3]</sup> высящуюся на огромной алюминиевой сковороде, рядом с которой лежат маленькие пластиковые пакетики с соевым соусом. Тетя Аньмэй, должно быть, купила все это на

Климент-стрит. Суп с вонтонами, на поверхности которого плавают побеги цилатро, очень аппетитно пахнет. Я начинаю с большого блюда *часвей*, сладкой свинины, нарезанной кусочками размером с монетку и обжаренной на углях, потом перехожу к пирожкам, которые всегда называла «пальчиками», — они из тонкого хрустящего теста с разной начинкой: свинина, говядина, креветки и что-то непонятное, что мама относила к разряду «питательных вещей».

Едят здесь не слишком-то изысканно. Все, словно умирая от голода, набрасываются на свинину, норовя подцепить кусок побольше, и один за другим отправляют их в рот. Совсем не как дамы из Куэйлиня: те, по моим представлениям, ели с необыкновенным изяществом.

Покончив с едой, мужчины без долгих церемоний встают из-за стола и уходят. Женщины, будто стараясь от них не отстать, быстренько доклеывают последние лакомые кусочки, относят тарелки и чашки на кухню и сваливают всё в раковину. Потом по очереди моют руки, ожесточенно оттирая с них жир. Кто положил начало этому ритуалу? Я тоже ставлю свою тарелку в раковину и мою руки. Тетушки разговаривают о поездке Чжунов в Китай, а потом мы все идем в заднюю комнату. По дороге проходим через бывшую спальню четырех сыновей Су. Двухъярусные кровати с истертыми, щербатыми лесенками все еще здесь. Дядюшки радости и удачи уже сидят за карточным столом. Дядя Джордж быстро тасует карты — так, словно научился этому в казино. Папа с зажатой в губах сигаретой протягивает кому-то свою пачку «Пэлл-Мэлл».

Мы входим в заднюю комнату, где когда-то спали три девочки Су. В детстве мы с ними были подружками. Сейчас они выросли и повыходили замуж, а я опять пришла поиграть в их комнату. За исключением запаха, камфары, здесь все такое же — кажется, будто вот-вот войдут Роуз, Руфь и Дженис с накрученными на банки из-под апельсинового сока волосами и плюхнутся на свои абсолютно одинаковые узкие кровати. Белые ворсистые покрывала на постелях истерты настолько, что стали почти прозрачными. У нас с Роуз была привычка выдергивать из них узловатые ниточки, обсуждая свои проблемы с мальчишками. Ничего с тех пор не изменилось, только сейчас в центре комнаты стоит низкий стол для игры в маджонг, выкрашенный под красное дерево. Стол освещен напольной лампой, длинной черной трубкой с тремя продолговатыми лампочками, похожими на широкие листья каучуконоса.

Никто не говорит мне: «Сядь сюда, здесь было место твоей мамы». Но я угадываю, где оно, еще до того, как все рассаживаются. Какая-то пустота ощущается в ближайшем к двери кресле. И дело тут, пожалуй,

даже не в кресле. Просто это ее место за столом. Безо всяких подсказок я знаю, что мама сидела на восточной стороне стола.

«Все начинается на востоке, — сказала мне мама однажды, — с восточной стороны встает солнце и приходит ветер».

Тетя Аньмэй, сидящая слева от меня, высыпает костяные фишки на зеленое сукно и говорит мне:

— Теперь надо перемешать фишки.

Мы круговыми движениями двигаем их по столу: получается нечто вроде водоворота. Когда костяшки сталкиваются друг с другом, слышится сухой шорох.

— Ты тоже выигрывать, как твоя мама? — через стол обращается ко мне тетя Линь. На лице у нее нет ни тени улыбки.

— Я только в колледже играла немного с друзьями-евреями.

— Ахх! Еврейский маджонг, — произносит она с отвращением. — Это совсем не то.

Мама тоже всегда так говорила, хотя никогда не могла объяснить толком почему.

— Может быть, сегодня мне не стоит играть? Я просто посмотрю, — предлагаю я.

Тетя Линь, как несмышленому ребенку, сердито мне выговаривает:

— И как же мы будем играть втроем? Это словно стол три ножки: нет равновесие. Когда умирать муж у тетя Иннин, она попросить свой брат составлять компанию. Твой отец попросить тебя. Так что это решено.

«Какая разница между китайским и еврейским маджонгом?» — как-то спросила я у мамы. Из ее ответа было невозможно понять, заключаются ли различия в самой игре или просто в мамином отношении к китайцам и евреям. «Совершенно разный стиль игра, — сказала она наставительно; по-английски она всегда говорила таким тоном. — Еврейский маджонг, они смотреть только своя фишка, играть только свои глаза».

Потом мама перешла на китайский: «Играя в китайский маджонг, ты должна шевелить мозгами и всё рассчитывать. Следить за тем, что выбрасывают остальные, и хорошенько это запоминать. А если все играют плохо, игра становится похожа на еврейский маджонг. Зачем только играют? Никакой стратегии. Сидишь и смотришь, как люди делают ошибку за ошибкой».

После такого рода разъяснений я понимала, что мы с мамой говорим на разных языках. Так оно и было на самом деле. Я обращалась к ней по-английски, она отвечала по-китайски.

— А в чем разница между китайским и еврейским маджонгом? —

спрашиваю я тетю Линь.

— Айя-йя! — насмешливо восклицает она. — Твоя мама ничему тебя не научила?

Тетя Иннин похлопывает меня по руке:

— Ты сообразительный девочка. Ты смотришь, как мы, делаешь тот же самый. Помогать фишка на фишка строить четыре стена.

Я повторяю все, что делает тетя Иннин, но слежу главным образом за тетей Линь. Она играет настолько быстро, что успевает сделать всё раньше всех, и нам остается только смотреть ей на руки. Тетя Иннин бросает кости, и мне говорят, что тетя Линь стала восточным ветром. Мне выпало быть северным ветром, мой ход — последний. Тетя Иннин — южный ветер, тетя Аньмэй — западный. Потом мы набираем фишки: бросаем кости, отсчитываем, двигаясь по стене в обратном направлении, с какого места их брать. Я сортирую свои: ряд бамбуков, ряд кружков, раскладываю парами фишки с цветными драконами, откладываю в сторону непарные фишки, которые ни к чему не подходят.

— Твоя мама была самый лучший, как профи, — говорит тетя Аньмэй, неторопливо сортируя свои фишки и внимательно рассматривая каждую.

Наконец мы приступаем к игре: смотрим, что у нас на руках, на своем ходе выкладываем одни фишки, берем другие. Тетушки радости и удачи начинают понемногу болтать, практически не слушая друг друга. Они говорят на своем особом языке, смеси ломаного английского с каким-нибудь из китайских диалектов. Тетя Иннин рассказывает, как где-то в городе купила пряжу за полцены. Тетя Аньмэй хвастается, что связала какой-то необыкновенный свитер для новорожденной дочери Руфи.

— Она думать, он из магазин, — гордо заявляет она.

Тетя Линь рассказывает, как ее разъярил один продавец, отказавшийся принять назад юбку со сломанной молнией.

— Я была *чисылэ*, — говорит она, все еще кипяťясь, — взбешена до смерти.

— Однако, Линьдо, ты все еще с нами. Ты не умер, — поддразнивает ее тетя Иннин и сама смеется, а тетя Линь между тем говорит: «Пон!» и «Маджонг!» — и выбрасывает свои фишки, смеясь, в свою очередь, над тетей Иннин и подсчитывая очки. Мы снова перемешиваем фишки. Я начинаю скучать, меня клонит в сон.

— О, что я вам рассказать, — громко произносит тетя Иннин.

Все вздрагивают. Тетя Иннин — загадочная женщина, всегда погруженная в собственные мысли, немного не от мира сего. Моя мама часто говорила: «Тетя Иннин не уметь слушать. Она уметь слышать».

— Полиция арестовать сын миссис Эмерсон прошлый выходной, — говорит тетя Иннин таким торжественным тоном, будто гордится, что сумела первой сообщить столь важную новость. — Миссис Чан сказать мне в церковь. Его машина слишком много телевизор.

Тетя Линь быстро произносит:

— Айя-йя, миссис Эмерсон хорошая дама, — имея в виду, что миссис Эмерсон не заслуживает такого позора.

Но тут я вину, что это еще и камушек в огород тети Аньмэй, чей младший сын тоже был арестован два года назад за торговлю краденными автомобильными магнитофонами. Тетя Аньмэй тщательно протирает свою фишку, перед тем как ее сбросить. Она выглядит уязвленной.

— Каждый в Китае теперь иметь телевизор, — говорит тетя Линь, меняя тему разговора. — У весь наш родня там есть много телевизор — не просто черно-белый, но цветной и дистанционный управление! У них есть всё. Когда мы спросить, что им покупать, они сказать ничего, достаточно то, что вы приехать в гости. Но мы все равно покупать им всякое, видеоприставки и плееры «Сони» для дети. Они сказать, нет, не надо этот, но я думать, им понравилось.

Бедная тетя Аньмэй трет свою фишку еще энергичнее. Я вспоминаю, как мама рассказывала мне о поездке Су в Китай три года назад. Тетя Аньмэй накопила две тысячи долларов, чтобы истратить всё на семью брата. Она показывала моей маме содержимое своих тяжелых сумок. Одна была битком набита всякими сладостями: шоколадными батончиками, драже, засахаренными орешками, быстрорастворимым какао и маленькими упаковками фруктового чая. Мама говорила, что еще была целая сумка с самой что ни на есть несуразной одеждой: яркие купальники в калифорнийском стиле, бейсболки, полотняные штаны с эластичным корсажем, летние куртки, свитера с эмблемой Стэнфорда, спортивные носки — все новое.

Мама сказала ей: «Кому нужны эти шмотки? Все хотят только денег». Но тетя Аньмэй ответила, что ее брат очень беден, а они по сравнению с ним очень богаты. Так что она проигнорировала мамин совет и взяла свои неподъемные сумки и две тысячи долларов. Когда их туристская группа наконец прибыла в Ханьчжоу, все родственники из Нинбо их уже там встречали. Приехал не только младший брат тети Аньмэй, но и сводные братья и сестры его жены, какая-то дальняя кузина, муж этой кузины и даже этого мужа дядя. Каждый привез свою свекровь и всех детей и даже своих деревенских друзей, которые не могли похвастаться заокеанскими родственниками.

Мама рассказывала: «Перед отъездом в Китай тетя Аньмэй плакала; она думала, что, по коммунистическим меркам, просто озолотит и осчастливит своего брата. Но вернувшись домой, она плакала уже по другой причине: каждый из родственников чего-то требовал, — и жаловалась мне, что изо всей семьи только она одна уехала из Ханьчжоу с пустыми руками».

Мамины опасения подтвердились. Свитера и прочие шмотки никому не были нужны. Сладости разлетелись в считанные секунды. А когда чемоданы опустели, родственники спросили, что еще привезли Су.

Тетю Аньмэй и дядю Джорджа вынудили раскошелиться не только на телевизоры и холодильники, стоимость которых составила как раз две тысячи долларов, но и заплатить за ночевку двадцати шести человек в отеле «Над озером», за три банкетных стола в ресторане, накрытых с расчетом на богатых иностранцев, купить по три отдельных подарка каждому родственнику, и, наконец, у них заняли пять тысяч юаней для некоего дяди кузины, которому очень хотелось купить мотоцикл и который потом испарился вместе с деньгами. Когда на следующий день поезд увозил Су из Ханьчжоу, они обнаружили, что по доброй воле избавились от суммы примерно в девять тысяч долларов. Уже много месяцев спустя, воодушевленная рождественской службой в Первой китайской баптистской церкви, тетя Аньмэй сделала попытку возместить себе хотя бы моральный урон, заявив, что Богу более угоден дающий, чем получающий, и моя мама заверила свою старинную подругу в том, что та совершила благодеяний по меньшей мере на несколько жизней вперед.

Слушая теперь, как тетя Линь расхваливает своих родственников в Китае, я понимаю: она словно бы не замечает того, что наступает тете Аньмэй на больную мозоль. Интересно, это она сознательно или же мама никому, кроме меня, не рассказывала историю о постыдной жадности родственников тети Аньмэй?

— Ты учишься, Цзиньмэй? — спрашивает тетя Линь.

— Ее звать Джун. Их всех звать по-американский, — говорит тетя Иннин.

— Так тоже можно, — говорю я.

Я в самом деле не против. Теперь среди родившихся в Америке китайцев входит в моду называть себя китайскими именами.

— Только я уже давно не учусь, — продолжаю я. — Уже больше десяти лет.

Брови тети Линь выгибаются дугой:

— Наверное, я думать на чей-то еще дочь, — произносит она, но я ни секунды не сомневаюсь, что она говорит неправду. Я догадываюсь, что

мама, вероятно, сказала ей, будто я собираюсь доучиться и получить диплом: у нас с ней действительно каких-нибудь месяцев шесть назад состоялся очередной разговор о том, что я — не одолевшая колледжа неудачница, «недоучница», и что пора бы мне вернуться в университет.

В очередной раз я сказала маме то, что ей хотелось услышать: «Ты права. Я об этом подумаю».

Я всегда полагала, что у нас с мамой был на этот счет некий негласный договор: она вовсе не считает меня неудачницей, а я честно обещаю ей впредь прислушиваться к ее мнению. Но то, что сказала тетя Линь, лишний раз напоминает мне: между мной и мамой никогда не было настоящего взаимопонимания. Мы переводили сказанное друг другом каждая на свой язык, и, кажется, я слышала меньше того, что говорила мама, а она, наоборот, больше, чем сказала я. Наверняка после того разговора она сообщила тете Линь, что я возвращаюсь в колледж и собираюсь защищать диплом.

Тетя Линь с мамой были лучшими подругами и одновременно тайными врагами, они всю жизнь только и делали, что сравнивали своих детей. Я была на месяц старше Уэверли Чжун — удостоенной многочисленных наград дочери тети Линь. С самых пеленок форма наших пупков и очертания мочек подвергались тщательнейшему сравнению. Наши матери обсуждали, у чьей дочери гуще и чернее волосы, у кого скорее заживают болячки на коленках, кто снашивает больше пар обуви в год. Потом появились другие темы: какие поразительные успехи в шахматах делает Уэверли, как много наград она завоевала в прошлом месяце, сколько газет напечатало ее имя, в скольких городах она побывала.

Я знаю, мама страдала, слушая рассказы тети Линь про Уэверли, — ей ведь нечего было этому противопоставить. Поначалу она пыталась развить во мне какие-нибудь скрытые таланты. Взялась помогать по хозяйству ушедшему на пенсию старому учителю музыки, который за это учил меня играть на пианино и разрешал пользоваться его инструментом для подготовки к урокам. Когда же я не состоялась ни как концертирующий пианист, ни даже как аккомпаниатор детского церковного хора, мама объяснила это тем, что я немного задерживаюсь в развитии, как Эйнштейн, которого все считали отсталым, пока он не изобрел бомбу.

Эту партию выигрывает тетя Иннин. Мы подсчитываем очки и начинаем игру снова.

— Вы знали, что Лена переехать на Вудсайд? — спрашивает тетя Иннин с нескрываемой гордостью, глядя на свои фишки и ни к кому конкретно не обращаясь. И, быстро согнав с лица улыбку, добавляет с

деланной скромностью: — Конечно, это не самый лучший дом на тот район, не за миллион доллар, совсем нет. Но это хорошо вложение. Лучше, чем снимать квартира. Лучше, чем под чей каблук, кто вас стирать в пыль.

Из этого я делаю вывод, что Лена, дочь тети Иннин, рассказала ей о том, как меня выселили из квартиры на Русском холме. Мы всё еще дружим, но с годами стали очень осмотрительны и стараемся не говорить друг другу ничего лишнего. И все равно, сколь бы мало ни было сказано, наши слова, как в игре в испорченный телефон, передаются по кругу и часто возвращаются к нам в искаженном виде.

— Уже поздно, — говорю я, когда мы заканчиваем кон, и начинаю подниматься, но тетя Линь заталкивает меня обратно в кресло:

— Сиди, сиди. Мы немного поговорить, надо узнавать тебя по-новый, — говорит она. — Много время проходить.

Я знаю, эти возражения — лишь вежливый жест со стороны тетушек радости и удачи, а на самом деле им все равно, уйду я или останусь.

— Нет-нет, мне правда уже пора, спасибо, спасибо вам, — произношу я, довольная тем, что вспомнила, каких слов требуют правила этой игры.

— Нет, ты должна оставаться! У нас есть что-то важный сказать тебе про твоя мама, — выпаливает тетя Иннин, по своему обыкновению громко. Остальные, похоже, немного растерялись, будто они вовсе не так планировали выложить мне какие-то плохие известия.

Я снова сажусь. Тетя Аньмэй быстро выходит из комнаты и, возвратившись с чашкой арахиса, плотно притворяет за собой дверь. Все сидят тихо, словно никто не знает, с чего начать.

Первой нарушает молчание тетя Иннин.

— Я думаю, твоя мама умирать с важный мысль в голова, — начинает она на ломаном английском. И продолжает по-китайски, спокойно и мягко: — Твоя мама была очень сильная женщина и хорошая мать. Она любила тебя больше собственной жизни. И поэтому тебе нетрудно будет понять, что такая мать, как она, не могла забыть своих старших дочерей. Она верила, что они живы, и до самой смерти хотела их разыскать.

Дети в Куэйлине, думаю я. Я родилась уже потом. Дети в перевязи у нее на плечах. Ее другие дочери. И тут я словно попадаю в Куэйлинь под бомбежку и явственно вижу этих детей. Они лежат на обочине дороги, размахивая красными обслюнявленными ручонками, и пронзительно кричат, требуя, чтобы их оттуда забрали. Кто-то их подобрал. Они спасены. И теперь моя мама навсегда покидает меня и возвращается в Китай к этим детям. Я едва слышу голос тети Иннин.

— Она много лет разыскивала их, рассылая письма в разные города, —

говорит тетя Иннин. — И в прошлом году получила адрес. Она собиралась вскоре рассказать об этом твоему отцу. Айя-йя, какое горе. Прождать целую жизнь.

Тетя Аньмэй прерывает ее взволнованным голосом:

— Поэтому мы с твои тетушки писать на этот адрес, — говорит она. — Мы сообщить, что один сторона, твой мать, хотеть встретить другой сторона. И этот сторона нам ответил. Они твои сестры, Цзиньмэй.

Мои сестры, говорю я себе, впервые в жизни произнося эти два слова вместе.

Тетя Аньмэй держит в руках листочек тонкой папиросной бумаги. Я вижу написанные синей перьевой ручкой китайские иероглифы, выстроившиеся идеально ровными столбцами. Одно слово расплылось. Слеза? Дрожащими руками беру письмо, с изумлением думая, какими способными должны быть мои сестры, чтобы уметь читать и писать по-китайски.

Тетушки улыбаются мне, словно я только что была смертельно больна и вдруг чудесным образом исцелилась. Тетя Иннин вручает мне другой конверт. Внутри лежит чек на имя Джун У на сумму в тысячу двести долларов. Я не могу поверить своим глазам.

— Мои сестры посылают *мне* деньги? — спрашиваю я.

— Нет-нет, — говорит тетя Линь своим язвительным голосом. — Каждый год мы копим свои выигрыши в маджонг для большой банкет в дорогой ресторан. Больше всего выигрывать твой мать, так что эти деньги в основном его. Мы добавим всего ничего, так что ты можешь ехать Гонконг, сесть поезд Шанхай и увидеть свои сестры. А мы и так стать слишком богатый, слишком толстый. — В доказательство она похлопывает себя по животу.

— Увидеть своих сестер, — машинально повторяю я. Пытаюсь представить себе, что увижу, и эта перспектива меня ужасает. Меня приводит в замешательство еще и другое: тетушки, конечно же, всё придумали про ежегодный банкет, чтобы замаскировать собственное великодушие. И я плачу и смеюсь сквозь слезы, пораженная их преданностью моей маме.

— Ты должна увидеть своих сестер и рассказать им о смерти твоей мамы, — говорит тетя Иннин. — Но главное, ты должна рассказать им о ее жизни. Они должны узнать мать, которой никогда не знали.

— Увидеть сестер, рассказать им о моей маме, — повторяю я кивая. — Что же я им скажу? Что я могу рассказать им о моей маме? Я ничего не знаю. Она была моей мамой.

Тетушки смотрят на меня так, словно я прямо у них на глазах сошла с ума.

— Не знать свой собственный мать?! — с недоумением восклицает тетя Аньмэй. — Как ты можешь такой говорить? Твой мать в твоих костях!

— Расскажи им про свои родители. Как они достигают успех, — предлагает тетя Линь.

— Расскажи им то, что она рассказывала тебе, то, чему она тебя учила. Расскажи, что ты знаешь об ее уме, который стал твой, — говорит тетя Иннин. — Твой мать — мудрый женщина.

Я выслушиваю множество других вариаций на тему «Скажи им, скажи им» — каждая тетушка, волнуясь, спешит прибавить что-нибудь свое.

— Какая она добрая.

— Какая умная.

— Как много она делать для семья.

— Про ее надежды и что был для нее самый важный.

— Как замечательно она готовила.

— Подумать только, дочь не знать собственный мать!

И тут до меня доходит. Они испуганы. Они видят во мне своих собственных дочерей, не очень-то интересующихся их прошлым и ничего не знающих о надеждах, с которыми их матери ехали в Америку. Дочерей, которым не хватает терпения выслушивать их, когда они говорят по-китайски. Дочерей, считающих своих матерей недалекими, оттого что те изъясняются на ломаном английском. Дочерей, чьи куцые американские мозги не способны понять, что слова «радость» и «удача», если их поставить рядом, превращаются в одно слово. Дочерей, которые вынашивают детей, понятия не имея о переходящей из поколения в поколение надежде.

— Я всё им расскажу, — просто говорю я, и тетушки смотрят на меня с сомнением на лицах.

— Я вспомню о ней всё и расскажу им, — говорю я более уверенно.

И постепенно, одна за другой, они начинают улыбаться и похлопывают меня по руке. Они все еще встревожены, как будто равновесие восстановлено не окончательно. Но в их глазах уже появилась надежда: они готовы поверить, что я так и сделаю. О чем еще они могут меня попросить? Что еще я могу им пообещать?

И они снова принимаются за свой вареный арахис и продолжают рассказывать друг другу разные истории. Они снова молоденькие девушки, мечтающие о хороших временах, которые уже прошли, и хороших временах, которые еще придут. Брат из Нинбо, который заставит свою сестру расплакаться от радости, вернув ей девять тысяч долларов с процентами. Младший сын, чье дело по ремонту магнитофонов и телевизоров приносит такой доход, что излишки он посылает в Китай. Дочь, чьи дети могут плавать как рыбы в роскошном бассейне на Вудсайде. Такие замечательные истории. Такие чудесные. Они счастливицы.

А на мамином месте за столом для игры в маджонг, на востоке, где все начинается, сижу я.

# Аньмэй Су

## Шрам

Когда я была еще маленькой и жила в Китае, моя бабушка, говоря со мной, называла мою маму призраком. Это вовсе не означало, что мамы не было в живых. В то время призраком называли всё, о чем было запрещено говорить. Из этого я заключила, что Попо хочет, чтобы я забыла свою мать. Так оно и получилось: я ничего о ней не помнила. Та жизнь, которую я помнила, начиналась с большого дома с холодными коридорами и крутыми лестницами. Это был дом моих дяди и тети в Нинбо, я жила там с Попо и моим младшим братишкой.

Я часто слышала рассказы о привидениях, которые похищают детей, особенно своенравных и непослушных маленьких девочек. Я много раз слышала, как Попо произносила нарочито громким голосом, что мы с братом выпали из внутренностей глупой гусыни, что мы просто два никому ненужных яйца, которые не годятся даже на то, чтобы вбить их в рисовую кашу. Она говорила это для того, чтобы призраки нас не похитили. Как видишь, для Попо мы все же представляли некоторую ценность.

Попо пугала меня всю мою жизнь. Больше всего она меня напутала, когда заболела. Это случилось в тысяча девятьсот двадцать третьем году, когда мне было девять лет. Попо вся отекала и напоминала перезрелую тыкву, тело ее стало мягким и начало гнить, издавая тяжелый запах. Она вызывала меня к себе в комнату, где стояла жуткая вонь, и заводила свои бесконечные рассказы. «Аньмэй, — говорила она, называя меня тем именем, под которым меня знали в школе, — слушай внимательно». — И начинала рассказывать истории, которых я не понимала.

Одна из них была о жадной девушке, живот которой становился день ото дня все толще. Отказавшись признаться, чьего ребенка она носит, девушка отравилась. Когда монах вскрыл ее, внутри оказалась большая белая тыква. «Если человек жадный, он всегда испытывает голод из-за того, что у него внутри», — заключила Попо.

В другой раз Попо рассказала мне про девочку, которая не слушалась старших. Однажды эта непослушная девчонка так сильно трясла головой, отказываясь выполнить очень простую просьбу своей тети, что у нее из уха выпал маленький белый шарик и через образовавшееся отверстие вытекли

все ее мозги, прозрачные, как куриный бульон. «Когда только твои собственные мысли бродят у тебя в голове, ничему другому там не остается места», — сказала мне Попо.

Незадолго до того как Попо ослабела до такой степени, что не могла даже говорить, она прижала меня к себе и заговорила о моей матери. «Никогда не произноси ее имя, — предупредила она. — Произносить ее имя значит плевать на могилу твоего отца».

Единственный известный мне отец был большой картиной, висевшей в парадном зале. Это был крупный не улыбающийся мужчина, угрюмость которого явно проистекала от постоянного пребывания на стене. Его взгляд неотступно преследовал меня по всему дому. Даже из своей комнаты, расположенной в конце этого зала, я видела наблюдающие за мной глаза отца. Попо говорила, что он следит за тем, чтобы я не вздумала проявить неуважение. Поэтому в те дни, когда я в школе швырялась камнями в других детей или теряла по собственной небрежности учебник, я старалась с невинным видом побыстрее проскользнуть мимо отца и спрятаться в укромном уголке своей комнаты, куда он не мог заглянуть.

Наш дом казался мне злосчастливым, но мой братишка, по-видимому, так не думал. Он колесил на своем велосипеде по внутреннему двору, разгоняя кур и детей, и смеялся над теми, кто громче всех визжал. А когда дядюшка и тетушка уходили в гости, он забирался на парадные пуховые диваны и прыгал на них, нарушая благочинную тишину, царившую в доме.

Но однажды беззаботности даже моего брата пришел конец. Как-то жарким летним днем — Попо тогда была уже очень больна — мы стояли за воротами, наблюдая за деревенской похоронной процессией, шествовавшей мимо нашего дома. Как раз в тот момент, когда она поравнялась с нашими воротами, портрет покойного в тяжелой раме сорвался со своей подставки и упал на пыльную землю. Какая-то старушка взвизгнула и потеряла сознание. Мой братец засмеялся, за что тут же получил оплеуху от тетушки.

Моя тетя, которая была очень строга с детьми, сказала, что он такой же, как наша мать: никакого *чоу* — уважения к предкам и семье. Язычок у нашей тетушки был как ненасытные ножницы, режущие шелк. Поэтому, когда мой брат взглянул на нее с кислой миной, тетя добавила, что наша легкомысленная мать сбежала на север в такой спешке, что не забрала из семьи отца ни мебели, полученной ею в приданое, когда она выходила замуж, ни десяти пар серебряных палочек для еды; она удрала, не воздав должного уважения ни могиле нашего отца, ни могилам предков. Тогда мой брат обвинил тетушку в том, что это она прогнала нашу мать, а

тетушка закричала, что наша мать вышла второй раз замуж за человека по имени У Цинь, у которого уже была одна старшая жена, две младших и куча гадких детей.

А когда мой братишка крикнул, что тетушка просто-напросто безмозглая курица, она прижала его к воротам и плюнула ему в лицо.

— Не смей обзывать меня, ничтожество! — сказала тетушка. — Ты сын матери, которая настолько лишена почтения к предкам, что стала ни, предательницей. Она так унизила себя, что даже дьявол должен смотреть вниз, чтобы увидеть ее.

Именно с того момента я начала понимать поучительные истории, которые мне рассказывала Попо, и извлекать из них уроки, которые я должна была учить за свою маму. «Потерять свое лицо, Аньмэй, — часто говаривала Попо, — это то же самое, что уронить ожерелье в колодец. Единственный способ получить его обратно — самой нырнуть за ним».

Теперь я смогла представить себе свою маму, легкомысленную женщину. Она заливалась хохотом и в знак протеста трясла головой, она раз за разом погружала свои палочки в чашку с фруктами, чтобы выловить еще один сладкий кусочек, счастливая, что освободилась от Попо, от своего угрюмого мужа на стене и от двух непослушных детей. Я чувствовала себя несчастной оттого, что моей матерью была такая женщина, и вдвойне несчастной — оттого, что она бросила нас. Вот о чем я думала, прячась в углу своей комнаты, где взгляд отца не мог настичь меня.



Я сидела на верхних ступеньках лестницы, когда она приехала. Я поняла, что это моя мама, несмотря на то что не могла припомнить, чтобы когда-нибудь до этого видела ее. Она встала в дверном проеме так, что ее лицо сделалось темной тенью. Она была гораздо выше тети, ростом почти с дядю. Выглядела она немного странно, как дамы-миссионерши у нас в школе, смелые и самоуверенные, со своими слишком высокими каблуками, западной одеждой и короткими стрижками.

Тетя тут же отвернулась, не обратившись к ней по имени и не предложив ей чаю. Старая служанка тоже заспешила прочь с недовольным видом. Я старалась сидеть тихонько, но мое сердце отчаянно колотилось, словно кузнечик, старающийся выбраться из коробочки. Должно быть, и у

моей мамы в груди было сердце, потому что она взглянула наверх. И когда она это сделала, я увидела, что на меня смотрит мое собственное лицо. Широко открытые глаза, которые видели слишком много.

В комнате Попо, пока мама шла к кровати, тетушка пыталась протестовать:

— Слишком поздно, слишком поздно.

Но маму это не остановило.

— Не уходи, останься, — прошептала она Попо. — *Ньюйер* здесь. Твоя дочь вернулась.

Глаза Попо были открыты, но она ничего не видела: ее мысли, разбежавшись в разные стороны, бродили где-то, ни в одном месте не останавливаясь надолго. Будь сознание Попо ясным, она бы подняла обе руки и вышвырнула маму из комнаты.

Впервые увидев свою маму, я наблюдала за ней, за этой красивой женщиной с белой кожей и овальным лицом, не таким круглым, как у тетушки, и не таким острым, как у Попо. Я заметила, что у нее была длинная и белая шея, точь-в-точь как у гусыни, той гусыни, которая снесла меня как яйцо. Словно привидение, она летала туда-сюда по комнате, прикладывая холодные тряпки к распухшему лицу Попо. Глядя подолгу в глаза Попо, она издавала мягкие квохчущие звуки, выражавшие тревогу. Я наблюдала за ней с осторожностью, но ее голос, близкий и знакомый, как забытый сон, уже смутил меня.

Когда немного погодя я пошла к себе в комнату, она уже стояла там во весь свой рост. И поскольку я помнила, что Попо запретила мне произносить ее имя, я, онемев, застыла на месте. Она взяла меня за руку и подвела к кушетке, а сама села рядом со мной так, словно мы делали это каждый день.

Мама начала расплетать мне косы и расчесывать волосы медленными, плавными движениями.

— Аньмэй, ты была хорошей дочерью? — спросила она с загадочной улыбкой.

Я посмотрела на нее, сделав недоуменное лицо, но внутренне содрогнулась. Я уже стала той девочкой, в животе у которой лежала бесцветная зимняя тыква.

— Аньмэй, ты знаешь, кто я, — сказала она с бранчливой ноткой в голосе.

В этот раз я не взглянула на нее из страха, что у меня разорвется голова и мозги вытекут через уши.

Она перестала меня расчесывать. И тут я почувствовала, как ее

длинные и чуткие пальцы гладят кожу у меня под подбородком, ищут там что-то и натываются на гладкий шрам на шее. Когда она провела по нему рукой, я затихла. У меня возникло чувство, что мама будит воспоминания, глядя этот шрам. Она убрала руку с моей шеи и, обхватив свое собственное горло, начала плакать. Она плакала, тоненько подвывая, очень жалобно. И тогда я вспомнила сон, в котором слышала ее голос.



Мне было четыре года, и мой подбородок едва доставал до обеденного стола, поверх которого я видела сердитое личико своего брата-младенца: он сидел на коленях у Попо и обиженно плакал. Я слышала голоса, нахваливающие поданный к столу темный дымящийся суп, и вежливый шепот: «*Чинг! Чинг!* — Пожалуйста, ешьте!»

А потом разговоры смолкли. Мой дядя встал со своего места. Все повернулись к двери, в проеме которой появилась высокая женщина.

«Мамочка!» — закричала я, рванувшись со своего стула, но тетя тут же дала мне пощечину и толкнула назад, на мое место. Теперь уже все стояли и кричали, я слышала мамин плачущий голос: «Аньмэй! Аньмэй!» И поверх всего этого пума — пронзительный голос Попо: «Это что тут за привидение? Это не почтенная вдова. Нет. Всего-навсего чья-то третья наложница. Если ты возьмешь с собой свою дочь, она станет такой же, как ты. Она потеряет лицо и никогда больше не сможет поднять головы».

Мама продолжала звать меня к себе. Я так ясно припомнила теперь ее голос: «Аньмэй! Аньмэй!» Я видела ее лицо через стол. Между нами стояла супница, медленно раскачиваясь туда-сюда на своей тяжелой подставке с подогревом. И когда раздался очередной крик, она опрокинулась, и темный суп кипящим потоком хлынул через весь стол и ошпарил мне горло. Я чувствовала себя так, словно на меня вылилась клокочущая злоба всех окружающих.

Это была настолько ужасная боль, что маленькому ребенку следовало бы забыть о ней. Но даже моя кожа все еще помнит ее. Я очень недолго плакала во весь голос, потому что вскоре почувствовала, как внутри и снаружи у меня все горит и лопается, и начала задыхаться.

Я не могла кричать, потому что вместе с дыханием у меня перехватило голос. Я ничего не видела из-за слез, хлынувших, чтобы смыть эту боль. Но сквозь крики Попо и тетушки я до самого последнего момента слышала

зовущий мамин голос.

Позже, уже вечером, голос Попо произнес: «Аньмэй, слушай внимательно. — У нее был такой же сердитый тон, каким она меня отчитывала за то, что я ношусь взад и вперед по коридору. — Аньмэй, мы приготовили тебе одежду и туфли на смерть. Всё из белого ситца». Я испуганно слушала дальше. «Аньмэй, — пробормотала она немного мягче. — Одежда тебе на смерть очень простая. Никаких излишеств, потому что ты еще ребенок. Если ты умрешь, твоя жизнь получится очень короткой и ты останешься в долгу перед семьей. Твои похороны будут очень скромными, а траур по поводу твоей смерти — очень непродолжительным».

И потом Попо сказала то, что было хуже, чем жгучая боль в горле: «Даже твоя мама израсходовала все свои слезы и уехала. Если ты не поправишься как можно скорее, она тебя забудет».

Попо была очень находчива. Я заторопилась выкарабкаться с того света, чтобы отыскать свою маму.

Каждую ночь я плакала так, что у меня горели и глаза, и горло. Попо сидела у моей кровати и лила мне на шею холодную воду из выскобленной половинки большого грейпфрута. Она лила и лила воду до тех пор, пока мое дыхание не выравнивалось и я не засыпала. По утрам Попо своими острыми ногтями, как щипчиками, сдирала с меня подсохшие струпы.

За два года шрам сгладился и побледнел, а образ мамы стерся из моей памяти. Так всегда бывает с ранами. Они сами начинают затягиваться, чтобы закрыть то, что болит. А когда рана зарастает, ты уже больше не видишь, что под ней, не видишь того, что вызывало боль.



Я преклонялась перед той матерью из своего сна. Но женщина, стоявшая перед кроватью Попо, не была мамой из моих воспоминаний. Тем не менее я полюбила и эту маму. Не потому, что она пришла ко мне и умоляла простить ее. Она этого не сделала. Ей не нужно было объяснять мне, что, когда я умирала, Попо выгнала ее из дому. Это я и так знала. Ей не нужно было объяснять мне, что, выйдя замуж за У Циня, она поменяла одно несчастье на другое. Я знала и это.

А полюбила я ее вот как. Я увидела в ней свою собственную преданную натуру. То, что было у меня под кожей. В моих костях.

Была поздняя ночь, когда я пришла в комнату Попо. Тетя сказала, что Попо умирает и я должна отдать ей последний долг уважения. Я надела чистую одежду и встала у изножья кровати Попо, между дядей и тетей. Я немного поплакала, не очень громко.

По другую сторону кровати я увидела свою маму. Тихую и печальную. Она готовила суп, опуская в кипящую жидкость травы и лекарства. А потом я увидела, как она закатала рукав и взяла острый нож. Она поднесла его к своей руке, к самой мякоти. Я попыталась закрыть глаза, но не смогла.

И моя мама отрезала кусочек мяса от своей руки. Слезы потекли по ее лицу, и кровь пролилась на пол.

Мама взяла кусочек своей плоти и положила его в суп. По старинному обычаю, она готовила магическую еду, чтобы в самый последний раз постараться исцелить свою мать. Она открыла рот Попо, челюсти которой уже были крепко стиснуты, чтобы удерживать дух внутри, и накормила ее этим супом, но той же ночью Попо улетела вместе со своей болезнью.

Но хоть я и была маленькой, я смогла увидеть, что такое страдание плоти и чего это страдание стоит.

Так дочь чтит свою мать. Это и есть чоу — то, что сидит у тебя глубоко в костях. Страдание плоти суть ничто. Через боль нужно переступить, потому что иногда это единственный способ вспомнить то, что сидит у тебя в костях. Нужно снять с себя свою кожу, и кожу своей матери, а перед тем — кожу ее матери. И так до тех пор, пока не останется ничего. Ни шрама, ни кожи, ни плоти.

## Линьдо Чжун

### Красная свеча

Однажды, чтобы не нарушить обещания, данного моими родителями, я принесла в жертву свою жизнь. Для тебя это ничего не значит, потому что для тебя ничего не значат обещания. Дочь может пообещать прийти на обед, но, если у нее болит голова, если она попала в пробку на дороге, если она хочет посмотреть по телевизору любимый фильм, она забывает о своем обещании.

В тот день, когда ты не пришла, я тоже посмотрела этот фильм. Американский солдат обещает девушке вернуться с войны и жениться на ней. Она плачет в три ручья от избытка чувств, а он тянет ее в постель со словами: «Обещаю! Обещаю! Милая, любимая, это не пустые обещания, каждое мое слово на вес золота». Но он не возвращается. Его золото не лучше твоего, в нем только четырнадцать каратов.

Для китайцев четырнадцать каратов — не настоящее золото. Взвесь мои браслеты. В них должно быть двадцать четыре карата: чистое золото снаружи и внутри.

Сейчас уже слишком поздно пытаться изменить тебя, но я говорю это потому, что беспокоюсь за твою дочь. Я боюсь, что однажды она скажет: «Бабушка, спасибо тебе за золотой браслет. Я никогда тебя не забуду», — а потом забудет не только свое обещание, но и то, что у нее вообще была бабушка.



В том фильме про войну американский солдат, вернувшись домой, падает на колени перед другой девушкой и просит ее выйти за него замуж. Она ужасно смущена, даже не знает, куда спрятать глаза, будто для нее это полная неожиданность. И вдруг! — она смотрит вниз, прямо на него, и уже знает: она любит его так сильно, что ей хочется плакать; наконец она произносит «да», и они соединяют свои судьбы навек.

У меня ничего похожего не было. Все произошло иначе: когда мне исполнилось всего два года, к моим родителям пришла сваха. Нет, мне никто ничего не рассказывал, все это сохранилось в моей памяти. Дело

было летом: я помню жару и пыль и звон цикад во дворе. Мы находились в саду, под деревьями. Где-то надо мной мои братья вместе со слугами рвали с веток груши. А я сидела у мамы на руках. Они были горячие и потные от жары. Я размахивала ладошками, пытаюсь ухватить летавшую передо мной птичку-свистульку с крылышками из тонкой разноцветной бумаги. А потом бумажная птичка улетела куда-то, и на ее месте очутились две женщины. Их я запомнила, потому что в голосе одной слышались шипящие звуки: шшррр, шшррр. Став постарше, я узнала, что это пекинский акцент, который режет слух жителям Тайюаня.

Обе они молча смотрели на меня. Лицо женщины с шипящим голосом было покрыто слоем растаявших от жары румян. У второй гостьи лицо было сухое, напоминавшее кору старого дерева. Она посмотрела на меня и перевела взгляд на раскрашенную женщину.

Конечно, теперь-то я знаю, что Древесная Кора была старая сваха из нашей деревни, а Нарумяненное Лицо — Хуан Тайтай, за сына которой меня впоследствии выдали замуж. Не верь никому, кто скажет, будто в Китае маленьких девочек ни в грош не ставили. Смотря какая девочка. В моем случае сразу было видно, чего я стою. Я была как румяная булочка, сладкая и аппетитная.

Сваха расхваливала меня на все лады:

— Земляная лошадь и земляная овца — самое лучшее сочетание для брака.

Она похлопала меня по ладошке, но я оттолкнула ее руку. Хуан Тайтай проговорила своим шипящим голосом, что, кажется, у меня необычайно дурной *пичи*, плохой характер. Но сваха рассмеялась и сказала:

— Да что вы, вовсе нет. Это сильная лошадь, из нее со временем выйдет настоящий работяга, и, когда вы состаритесь, она будет исправно за вами ухаживать.

Но Хуан Тайтай посмотрела на меня с мрачным недоверием, как будто могла разгадать мои будущие намерения. Я никогда не забуду ее взгляда. Широко раскрытыми глазами она внимательно рассматривала мое лицо и, рассмотрев, улыбнулась. Я увидела большой золотой зуб, ослепивший меня, как солнце, а потом все остальные зубы, оскаленные так, словно она собиралась проглотить всю меня разом.

Так меня обручили с сыном Хуан Тайтай, который, как я узнала потом, был настоящим младенцем, на год младше меня. Его звали Тянь Ю; *тянь* значит «небо» — чтобы все знали, какой он важный, — а *ю* значит «остаток»: когда он родился, его отец был очень болен и вся семья думала, что он умрет. В Тянь Ю должен был сохраниться дух его отца. Но отец

выжил, и бабушка стала бояться, как бы духи не обратили свое внимание на мальчика и не забрали его вместо отца. Поэтому все носились с ним как с бесценным сокровищем, выполняли его малейшие прихоти и в результате страшно избаловали.

Но даже если бы я знала, какой плохой мне достанется муж, ни тогда, ни потом у меня не было выбора. Так уж в прежние времена было заведено в деревне. У нас глупые старомодные обычаи держались до последнего. В городах мужчины уже могли сами выбирать себе жен — конечно, с согласия родителей. В деревне это было исключено. У нас никто бы не сказал, что где-то, в каком-то городе что-то лучше, чем в нашей деревне: там могло быть только хуже. У нас рассказывали истории про сыновей, которые настолько поддавались влиянию плохих жен, что выгоняли своих старых плачущих родителей на улицу. Поэтому тайюаньские матери продолжали сами выбирать себе невесток — таких, которые будут правильно воспитывать сыновей, заботиться о стариках и исправно подметать семейные кладбища еще много лет после того, как старухи сойдут в свои могилы.

Поскольку я была обещана в жены сыну Хуанов, дома ко мне стали относиться так, будто я уже принадлежала кому-то другому. Когда чашка с рисом слишком часто приближалась к моему рту, мама могла сказать: «Посмотрите, как много ест дочь Хуан Тайтай».

Мама обращалась со мной так не оттого, что не любила меня. Стала бы она, сказав такое, прикусывать язык, если бы на самом деле считала меня отрезанным ломтем?

Я была очень послушным ребенком, но иногда и у меня бывало кислое выражение лица — например, потому что мне было жарко, или я устала, или заболела. В таком случае мама могла сказать: «Какое отвратительное лицо. Хуаны откажутся от тебя, и вся наша семья будет опозорена». Тогда я начинала плакать, чтобы мое лицо стало еще отвратительнее. «Это не поможет, — говорила мама. — Мы заключили контракт. Его нельзя расторгнуть». И я плакала еще сильнее.

Пока мне не исполнилось восемь или девять лет, я не видела своего будущего мужа. Известный мне мир состоял из усадьбы моей семьи в деревне неподалеку от Тайюаня. Наша семья жила в скромном двухэтажном доме, во дворе стоял еще один маленький домик, в котором было всего две смежные комнаты — в одной жил повар, в другой слуга, каждый со своей семьей. Наш дом стоял на пригорке. Мы дали этому холмику громкое название «Три Ступени к Небу», но на самом деле это были просто столетиями затвердевавшие слои ила, приносимого рекой

Фэн. Река ограничивала наш участок с восточной стороны. По словам моего отца, она любила глотать маленьких детей. Он рассказывал, что однажды она проглотила весь Тайюань. Летом вода в реке становилась коричневой. Зимой она была сине-зеленой в самых узких и быстрых местах, а в широких замерзала и белела от мороза.

Ах, я помню один Новый год, когда вся наша семья спустилась на реку и поймала много-много рыбин — гигантских скользких тварей. Они спали на своих ледяных постелях в реке. Когда их выловили, они были такие свежие, что продолжали плясать на хвостах даже после того, как их выпотрошили и бросили на горячую сковороду.

В том году мне впервые показали моего будущего мужа. Он был не такой уж и маленький, но от грохота разорвавшихся поблизости шутих разинул рот и — у-у-у! — разревелся во весь голос.

Позже я видела его на других деревенских праздниках. На празднике красного яйца, когда недавно родившимся младенцам дают настоящие имена, он сидел на коленях у своей старой бабушки — как он только ее не раздавил! — и отказывался есть то, что ему предлагали, воротя нос от сладкого печенья так, словно это была какая-то вонючая гадость.

Я не влюбилась в своего будущего мужа с первого взгляда, как это сейчас показывают по телевизору. Я относилась к этому мальчику скорее как к надоедливому двоюродному брату. Я училась быть вежливой с Хуанами, и особенно с Хуан Тайтай. При встречах с ней моя мама подталкивала меня в ее сторону и говорила: «Что надо сказать своей маме?» И я смущалась, не зная, какую маму она имеет в виду. Поэтому я поворачивалась к своей настоящей матери и говорила: «Прости меня, мам», а потом уже к Хуан Тайтай, протягивая ей маленький гостинец со словами: «Это для вас, мама». Помню, однажды это был мой любимый пирожок *сюймэй*. Мама сказала Хуан Тайтай, что я сделала этот пирожок специально для нее, хотя я всего-навсего потыкала пальцем его горячие края, когда повар выкладывал пирожки на блюдо.

Моя жизнь полностью изменилась, когда мне исполнилось двенадцать лет. В то лето на Тайюань обрушились проливные дожди. Река Фэн, протекавшая через нашу усадьбу, затопила низины. Она уничтожила все посевы пшеницы и смыла верхний слой почвы, сделав землю неплодородной на много лет вперед. Даже наш дом на пригорке стал непригодным для жилья. Спустившись со второго этажа, мы обнаружили, что внизу полы и мебель покрыты слоем липкой грязи. Двор был завален вырванными с корнями деревьями, обломками ограды и дохлыми курицами. Этот хаос был разорением для моей семьи.

В то время вы не могли пойти в страховую компанию и сказать: «По такой-то и такой-то причине мне нанесен ущерб, платите миллион». Если вы не имели возможности самостоятельно справиться с испытанием, вам неоткуда было ждать помощи. Мой отец сказал, что у нас нет другого выбора, кроме как переехать всей семьей в Уси, к югу от Шанхая, где жил мамин брат, владевший небольшой мельницей. Отец объявил, что вся семья должна без промедления отправиться в путь. Кроме меня. Мне было двенадцать лет, достаточно для того, чтобы отделить меня от семьи и отправить к Хуанам.

Дороги были ужасно грязные и разъезженные, так что ни один грузовик не мог подъехать к дому. Родителям пришлось оставить громоздкую мебель и постельные принадлежности; все это было обещано Хуанам в качестве моего приданого. В этом отношении моя семья поступила весьма практично. Такого приданого будет достаточно, более чем достаточно, сказал мой отец. Но он не мог запретить маме отдать мне еще и *чан*, длинное ожерелье из красного нефрита. Надевая ожерелье мне на шею, мама казалась очень суровой, из чего я поняла, что ей очень грустно. «Будь послушной в своей новой семье. Не позорь нас, — сказала она. — Как придешь, сразу покажи, что ты счастлива. Тебе и вправду очень повезло».



Дом Хуанов тоже стоял у реки. Но если наш дом был затоплен, то их несколько не пострадал. Так получилось потому, что их усадьба была расположена выше по реке. И тогда я впервые осознала, что Хуаны занимают более высокое положение, чем моя семья. Они смотрели на нас сверху вниз, и это объяснило мне, почему у Хуан Тайтай и Тянь Ю такие длинные носы.

Миновав ведущие к Хуанам каменные ворота с деревянной отделкой, я увидела большой двор с тремя или четырьмя рядами маленьких, низеньких домиков. Некоторые из них предназначались для хранения провизии, другие — для слуг и их семей. За этими скромными строениями возвышалось главное здание усадьбы.

Я подходила ближе и, не отрываясь, смотрела на дом, в котором мне предстояло провести всю оставшуюся жизнь. Он принадлежал уже не первому поколению Хуанов, но не был ни по-настоящему старинным, ни

сколько-нибудь примечательным; по нему было видно, как он рос вместе с семьей. В нем было четыре этажа — по этажу на каждое поколение: для прадедушек и прабабушек, для дедушек и бабушек, для родителей и для детей. Дом производил странное впечатление, потому что строился в несколько этапов. Костяк его был построен наспех, и уже потом к нему пристраивали этажи и крылья и добавляли разные украшения во вкусе очередного главы семьи. Первый этаж был сооружен из речных булыжников, скрепленных глиной, смешанной с соломой. Второй и третий построены из гладких кирпичей и окружены открытой галереей, из-за которой весь дом стал похож на дворцовую башню. Верхний этаж, облицованный серой плиткой, был увенчан красной черепичной крышей. Крышу веранды у парадного входа поддерживали две большие круглые колонны. Эти колонны, так же, как и деревянные оконные рамы, были выкрашены в красный цвет, чтобы придать дому помпезность. Кто-то, возможно Хуан Тайтай, прикрепил к углам крыши величественные драконьи головы.

Внутри дом был на свой лад столь же претенциозен. Мне там нравилась только большая комната на первом этаже, в которой Хуаны обычно принимали гостей. Там стояли покрытые красным лаком резные столы и стулья, лежали изящные подушечки, украшенные вышитым в старинном стиле родовым именем, и было еще много других чудесных вещей, подчеркивавших богатство и древность рода. Весь остальной дом был невзрачным, неудобным и шумным из-за бесконечного нитья двадцати домочадцев. По мере увеличения семейства в доме становилось все теснее и неудобнее. Постепенно почти каждую комнату в нем разделили перегородками на две каморки.

По поводу моего прибытия не было устроено никакого празднества. Думаешь, Хуан Тайтай развесила в мою честь красные праздничные флажки в парадной комнате на первом этаже и Тянь Ю спустился туда, чтобы меня поприветствовать? Как бы не так! Она отправила меня на кухню на втором этаже, куда дети обычно не ходили. Там было место поварам и слугам. Так мне дали понять мое положение в доме.

В тот первый день я, в своем лучшем халате на теплой подкладке, стояла у низкого деревянного столика и резала овощи. Я не могла унять дрожь в руках. Мне хотелось обратно к своим родным, и в животе холодело при мысли, что судьба привела меня в окончательно предназначенное мне место. Но я считала себя обязанной соблюдать данное моими родителями обещание, чтобы Хуан Тайтай не смогла обвинить мою маму в том, что она не сдержала своего слова. Этой победы

над нашей семьей ей никогда не дожидаться, сказала я себе.

Я думала обо всем этом и не сразу заметила, что старая служанка, которая потрошила рыбу, согнувшись над тем же низеньким столиком, искоса поглядывает на меня. Я плакала и потому испугалась: ведь она расскажет об этом Хуан Тайтай. Поэтому я через силу улыбнулась и воскликнула: «Как же мне повезло! У меня будет чудесная жизнь!» В своем стремительном порыве я, должно быть, взмахнула ножом слишком близко от ее носа, потому что она сердито крикнула: «*Шэмма бэньди жэнь!* — Что ты за дура такая!» И в тот же самый момент я поняла, что это было предостережением мне, потому что, выкрикнув вслух, какое счастье меня ожидает, я почти поверила в это, чуть не перехитрив саму себя.

Тянь Ю я увидела за вечерней трапезой. Я все еще была на несколько дюймов выше него, но он вел себя как важный господин. Я знала заранее, какой из него выйдет муж, — хотя бы по тому, как он сознательно доводил меня до слез. Он возмущался, что суп недостаточно горячий, и потом будто бы нечаянно опрокидывал чашку. Он дождался, пока я сяду за стол, и тогда требовал себе еще одну чашку риса. Он кричал, чтобы я не делала такое кислое лицо, когда на него смотрю.

В течение нескольких следующих лет Хуан Тайтай приказывала слугам обучать меня разным вещам. Я должна была научиться делать острые уголки у наволочек и вышивать на них «Хуан». «Как может жена содержать дом своего мужа в порядке, если она боится запачкать руки», — любила говаривать Хуан Тайтай, поручая мне очередное задание. Не думаю, чтобы Хуан Тайтай когда-нибудь пачкала свои руки, но она была очень искусна по части приказов и распоряжений.

«Научи ее, что рис надо промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Нельзя, чтобы ее муж ел грязный рис», — говорила она поваренку.

В другой раз она приказывала слуге показать мне, как надо мыть ночной горшок: «Заставь ее засунуть туда нос, чтобы убедиться, что он чисто вымыт». Таким образом я приучалась быть послушной женой. Я научилась так хорошо готовить, что, не пробуя, только по запаху узнавала, не пересолена ли мясная начинка. Я научилась делать такие маленькие стежки, что вышивка казалась нарисованной. Хуан Тайтай даже возмущалась иногда — по своему обыкновению притворно, — что не успевает бросить грязную блузку на пол, как та уже выстирана, и поэтому ей, бедняжке, приходится каждый день носить одно и то же.

Через какое-то время я уже не думала, что моя жизнь ужасна, — нет, нет, вовсе нет. Меня так вымуштровали, что я со всем смирилась. В то

время для меня не было большего счастья, чем видеть, как все с жадностью заглатывают хрустящие грибы и бамбуковые ростки, которые я помогала готовить, и большей награды, чем одобрителный кивок Хуан Тайтай, после того как я заканчивала расчесывать ее волосы в сто приемов. Что могло быть для меня большей радостью, чем то, что Тянь Ю съел целую миску лапши без единой жалобы на вкус блюда или на то, как я на него смотрю? Знаешь, по американскому телевидению показывают таких женщин: они просто сияют от счастья, что удалось вывести пятно и теперь одежда выглядит лучше, чем новая. Я была совсем как эти женщины.

Ты видишь, что мысли Хуанов почти что въелись в мою кожу? Я стала думать о Тянь Ю как о боге, как о ком-то, чье мнение стоит куда больше, чем моя собственная жизнь. Я стала думать о Хуан Тайтай как о своей настоящей матери, как о человеке, которому я должна угождать, подражать и повиноваться беспрекословно.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет по лунному календарю, Хуан Тайтай сказала, что готова к следующей весне принять внука. Даже если бы я не захотела замуж, где бы я нашла пристанище? Даже если я была вынослива как лошадь, куда бы я убежала? Японцы были в Китае на каждом шагу.



— Японцы нагрянули как незваные гости, — сказала бабушка Тянь Ю, — и поэтому никто не пришел.

Хуан Тайтай тщательно все распланировала, но свадьба получилась очень скромной.

Она пригласила всю деревню, а также друзей и родственников из других городов. Тогда нельзя было прислать письмо с вежливым отказом. Не прийти было неприлично. Хуан Тайтай не думала, что война может заставить людей забыть о хороших манерах. Поэтому повариха и ее помощница наготовили сотни разных блюд. Старая мебель моих родителей была вычищена до блеска и выставлена в парадной гостиной, превратившись в солидное приданое. Хуан Тайтай позаботилась о том, чтобы удалить с нее все грязные пятна и потеки. Она даже поручила кому-то изготовить флажки красного цвета с поздравлениями и пожеланиями счастья, будто бы от имени моих родителей. Она распорядилась заказать для свадебной церемонии красный паланкин, в котором меня должны были

принести к Хуанам из соседского дома.

На день свадьбы выпало много неудач, хотя сваха выбрала для него счастливую дату: пятнадцатый день восьмой луны, когда луна становится абсолютно круглой и большой — больше, чем в любое другое время года. Но за неделю до появления луны появились японцы. Они наводнили Шаньси и соседние провинции. Люди нервничали. А утром пятнадцатого числа, в день свадьбы, пошел дождь, что было очень плохим знаком. Когда разразилась гроза, приглашенные, приняв гром и молнии за японские бомбы, не отважились выйти из своих домов.

Позже мне сказали, что бедная Хуан Тайтай ждала несколько часов, пока не соберется побольше гостей, но не из пальца же их высасывать, и поэтому в конце концов ей пришлось дать разрешение начинать церемонию. Что еще оставалось делать? Не могла же она отменить войну.

Я ждала в доме у соседей. Когда мне крикнули, что пора спускаться вниз, где меня ждал красный паланкин, я сидела за маленьким туалетным столиком возле открытого окна. Я заплакала и с горечью подумала, зачем родители обещали меня в жены Тянь Ю. Мне хотелось понять, почему моя судьба была решена за меня, почему я должна была стать несчастной ради того, чтобы кто-то другой был счастлив. С моего места у окна была видна река Фэн, несущая свои мутные коричневые воды. Я подумала о том, не броситься ли мне в эту реку, разрушившую счастье моей семьи. Когда человеку кажется, что его жизнь близка к концу, у него появляются странные мысли.

Снова пошел дождь, но не сильный. Снизу мне крикнули еще раз, чтобы я поспешила, и мои мысли стали еще более торопливыми, еще более странными.

Я спросила сама себя: «Что составляет суть человека? Могу ли я измениться так же, как река меняет свой цвет, оставаясь при этом самой собой?» И тут я увидела, как стремительно разлетелись шторы, как снаружи еще сильнее полил дождь, заставив всех с криками разбежаться. Я улыбнулась. И тогда я осознала, что впервые вижу силу ветра. Сам ветер был невидим, но мне было видно, как он нес воду, наполнявшую реки и заливавшую окрестности. Он заставлял людей взвизгивать и ускорять шаги.

Я утерла слезы и посмотрела в зеркало. Меня удивило то, что я там обнаружила. На мне было чудесное красное платье, но я смотрела не на платье. Я увидела кое-что поважнее. Я была сильной. Я была юной. Мои мысли были чисты, и их никто не мог ни увидеть, ни отнять у меня. Я была как ветер.

Я откинула голову и гордо улыбнулась себе. Потом закрыла лицо большим красным вышитым шарфом и спрятала под ним свои мысли. Но и под шарфом я теперь знала, кто я. Я дала себе обещание всегда помнить желания своих родителей, но никогда не забывать о себе самой.

Когда меня принесли на свадьбу, из-за красного шарфа на лице я ничего перед собой не видела, но, наклоня голову, могла смотреть по сторонам. На церемонии было очень мало людей. Мне были видны Хуаны, всё те же старые, вечно всем недовольные домочадцы, сейчас раздосадованные столь жалким ходом торжества, музыканты со своими скрипками и флейтами и еще несколько деревенских, осмелившихся выйти из дома ради бесплатного угощения. Там были даже слуги с детьми, которых, должно быть, присоединили к гостям, чтобы торжество выглядело более пышным.

Кто-то взял меня за руку и повел по дорожке. Я шла как слепец, которого влекут навстречу его судьбе. Но я уже не боялась. Я знала, что у меня внутри.

Церемонию вел важный чиновник, он страшно долго разглагольствовал о древних философах и образцах благочестия. Потом сваха говорила о наших днях рождения, о гармонии брака и о будущем потомстве. Я наклонила закутанную шарфом голову и увидела, как ее руки разворачивают красный шелковый платок и выставляют на всеобщее обозрение красную свечу.

Эта свеча была двойная. С одной стороны на ней были вырезаны золотые иероглифы с именем Тянь Ю, с другой стороны — с моим. Сваха подожгла оба фитиля и провозгласила: «Бракосочетание началось». Тянь Ю стащил шарф с моего лица и разулыбался, повернувшись к своим друзьям и родственникам, но на меня ни разу не посмотрел. Он напомнил мне молодого павлина, за которым я однажды наблюдала: развернув свой куцый хвост, он вел себя так, будто закрыл им весь двор.

Я видела, как сваха поставила свечу в золотой подсвечник и *вручила* его взволнованной служанке. Этой девочке полагалось во время застолья и потом всю ночь следить за свечой, дабы удостовериться, что ни один из фитилей не погас. Утром сваха должна была показать остатки свечи — щепотку черного пепла — и объявить: «Свеча горела всю ночь, ни один из фитилей не погас. Этот брак никогда не распадется».

Я помню всё очень хорошо. Эта свеча связывала брак гораздо более крепкими узами, чем католическая клятва. Я не только не могла развестись, но и не имела права выйти замуж второй раз, даже если бы Тянь Ю умер. Эта красная свеча навсегда приковывала меня к моему мужу

и его дому никаких исключений не допускалось.

И в самом деле: на следующее утро сваха сказала то, что полагалось сказать, и, продемонстрировав остатки свечи, объявила, что она свое дело сделала. И только одна я знала, что произошло в действительности, потому что не спала всю ночь, оплакивая свое замужество.



После застолья небольшая кучка гостей вытолкала нас из комнаты и почти что донесла до маленькой спальни на третьем этаже. Взрослые выкрикивали разные шутки и вытаскивали мальчишек из-под нашей кровати. Сваха помогла малышам разыскать красные яички, спрятанные в одеялах. Мальчики примерно такого же возраста, как Тянь Ю, усадили нас на кровать и всё пытались заставить нас целоваться, пока наши лица не покраснеют от страсти. На галерее около открытого окна взорвалась хлопущка, и кто-то сказал, что это хороший повод для меня броситься в объятия мужа.

Когда все ушли, мы еще долго сидели бок о бок, не говоря ни слова и прислушиваясь к доносившемуся снаружи хохоту. Когда все стихло, Тянь Ю сказал: «Это моя постель. Ты будешь спать на диване». И бросил мне подушку и тоненькое одеяло. Как я была рада! Я дождалась, пока он заснул, а потом осторожно встала, спустилась вниз по лестнице и вышла на темный двор.

Воздух снаружи был влажный: наверное, снова собирался дождь. Я плакала, ступая босыми ногами по мокрым плитам двора и чувствуя идущее от камней тепло. На противоположной стороне двора желтым пятном светилось открытое окно, за которым была видна служанка свахи. Она сидела у стола и, сонно моргая, смотрела на красную свечу, горевшую в специальном золотом подсвечнике. Я села под деревом, чтобы посмотреть, как решается моя судьба.

Должно быть, я задремала, потому что помню, что испуганно встрепенулась от оглушительного раската грома. И тогда я увидела, как служанка выбегает из комнаты, перепуганная, точно цыпленок, за которым гонится кухарка с ножом. «О, она тоже спала, — подумала я, — и теперь решила, что это японцы». Я засмеялась. Молния озарила небо, снова загрохотал гром, а служанка уже вылетела со двора и помчалась вниз по дороге с такой скоростью, что камни разлетались у нее из-под ног.

«Интересно, куда она собирается убежать?» — спросила я себя, продолжая смеяться. И тут я увидела, как пламя свечи слегка дрогнуло от ветра.

Я ни о чем не думала, когда ноги сами подняли меня и привели через двор в эту тускло освещенную комнату, но я надеялась... я молила Будду, Всемилостивейшую Богиню Гуаньинь и Госпожу Луну загасить эту свечу. Огоньки затрепетали и отклонились в сторону, сделавшись совсем маленькими, но все-таки оба продолжали гореть. Я так волновалась, что у меня перехватило дыхание, но в конце концов оно прорвалось с такой силой, что загасило фитиль моего мужа.

Я содрогнулась от страха. Мне казалось, что сейчас из воздуха появится нож и поразит меня насмерть. Или небо расколется пополам, и меня сметет с лица земли. Но ничего не произошло, и, придя в себя, я вернулась в нашу спальню быстрыми виноватыми шагами.

На следующее утро сваха торжественно объявила Тянь Ю, его родителям и мне: «Мое дело сделано» — и высыпала на красную ткань оставшийся от свечи черный пепел. Но я видела краску стыда на лице служанки и ее печальный взгляд.



Я научилась любить Тянь Ю, только это не то, что ты думаешь. При мысли, что однажды наступит день, когда он взгроздится на меня и займется своим делом, меня начинало мутить. Всякий раз, когда я входила в нашу спальню, у меня волосы вставали дыбом. Но в первые месяцы он не трогал меня. Он спал на кровати, я — на диване.

В глазах его родителей я была примерной женой, как они меня и учили. Каждое утро я приказывала повару зарубить цыпленка и варить его до тех пор, пока из него не выйдут все соки. Я собственноручно процеживала бульон в чашку, никогда не добавляя в него ни капли воды, и подавала ему на завтрак с пожеланиями бодрости и здоровья. Чтобы ублажить свою свекровь, я каждый вечер готовила *доунау*, специальный тонизирующий суп, который был не просто очень вкусным, но состоял из восьми ингредиентов, гарантирующих долгую жизнь матерям.

Но этого ей было недостаточно для полного счастья. Однажды утром мы с Хуан Тайтай сидели в одной комнате и вышивали. Я вспоминала детство и свою лягушку, которую звали Большой Ветер. Хуан Тайтай сидела как на иголках — ерзала на стуле и сердито сопела, потом резко

встала, подошла ко мне и залепила пощечину.

— Ах ты дрянь! — крикнула она. — Если ты будешь и дальше отказываться спать с моим сыном, я перестану тебя кормить и одевать.

Так я узнала, что придумал мой муж, чтобы избежать материнского гнева. Я кипела от злости, но не произнесла ни слова, помня данное родителям обещание быть послушной женой.

В ту ночь я села на кровать к Тянь Ю и стала ждать, что он начнет меня трогать. Но он и не подумал. Я вздохнула с облегчением. Назавтра я легла на кровать рядом с ним. Но и тогда он не дотронулся до меня. Поэтому на следующую ночь я сняла ночную рубашку.

И тогда я увидела, какой он на самом деле. Он отвернулся от меня в испуге. Он не хотел со мной спать, а по его страху я догадалась, что он вообще не хотел женщин. Маленький мальчик, который так и не стал большим. Через какое-то время я перестала бояться. Я даже стала по-другому к нему относиться. Но не как к любимому мужу, а скорее как к младшему брату, который нуждается в покровительстве. Я снова надела ночную рубашку, легла рядом с ним и погладила его по спине. Я знала, что бояться мне больше нечего. С тех пор я спала рядом с Тянь Ю. Он никогда и пальцем не тронул бы меня, а у меня появилась удобная постель.

Прошло еще несколько месяцев. Мои живот и грудь оставались маленькими и плоскими, и злость Хуан Тайтай приобрела другой оттенок:

— Мой сын сказал, что он оплодотворил тебя столько раз, что хватило бы на тысячи внуков. И где же они? Это, должно быть, ты делаешь что-то неправильно.

Она запретила мне вставать с постели, чтобы семена, предназначенные для ее внуков, не могли так легко из меня выскользнуть.

О, по-твоему, это большое удовольствие — лежать целый день в постели? А я тебе скажу: это было хуже, чем в тюрьме. Мне казалось, Хуан Тайтай слегка помешалась.

Она велела слугам убрать из комнаты все острые предметы, полагая, что ножи и ножницы могут перерезать нить жизни будущих поколений рода. Она запретила мне шить. Она велела мне сосредоточиться и не думать ни о чем другом, только о детях. Четыре раза в день в мою комнату входила очень милая служанка и, беспрестанно прося прощения, заставляла меня пить отвратительное на вкус лекарство.

Я завидовала этой девочке, потому что она могла выйти за дверь. Иногда, наблюдая за ней из окна, я представляла себе, что я — эта девочка, стоящая посреди двора, торгующаяся со странствующим сапожником, болтающая с другими служанками, выговаривающая что-то красивому

посыльному своим высоким задиристым голосом.

Однажды, когда прошло еще два месяца безо всякого результата, Хуан Тайтай пригласила в дом старую сваху. Та внимательно осмотрела меня, припомнила день и час моего рождения, справилась у Хуан Тайтай о моем характере и наконец выдала свое заключение:

— Теперь ясно, в чем дело. У женщины может появиться сын только при недостатке какого-либо из элементов. У твоей невестки с самого рождения было достаточно дерева, огня, воды и земли, ей не хватало только металла. Но когда она вышла замуж, ты увешала ее золотыми браслетами и другими украшениями, так что теперь у нее есть всё, включая металл. А при полном наборе элементов она не может забеременеть.

Эта новость только обрадовала Хуан Тайтай: она ужасно любила хвастаться, что надарила мне кучу золотых украшений, чтобы уберечь от бесплодия. Я тоже обрадовалась, потому что почувствовала себя куда легче и свободнее после того, как с меня сняли все это золото. Говорят, такое случается при недостатке металла. Ты начинаешь мыслить как независимый человек. В тот день я стала думать о том, как бы мне освободиться от этого брака, не нарушив своего обещания родителям.

На самом деле это было очень просто. Я заставила Хуанов думать, что идея избавиться от меня сама пришла им в голову и что они сами решили считать свадебный контракт недействительным.

Много дней я продумывала свой план. Я наблюдала за всеми окружающими; я читала мысли, написанные на их лицах, и однажды почувствовала, что готова. Я выбрала благоприятный день: третий день третьей луны. Это был праздник Чистых и Светлых Дней. В этот день ваши мысли должны быть особенно чистыми: вы готовитесь поминать своих предков. В этот день люди приходят к семейным могилам. Они берут с собой мотыги и метлы, чтобы выполоть сорняки и дочиста вымести камни, и приносят пирожки и апельсины, чтобы угостить духов. Нет, этот день вовсе не мрачный, скорее что-то вроде пикника, но он имеет особое значение для тех, кто мечтает о внуках.

Утром этого дня я разбудила Тянь Ю и весь дом своими причитаниями. Прошло довольно много времени, прежде чем Хуан Тайтай пришла в нашу спальню.

— Что там с ней случилось? — прокричала она из своей комнаты и приказала кому-то: — Пойди и успокой ее.

Но поскольку мои вопли так и не затихли, она немного погодя ворвалась в спальню и принялась отчитывать меня пронзительным голосом.

Я зажимала себе рот одной рукой, а глаза — другой. Мое тело извивалось так, словно меня терзала страшная боль. Это было вполне убедительно, потому что Хуан Тайтай отшатнулась и сжалась в комок, как испуганный зверь.

— Что с тобой, доченька? Говори скорее! — воскликнула она.

— О нет, это слишком ужасно, я не могу ни думать об этом, ни говорить, — произнесла я, не переставая корчиться и стонать.

Попричитав достаточно, я наконец объяснила, о чем мне так страшно было думать.

— Мне приснился сон, — сказала я. — Наши предки пришли ко мне и сказали, что хотят увидеть нашу свадьбу. Поэтому мы с Тянь Ю устроили еще одну точно такую же церемонию для предков. Мы увидели, как сваха зажгла свечу и отдала ее служанке, чтобы та следила за ней. Наши предки были так довольны, так довольны... — Я опять начала тихонько плакать, но Хуан Тайтай бросила на меня раздраженный взгляд. — Но потом служанка вышла из комнаты, где стояла свеча, и тут подул сильный ветер и загасил свечу. Предки очень рассердились. Они закричали, что наш брак обречен. Они сказали, что огонек Тянь Ю задуло! Наши предки сказали, что если Тянь Ю останется в этом браке, он умрет!

Лицо Тянь Ю побелело. Но Хуан Тайтай только нахмурилась:

— Ты просто глупая девчонка, поэтому тебе и снятся такие сны! — И велела всем возвращаться по постелям.

— Мама, — позвала я ее хриплым шепотом. — Пожалуйста, не уходите! Мне страшно! Наши предки сказали, что, если семья не примет меры, они исполнят свою страшную угрозу.

— Что за чушь! — закричала Хуан Тайтай, снова поворачиваясь ко мне.

Тянь Ю повернулся вместе с матерью; лицо у него было такое же хмурое, как у нее. И я поняла, что они почти попались — две утки, подбирающиеся к приманке.

— Они сказали, что вы не поверите мне, — произнесла я с отчаянием в голосе, — ведь для меня большая честь быть женой Тянь Ю. Поэтому предки пообещали дать знаки, что порча уже коснулась нашего брака.

— Что за ерунду мелет твой глупый язык, — сказала Хуан Тайтай, вздохнув, но удержаться не смогла: — Какие знаки?

— Мне приснился мужчина с длинной бородой и родимым пятном на щеке.

— Дедушка Тянь Ю? — спросила Хуан Тайтай.

Я кивнула, вспоминая хорошо известный мне портрет на стене.

— Он сказал, что нам будут даны три знака. Во-первых, он нарисовал

черное пятно на спине Тянь Ю и сказал, что оно разрастется и съест все тело Тянь Ю, точно так же, как было съедено лицо дедушки перед смертью.

Хуан Тайтай быстро повернулась к Тянь Ю и задрала ему рубашку.

— Ай-йя! — вскрикнула она, потому что пятно действительно там было — та самая черная родинка, размером с отпечаток пальца, такая же точно, какой я ее видела на протяжении последних пяти месяцев, когда мы с Тянь Ю спали вместе как брат и сестра.

— И тогда наш предок дотронулся до моего рта, — я похлопала себя по щеке, будто она уже болела. — Он сказал, что у меня будут выпадать зубы, один за другим, до тех пор, пока я не перестану протестовать против расторжения нашего брака.

Хуан Тайтай раскрыла мой рот и содрогнулась, увидев дырку вместо сгнившего коренного зуба, выпавшего четыре года назад.

— И наконец я увидела, как он оплодотворил своим семенем чрево служанки. Он сказал, эта девочка только прикидывается, будто вышла из плохой семьи. На самом деле в ней течет императорская кровь, и...

Я откинула голову на подушку, сделав вид, что продолжать у меня нет сил. Хуан Тайтай вцепилась мне в плечо:

— Что он сказал?

— Он сказал, что эта девочка предназначена небом в жены Тянь Ю и что из его семени вырастет ребенок Тянь Ю.

Еще до обеда они приволокли служанку свахи в наш дом и выколотили из нее ужасное признание.

И после долгих поисков они разыскали служанку, которая мне так нравилась, ту самую, за которой я наблюдала каждый день из окна. Я видела, что, когда бы ни появлялся красивый посыльный, ее глаза расширялись и задиристый голос становился тише. А позже я заметила, как округляется ее живот, а лицо вытягивается от тревоги и страха.

Можешь себе представить, как счастлива она была, когда они заставили ее рассказать правду о своем императорском происхождении. Я слышала потом, что чудо вступления в брак с Тянь Ю настолько ее поразило, что она стала очень набожной и приказывала слугам подметать могилы предков не просто раз в год, а каждый день.



К этой истории больше нечего добавить. Они не очень сильно винили меня. Хуан Тайтай получила внука. А я получила одежду, билет до Пекина и столько денег, что мне хватило на дорогу в Америку. Хуаны просили только, чтобы я никогда не рассказывала сколько-нибудь влиятельным лицам историю своего расторгнутого брака.

Это подлинная история о том, как я сдержала слово и принесла в жертву свою жизнь. Посмотри на золото, которое я сейчас ношу. Когда я подарила жизнь твоим двум братьям, твой отец подарил мне эти два браслета. Потом родилась ты. И каждые несколько лет, когда у меня появляется немного лишних денег, я покупаю еще один браслет. Я знаю, чего стою. Все они настоящие, в каждом двадцать четыре карата.

Но одного я никогда не забываю. В праздник Чистых и Светлых Дней я снимаю все свои браслеты. Я вспоминаю, как однажды пережила настоящее озарение и к чему это привело. И помню тот день, когда молоденькой девочкой, с лицом, закутанным красным свадебным шарфом, обещала не забывать себя.

Как чудесно опять стать той девочкой, снять с себя шарф, открыть лицо и почувствовать, каким легким снова становится тело!

# Иннин Сент-Клэр

## Госпожа Луна

Все эти годы я держала при себе все свои желания. И поскольку я так долго молчала, сейчас меня не слышит даже моя собственная дочь. Она сидит у своего новомодного бассейна и слышит только свой плеер, свой радиотелефон и своего большого важного мужа, а он интересуется, почему, купив уголь для жаровни, она забыла про жидкость для поджигания.

Все эти годы я скрывала свою истинную натуру, стараясь быть незаметной тенью, которую никому не ухватить. И поскольку я так долго скрывалась, сейчас меня не видит даже моя собственная дочь. Она видит только свои долги в банке, список необходимых покупок, стоящую не на должном месте пепельницу.

И я хочу сказать ей вот что: мы потеряли себя — она и я, невидимые и невидящие, неслышные и неслышащие, — для окружающих нас не существует.

Я теряла себя постепенно. Годами я терла свое лицо, смывая с него боль: так вода окатывает камни, сглаживая царапины.

Но даже сейчас я могу припомнить то время, когда я бегала и кричала и не могла ни минуты посидеть спокойно. Мое самое раннее воспоминание: сказать Госпоже Луне свое заветное желание. Но так как я забыла, что это было за желание, воспоминание все эти долгие годы от меня ускользало.

Но теперь это желание всплыло в моей памяти, и я могу припомнить тот день во всех подробностях так же ясно, как вижу свою дочь и всю нелепость ее жизни.

В тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда мне исполнилось четыре года, праздник Луны начался в Уси необычайно жаркой осенью, страшно жаркой. Когда я проснулась в то утро, в пятнадцатый день восьмой луны, соломенный матрас на моей кровати был уже весь липкий. В комнате стоял запах прелой травы.

В начале лета слуги закрыли все окна бамбуковыми шторами, чтобы защитить комнаты от солнца. Постели были застланы тканями покрывалами — единственным постельным бельем на месяцы постоянной влажной жары, — горячие кирпичи во дворе покрыты крест-накрест бамбуковыми циновками. И вот наступила осень, но она не принесла

обычной утренней и вечерней прохлады. Поэтому в тени за шторами все еще держалась надоевшая всем жара, усиливая едкий запах моего ночного горшка, проникая в мою подушку, нагревая затылок и щекоча щеки. И поэтому, проснувшись в то утро, я долго еще пребывала в плохом настроении.

Снаружи в комнату проникал еще какой-то запах: что-то горело, источая острый аромат, сладкий и горький одновременно.

— Что это за противный запах? — спросила я свою аму, няню, которая всегда ухитрялась появляться у моей постели, едва только я просыпалась. Она спала на узеньком диванчике в крохотной комнатухе по соседству с моей.

— Вчера я уже тебе объясняла, — сказала она, вытаскивая меня из постели и сажая к себе на колени. В моем полусонном сознании с трудом всплыло воспоминание о том, что она мне говорила днем раньше.

— Мы сжигаем Пять Воплощений Зла, — сонно пробормотала я и соскользнула с ее теплых колен.

Я забралась на табуреточку у окна и посмотрела вниз. Во дворе лежало зеленое кольцо, похожее на свернувшуюся змею, из хвоста которой клубами валил желтый дым. Накануне ама показывала мне цветную шкатулочку, на которой были изображены Пять Воплощений Зла: плывущая змея, ползущий скорпион, летящая сороконожка, падающий паук и прыгающая ящерица. Укус любой из этих тварей может убить ребенка, объяснила ама. Поверив, что мы поймали Пять Зол и сжигаем их трупы, я успокоилась. Я не знала, что зеленое кольцо было попросту смесью разных трав, дым которых отгонял комаров и мошек.

В тот день, вместо того чтобы надеть на меня полотняную кофту и просторные штаны, ама принесла тяжелый шелковый жакет на подкладке и такие же штаны желтого цвета, с нашитыми по бокам черными лентами.

— Сегодня никаких игр, — сказала ама, распахивая жакет. — Для праздника Луны мама приготовила тебе костюм тигра. — Она засунула меня в штаны. — Это очень важный день, ты теперь большая девочка, так что можешь пойти на церемонию.

— А что такое «церемония»? — спросила я, пока ама надевала мне жакет поверх хлопчатобумажного белья.

— Это когда ты все делаешь как нужно, чтобы боги тебя не наказали, — сказала ама и застегнула пряжки в виде лягушек.

— А как они могут наказать? — не отставала я.

— Слишком много вопросов! — воскликнула ама. — Тебе не надо ничего понимать. Просто делай всё как твоя мама. Зажги ароматическую

палочку, поклонись, принеси жертву Луне. Не позорь меня, Иннин.

Я недовольно опустила голову и стала разглядывать черные узоры на рукавах: крошечные вышитые пионы, вырастающие из расшитых золотой нитью завитков. Я вспомнила, что видела, как мама втыкала серебряную иголку в шитье и вытаскивала ее и как под ее ловкими руками на одежде расцветали цветы, появлялись листья и виноградные лозы.

Потом во дворе послышались голоса. Я привстала на цыпочки, чтобы увидеть со своей табуретки, кто это говорит. Кто-то жаловался: «... потрогай мою руку, от жары она размякла до костей». На праздник Луны приехало много родственников с севера, они собирались погостить у нас неделю.

Ама начала расчесывать мне волосы широким гребнем, но как только гребень доходил до спутанной пряди, я делала вид, что вот-вот свалюсь с табуретки.

— Стой спокойно, Иннин! — покрикивала ама. Она всегда сердилась, когда я хихикала и вертелась. Потом она натянула расчесанные волосы во всю длину, как вожжи, и, пока я не успела свалиться с табуретки, заплела их в косу. Коса начиналась немного сбоку; ама вплела в нее пять разноцветных шелковых лент, потом скрутила косу в тугий шар, а концы шелковых лент расправила и подровняла, чтобы получилась аккуратная кисточка.

Ама повернула меня кругом, чтобы оглядеть свою работу. Я поджаривалась в своем жакете на подкладке и в штанах, явно рассчитанных на более прохладный день. Кожа у меня на голове горела от аминых стараний. Что же это за день такой, чтобы принимать из-за него столько мучений?

— Прекрасно, — произнесла ама, не обращая внимания на мое хмурое лицо.

— А кто сегодня приезжает? — спросила я.

— *Дацзя!* — Вся семья! — радостно сказала она. — Мы все отправляемся на озеро Тай. Наша семья взяла в аренду лодку со знаменитым поваром. И сегодня во время церемонии ты увидишь Госпожу Луну.

— Госпожу Луну! Госпожу Луну! — закричала я, прыгая от восторга. Понаслаждавшись приятным звучанием своего голоса, произносящего новые слова, я дернула аму за рукав и спросила: — А кто такая Госпожа Луна?

— Чаннэ. Она живет на Луне. А сегодня единственный день, когда с ней можно увидеться, и она исполнит твое заветное желание.

— А что такое «заветное желание»?

— Это то, чего ты хочешь, но о чем нельзя попросить, — сказала ама.

— А почему я не могу попросить?

— Потому что... потому что, если ты просишь о чем-то... это уже эгоизм, — сказала ама. — Разве я тебя не учила, что нехорошо думать только о себе? Девочка должна не говорить, а слушать.

— Тогда как же Госпожа Луна узнает мое желание?

— Ай! Ты слишком много хочешь знать! Ее можно попросить, потому что она — не обычный человек.

Удовлетворившись таким ответом, я немедленно заявила:

— Тогда я скажу ей, что не хочу больше носить эту одежду.

— Ах! Разве я только что не объяснила тебе? — сказала ама. — Сейчас, когда ты проговорилась, это уже не заветное желание.

Во время завтрака казалось, что никто не спешит на озеро. То один, то другой брал со стола что-нибудь еще. И после завтрака все продолжали разговаривать о всяких пустяках. С каждой минутой я все больше тревожилась и чувствовала себя все несчастнее.

— «...Осенняя луна теплеет. Чу! Возвращаются тени гусей». — Папа декламировал длинное стихотворение, которое он разобрал в древней надписи на камне. — Третье слово в следующей строфе, — объяснил он, — стерлось, его значение веками смывали дожди, и оно было уже почти утрачено для потомков.

— Да, но по счастью, — вмешался мой дядя, и в глазах у него сверкнули веселые огоньки, — ты у нас тонкий знаток древней истории и литературы. Я думаю, ты смог разрешить эту загадку.

— «Мгла зацветает сиянием. Чу!..» — ответил отец следующей строфой.

Мама рассказывала тете и старушкам, как надо смешивать различные травы и насекомых, чтобы приготовить бальзам.

— Натирать надо здесь, между этими двумя точками. Втирайте энергично, пока кожу не начнет жечь, тогда вся боль сгорит.

— Да как же можно растереть опухшую ногу? — возразила одна старушка. — И внутри, и снаружи будет болеть. Все такое чувствительное — дотронуться нельзя!

— Это жжение может спалить все мышцы, — высказала опасение другая старушка.

— От него будут слезиться глаза! — воскликнула моя двоюродная бабушка.

Я только вздыхала, когда они начинали новую тему. Наконец ама обратила на меня внимание и дала мне пряник в виде лунного зайца.<sup>[4]</sup> Она сказала, что я могу пойти во двор и поделить его с двумя своими сестрами, Номером Два и Номером Три.

Когда держишь в руке лунный пряник, забыть о лодке очень легко. Мы втроем быстренько вышли из комнаты и, едва миновав лунные ворота, ведущие во внутренний двор, с криком бросились наперегонки к каменной скамье. Я была самой старшей и заняла самое лучшее место в тени, где камень был прохладнее. Мои сестры уселись на солнце. Я отломила каждой из них по уху от зайца. Уши были просто из теста, без сладкой начинки из яичного желтка, но сестры были слишком малы, чтобы разбираться в таких тонкостях.

— Сестра любит меня больше, — сказала Номер Два Номеру Три.

— Меня больше, — сказала Номер Три Номеру Два.

— Не спорьте, — сказала я им обеим. Я грызла туловище зайца, проводя языком по губам, чтобы слизать прилипшую к ним сладкую соевую пасту.

Мы смахнули друг с друга последние крошки, и, когда эта забава закончилась, воцарилась тишина. Но мне не сиделось на месте. Заметив невдалеке большую стрекозу пурпурного цвета с прозрачными крылышками, я сорвалась со скамейки и побежала, чтобы схватить ее, а сестры вприпрыжку помчались за мной, стараясь дотронуться до нее, пока она не улетела.

— Иннин! — услышала я голос амы, и Номер Два с Номером Три убежали.

Ама стояла во дворе, а моя мама и остальные женщины уже выходили из дома через лунную арку. Ама подскочила ко мне и наклонилась, чтобы расправить мой желтый жакет.

— *Сюнь ифу! Идафаду!* — Твой новый костюм! Весь измялся! — в отчаянии закричала она.

Мама улыбнулась и подошла ко мне. Она пригладила мои растрепавшиеся волосы и подоткнула выбившиеся из пучка пряди.

— Это мальчик может бегать и гоняться за стрекозами, потому что у него такая натура, — сказала она. — А девочка должна стоять спокойно. Если ты долго-долго прстоишь спокойно, стрекоза перестанет тебя видеть и даже сама подлетит к тебе и спрячется в прохладе твоей тени.

Старушки покудахтали, соглашаясь, а потом все ушли, оставив меня посреди жаркого двора.

Постояв смиренхонько некоторое время, я обнаружила свою тень.

Сначала это было просто темное пятно на бамбуковой циновке, покрывавшей плиты во дворе. У тени были короткие ноги, длинные руки и собранная в пучок коса, как у меня. Когда я тряхнула головой, она тоже тряхнула головой. Мы взмахнули руками. Мы подняли ногу. Я повернулась, чтобы уйти, и она пошла за мной. Я быстро обернулась: она была на месте. Я подняла циновку, чтобы посмотреть, свернется ли тень, а она была уже под циновкой, на каменных плитах. Я ахнула в восторге от ее сообразительности. Я побежала под дерево — тень не отставала от меня. Там она исчезла. Тень мне понравилась: темная моя спутница с такой же неутомимой натурой, как у меня.

Потом я услышала, как ама снова зовет меня:

— Иннин! Пора! Ты готова отправиться на озеро?

Я кивнула и побежала к ней, преследуя себя саму, бегущую впереди.

— Не бегай, ходи не спеша, — наставляла меня ама.

Вся наша семья уже стояла перед домом, возбужденно переговариваясь. Все были одеты по-парадному. На папе был новый коричневый халат, с виду очень скромный, но отличного покроя и из превосходного шелка. На маме — жакет и юбка, расцветка которых была прямо противоположна цветам моей одежды: черный шелк с желтыми лентами. Мои сестры были в розовых жакетах, как и их матери, младшие жены моего отца. Кофта моего старшего брата была голубого цвета, с вышивкой, напоминающей иероглиф Будды с пожеланиями долголетия. Даже старушки надели ради праздника свои лучшие одежды: мамина тетья, папина мама и ее двоюродная сестра, толстая жена моего двоюродного деда, которая всегда ходила так, словно перебиралась по скользким камням через ручей: сделает два коротеньких шажка и испуганно оглядывается.

Слуги уже собрали и погрузили в повозку рикши все необходимое на день: закрытую крышкой корзину, наполненную *танши* — клейким рисом, завернутым в листья лотоса, с начинкой из жареной свинины или сладких семечек лотоса; маленькую печку, чтобы вскипятить воду для чая; корзину с чашками, тарелками и палочками для еды; полотняную сумку с яблоками, гранатами и грушами; запотевшие глиняные кувшины с консервированным мясом и овощами; груды красных коробок, в каждой из которых лежало по четыре лунных пряника, и, конечно, циновки для послеобеденного сна.

Потом все забрались в повозки; младшие дети сели со своими няньками. Но перед тем как процессия тронулась, в самый последний момент, я выскользнула из объятий амы, соскочила с рикши и забралась в повозку к маме. Это расстроило аму: во-первых, ей не нравилось, когда я

капризничала, а во-вторых, меня она любила больше, чем себя. Когда умер ее муж, она отказалась от своего сына, и ее взяли в наш дом нянькой для меня. Но я никогда не думала о ее чувствах, она слишком избаловала меня; я просто считала, что ама создана специально для моего удобства, — так относятся к вееру летом или к печке зимой, а ценить такие вещи начинают только тогда, когда их лишают.

Когда мы приехали на озеро, меня разочаровало отсутствие прохладного ветерка. Рикши взмокли от пота и фыркали, как лошади, хватая ртом воздух. Стоя на причале, я смотрела, как старушки и мужчины поднимаются на борт большой лодки, арендованной нашей семьей. Лодка была похожа на плавучий чайный домик с открытым павильоном, который был даже больше того, что стоял у нас во дворе. Павильон был со множеством красных колонн и островерхой черепичной крышей, а за ним располагалось нечто, напоминающее садовый домик с круглыми окошками.

Когда наступила наша очередь, ама крепко схватила меня за руку, и мы перепрыгнули через борт. Но едва лишь мои ноги коснулись палубы, я выдернула руку. Вместе с Номером Два и Номером Три мы пробрались между скрытыми под волнами темных и ярких шелковых одежд ногами взрослых и наперегонки помчались в конец палубы.

Мне нравилось, как покачивается палуба — казалось, она вот-вот уйдет из-под ног. Прикрепленные к крыше и перилам красные фонари тоже раскачивались, словно от ветра. Мы с сестрами пробежались пальцами по всем скамейкам и маленьким столикам в павильоне, потом потрогали резьбу на деревянных перилах и просунули головы в отверстия, чтобы посмотреть на воду внизу. Но еще столько интересного оставалось необследованным!

Я приотворила тяжелую дверь, ведущую в садовый домик, — за ней оказалась большая комната, похожая на гостиную. Заливающе смеясь сестры вбежали туда следом за мной. За другой дверью я увидела людей на кухне. Мужчина с большим разделочным ножом в руках обернулся и начал нам что-то говорить, но мы, смущенно заулыбавшись, ретировались.

На корме мы увидели бедно одетую семью. Мужчина бросал щепки в печку с длинной трубой, женщина резала овощи, двое мальчишек сидели на корточках у самого борта, держа в руках что-то вроде лески с привязанной к ней проволочной сеткой, опущенной в воду. Эти нахалы даже не взглянули в нашу сторону.

На нос лодки мы вернулись как раз вовремя, чтобы увидеть удаляющийся от нас причал. Мама и другие женщины уже сидели на

скамеечках в павильоне, изо всех сил обмахиваясь веерами и хлопая друг друга, когда на кого-нибудь садился комар. Папа и дядя, облокотившись на перила, вполголоса вели какой-то серьезный разговор. Мой брат в компании со своими двоюродными братьями, отыскав где-то длинную бамбуковую палку, колотил ею по воде, как будто так можно было ускорить движение лодки. Собравшиеся на носу слуги, щелкая жареные орешки, грели воду для чая и распаковывали корзины с холодными закусками.

Хотя озеро Тай одно из самых больших в Китае, в тот день на нем, казалось, яблоку негде было упасть. Мимо нас то и дело проплывали разные лодки — гребные, педальные, парусные, рыбацьи — и плавучие павильоны вроде нашего. Повсюду были люди: кто-то, перегнувшись через борт, опускал руки в холодную воду, кто-то спал под полотняным навесом или под зонтом из вощенной бумаги.

Внезапно я услышала крики: «Ах! Ах! Ах!», — и подумала: ну наконец-то, день начался! Примчавшись в павильон, я обнаружила, что это смеются мои дяди и тети, пытающиеся ухватить палочками креветок, которые все еще извивались в своих панцирях, растопырив крохотные ножки. Значит, вот что было в проволочной сетке, болтавшейся за бортом: свежие креветки, которых мой папа окунает сейчас в острый соевый соус и — раз-два — отправляет себе в рот.

Но возбуждение скоро прошло, и день перестал отличаться от любого другого дня у нас дома. Та же вялость после еды. Нагоняющие сон сплетни за чашкой горячего чая. Ама велит мне лечь на циновку. В самый жаркий час дня все засыпают. Тишина.

Я села и увидела, что ама еще спит, лежа наискосок на своей циновке. Тогда я потихоньку пробралась на корму. Там нахальные мальчишки вытаскивали из бамбуковой клетки большую пронзительно кричавшую птицу с длинной шеей. На шее у нее было металлическое кольцо. Один мальчишка держал птицу за крылья, другой привязывал толстую веревку к ушку на этом кольце. Затем они отпустили птицу, и она взмыла вверх, взмахнув белыми крыльями, перелетела через борт лодки и села на сверкающую воду. Я подошла к борту посмотреть на птицу. Она одним глазом покосилась на меня, потом нырнула и исчезла.

Один из мальчишек бросил на воду тростниковый плот, прыгнул за борт и забрался на плот. Через несколько секунд птица вынырнула, с трудом удерживая в клюве большую рыбину. Вспрыгнув на плот, она попыталась проглотить рыбу, но, естественно, с кольцом на шее не могла

этого сделать. Мальчишка на плоту одним движением выхватил у нее рыбу и бросил брату, оставшемуся на борту. Я захлопала в ладоши, а птица снова нырнула в воду.

Целый час, пока ама и все остальные спали, я, точно голодный кот, подкарауливающий добычу, наблюдала, как рыбина за рыбиной появлялись в птичьем клюве лишь для того, чтобы перекочевать в деревянное ведро на палубе. Потом мальчишка на плоту крикнул другому: «Хватит!», а тот что-то прокричал еще кому-то, находившемуся высоко наверху, в той части лодки, которой мне не было видно. Лодка пришла в движение, и тут же снова послышалось громкое звяканье и шипение. Стоявший рядом со мной мальчишка прыгнул в воду. Теперь оба, скорчившись, уселись посередине плота, будто птицы на ветке. Я помахала им рукой, позавидовав их беспечной жизни. Вскоре они были уже далеко от нас — крохотное желтое пятнышко, пляшущее на воде.

Казалось бы, мне вполне могло хватить одного этого приключения. Но я осталась на корме, будто ожидая продолжения чудесного сна. И конечно же, долго ждать не пришлось: едва я обернулась, как увидела угрюмую женщину, сидящую на корточках перед ведром с рыбой. Она взяла тонкий острый нож и стала вспарывать рыбам брюхо, вытаскивая оттуда скользкие красные внутренности и швыряя их через плечо в озеро. Я видела, как она соскабливала рыбу чешую, которая разлеталась в стороны, словно осколки стекла. Еще там были две курицы, кудахтавшие до тех пор, пока им не отрубили головы. И большая зубастая черепаха, которая только вытянула шею, чтобы укусить палку, как — вуук! — и ее голова отлетела в сторону. И темное скопище тонких пресноводных угрей, кишевших в тазу. Потом женщина молча собрала все это и унесла на кухню. И больше не на что было смотреть.

Только тогда — но слишком поздно! — я догадалась посмотреть на свой новый костюм: пятна крови, приставшая рыба чешуя, перья и грязь. Тут мне в голову пришла идея — мягко говоря, странная. Заслышав с носовой части лодки голоса просыпающихся родственников, я в панике быстро окунула руки в миску с черепашьей кровью и вымазала ею свои рукава и перед штанов и жакета. Я совершенно искренне полагала, что смогу замаскировать все пятна, перекусав костюм в темно-красный цвет, и, если потом буду примерно вести себя, никто не заметит этой перемены.

В таком виде ама и нашла меня: залитое кровью привидение. У меня в ушах до сих пор звучит вопль, который она испустила, в ужасе бросившись ко мне, чтобы определить, каких частей тела у меня не хватает и где кровоточащие раны. Но, осмотрев мои уши и нос, пересчитав пальцы на

руках и ничего не обнаружив, ама стала называть меня такими словами, каких я никогда слыхом не слыхала. Судя по тому, как она выплевывала и швыряла их в меня, слова эти были очень плохие. Приговаривая: «Ах ты такая-сякая!», она сорвала с меня жакет и стянула штаны. Ее голос дрожал не столько от злости, сколько от страха и угрызений совести.

— Сейчас придет твоя мама и с удовольствием вытрет об тебя ноги, — сказала ама в отчаянии. — Она отправит нас обоих в Куньмин.

И тут я не на шутку перепугалась, так как слыхала, что Куньмин находится страшно далеко и туда никто никогда не ездит и что это совершенно дикое место, окруженное каменным лесом, в котором хозяйничают обезьяны. Ама оставила меня на корме, залитую слезами, в одном только хлопчатобумажном белом белье и тигровых шлепанцах.

Я и вправду ждала, что мама вот-вот появится. Я пыталась себе представить, как она посмотрит на мой испорченный костюм, на цветочки, в которые было вложено столько ее труда. Мне казалось, она придет на корму и, по своему обыкновению, мягко пожурит меня. Но мама не приходила. В какой-то момент я услышала шаги, но увидела только лица своих сестер, прижатые к стеклу в двери. Они смотрели на меня во все глаза и тыкали пальцами, а потом засмеялись и убежали.

Вода из темно-золотистой сделалась красной, потом пурпурной и наконец совсем черной. Небо потемнело, и по всему озеру загорелись красные фонарики. Мне было слышно, как кто-то смеялся и разговаривал, какие-то голоса долетали с носа нашей лодки, какие-то — с соседних лодок. Потом я услышала, как распахнулась и захлопнулась деревянная дверь кухни, и воздух наполнился восхитительными ароматами. Из павильона доносились голоса, восклицавшие с притворным недоумением: «Ах, не может быть! Взгляните сюда! А сюда!» Мне очень хотелось туда, к ним.

Бродя по корме, я прислушивалась к шуму застолья. Хотя уже наступила ночь, было очень светло. Я видела свое отражение в воде: ноги, руки, скользящие по перилам, лицо. И вдруг поняла, почему было так светло: в темной воде у меня над головой плыла полная луна, настолько большая и теплая, что ее можно было принять за солнце. Я обернулась, чтобы разыскать Госпожу Луну и сказать ей свое заветное желание. Но в этот самый момент все остальные тоже, должно быть, ее увидели, потому что раздались взрывы хлопучек. И вдруг я свалилась в воду, даже не услышав никакого всплеска.

Меня настолько удивила приятная прохлада воды, что в первый момент

я даже не испугалась. Мое тело было невесомым, словно во сне. И казалось, что ама немедленно придет и вытащит меня. Но вскоре я начала захлебываться и поняла, что она не придет. Я заболтала под водой руками и ногами. Вода резала мне глаза, попадала в нос и горло, отчего я бултыхалась еще сильнее.

— Ама! — Я попыталась кричать, ужасно рассердившись на нее за то, что она меня бросила и заставляет ждать и страдать понапрасну.

А потом что-то темное надвинулось на меня, и я догадалась, что это одно из Пяти Зол — плывущая змея.

Она обвилась вокруг меня, сжала мое тело, как губку, и выкинула на воздух — я угодила в веревочный невод, кишмя кишачий рыбой. Вода хлынула у меня из горла, я раскашлялась и завывала.

Повернув голову, я увидела четыре тени и позади них луну. В лодку забиралась какая-то фигура, с которой ручьями лилась вода.

— А не маловата ли будет? Может, выбросить ее обратно? Или за нее можно что-нибудь получить? — переведя дух, произнес мокрый человек. Остальные рассмеялись.

Я притихла. Я поняла, что это за люди. Когда мы с амой встречали таких людей на улице, она всегда закрывала ладонями мои глаза и уши.

— Прекратите! — прикрикнула на них женщина в лодке. — Вы ее напугали. Она думает, что мы разбойники и собираемся продать ее в рабство. — И добавила мягко: — Откуда ты, маленькая сестричка?

Мокрый человек наклонился и посмотрел на меня.

— О, да это девочка, а вовсе не рыба!

— Вовсе не рыба! Совсем не рыба! — захихикали остальные.

Я задрожала, слишком напуганная, чтобы плакать. В воздухе стоял запах опасности, едкий запах пороха и рыбы.

— Не обращай на них внимания, — сказала женщина. — Ты, наверное, с другой рыбацкой лодки? С какой? Не бойся. Покажи.

Я оглядела гребные и pedalные лодки, парусные и рыбацкие, похожие на ту, куда я попала, — с длинным носом и маленьким домиком посередине. С бешено бьющимся сердцем я всматривалась в них изо всех сил.

— Оттуда! — сказала я и показала на увешанный фонариками плавучий павильон со смеющимися людьми. — Оттуда! Оттуда! — И я заплакала, отчаявшись увидеть свою семью, где меня пожалеют и приласкают.

Наша лодка быстро заскользила по направлению к вкусным запахам.

— Эй! — крикнула женщина вверх. — Не вы ли потеряли маленькую девочку? Девочку, которая свалилась в воду?

С павильона раздались крики, и я напрягла зрение, чтобы увидеть лица амы, папы и мамы. Люди столпились на борту, перегнувшись через перила, показывая на нашу лодку и заглядывая в нее. Все незнакомые: смеющиеся красные лица, громкие голоса. Где ама? Почему нет моей мамы? Маленькая девочка протолкалась между ногами взрослых.

— Это не я! — закричала она. — Я здесь! Я не падала в воду! — Люди на борту разразились хохотом и отвернулись от нас.

Наша лодка заскользила прочь, и женщина сказала мне:

— Маленькая сестричка, ты ошиблась.

Я ничего не ответила и снова задрожала. Никто меня не хватился. Я посмотрела на озеро, на сотни танцующих огоньков. Повсюду взрывались хлопущки и слышался веселый смех. Чем дальше мы уплывали, тем больше становился мир. И тут я почувствовала, что потерялась навсегда.

Женщина продолжала меня рассматривать. Коса у меня расплелась, белье испачкалось и промокло, ноги были босые, потому что туфельки утонули.

— Что будем делать? — спокойно спросил один из мужчин. — Никто ее не разыскивает.

— Наверное, она нищенка, — сказал другой. — Взгляните на ее одежду. Она из тех детей, которые плавают по озеру на хлипких плотиках и подбираются.

Я ужаснулась. Возможно, они были правы. Потеряв своих родных, я превратилась в нищенку.

— Ах! Где ваши глаза? — возразила женщина. — Посмотрите, какая белая у нее кожа. И какие нежные пятки.

— Тогда везите ее на берег, — сказал мужчина. — Если у нее в самом деле есть родные, они будут искать ее на берегу.

— Вечная история! — вздохнул другой мужчина. — В праздничные ночи обязательно кто-нибудь падает в воду. Пьяные поэты и маленькие дети. Еще повезло, что она не утонула.

Так, болтая о том о сем, они потихоньку продвигались к берегу. Один из них оттолкнулся длинным бамбуковым шестом, и мы проскользнули между другими лодками. Когда мы причалили, тот мужчина, который выловил меня из воды, своими пропахшими рыбой руками вытащил меня из лодки и поставил на мостки.

— В следующий раз будь осторожнее, сестричка, — сказала женщина, когда их лодка отплывала.

На причале, когда яркая луна оказалась позади меня, я снова увидела свою тень. В этот раз она была меньше, съезженная и диковатая на вид. Мы

с ней добежали до растущих вдоль дорожки кустов и спрятались за ними. В этом укромном местечке мне были слышны голоса проходивших мимо людей. Еще я слышала трели лягушек и сверчков. А потом раздались звуки гонга и флейты, звон цимбал и барабанная дробь.

Я посмотрела сквозь ветки кустов и немного поодаль увидела толпу людей, а над ними — сцену с укрепленной на ней луной. На сцену откуда-то сбоку выбежал молодой человек и объявил публике:

— А сейчас появится Госпожа Луна и расскажет вам свою грустную историю. Театр теней. Представление с классическим пением.

«Госпожа Луна!» — подумала я, и магическое сочетание этих слов заставило меня забыть о своей беде. Цимбалы и гонги зазвучали громче, и на луне появилась тень женщины, расчесывающей длинные распущенные волосы. Она заговорила таким сладким и жалобным голосом!

— Мой рок и мое несчастье в том, — причитала она, запустив тонкие пальцы в свои распущенные волосы, — что я живу здесь, на луне, тогда как мой муж живет на солнце. Поэтому каждый день мы проходим мимо друг друга и встречаемся только один раз в году — вечером накануне второго осеннего полнолуния.

Толпа придвинулась ближе. Госпожа Луна тронула струны лютни и запела.

Я увидела, как на другом краю луны появился силуэт мужчины. Госпожа Луна простерла к нему руки.

— О! Хоу И, супруг мой. Небесный Властелин-лучник! — пела она. Но казалось, муж не замечает ее. Он пристально смотрел на небо. И когда оно стало светлеть, его рот начал открываться, все шире и шире — то ли от ужаса, то ли от восторга, трудно сказать.

Госпожа Луна схватилась за горло и повалилась на сцену с криком:

— Засуха десяти солнц в Восточных Небесах!

И едва только она это произнесла. Небесный Властелин вынул свои волшебные стрелы, прицелился и сбил девять солнц; из них сразу же хлынула кровь.

— Утопают в бурлящем море! — радостно пропела Госпожа Луна, и я слышала, как эти солнца, умирая, шипели и трещали.

И тогда к Небесному Властелину подлетела волшебница — Мать-Владычица Западных Небес! Она открыла шкатулочку и вынула оттуда пылающий шар — нет, не младенца Солнце, а волшебный персик, персик вечной жизни! Я заметила, как Госпожа Луна, делавшая вид, будто занята вышиванием, наблюдает за своим мужем. Она видела, как Небесный Властелин спрятал персик в шкатулку, после чего поднял свой лук и

покаялся, что выдержит целый год и докажет: у него достаточно терпения, чтобы жить вечно. Но как только он скрылся, Госпожа Луна, не теряя ни минуты, отыскала персик и съела его.

Едва лишь откусив кусочек, она стала подниматься в воздух и потом полетела, но не так, как Мать-Владычица, а скорее как стрекоза со сломанными крыльями.

— Я не могу удержаться на этой земле из-за собственного беспутства! — заплакала она, когда ее муж ворвался в дом с криками:

— Воровка! Жена, укравшая жизнь! — Он схватил свой лук и направил стрелу прямо на жену — и тут под грохот гонгов на них обрушилось небо.

Уа-а! Уа-а! — снова печально запели лютни, и небо на сцене начало светлеть. На фоне яркой, как солнце, луны стояла несчастная женщина. Ее распущенные волосы были так длинны, что, утирая слезы, она мела ими по полу. Целая вечность прошла с тех пор, как она в последний раз видела своего мужа, но таков был теперь ее удел: в полном одиночестве жить на луне до скончания веков в наказание за свой эгоизм.

— Женщина — это инь, — горько плакала она, — темнота, где бушуют необузданные страсти. А мужчина — ян, он излучает истинный свет и освещает наш путь.

Под конец ее пения я отчаянно заплакала, дрожа всем телом. Хоть я и не полностью поняла всю историю, но уяснила себе, в чем было несчастье этой женщины. В какой-то неуловимый момент мы обе потеряли свой мир, и не было никакого способа вернуть его.

Зазвучал гонг, Госпожа Луна поклонилась и как ни в чем не бывало стала смотреть по сторонам. Зрители изо всех сил захлопали. И тут тот же самый молодой человек, что и в начале, вышел на сцену и объявил:

— Подождите! Все-все! Госпожа Луна согласилась исполнить по одному заветному желанию каждого из присутствующих! — Толпа возбужденно зашевелилась, раздались взволнованные голоса. — За небольшое денежное вознаграждение, — добавил молодой человек. Зрители рассмеялись, и толпа стала редеть. Молодой человек выкрикивал: — Единственная возможность в году! — Но никто, кроме меня и моей тени, спрятавшихся в кустах, его не слушал.

— У меня есть желание! У меня есть! — крикнула я и побежала вперед, как была, босиком, чтобы сказать Госпоже Луне, чего я хочу. Молодой человек, не обратив на меня внимания, ушел со сцены. Но я все равно не остановилась, потому что теперь знала, какое у меня желание, и как ящерица юркнула за сцену, по ту сторону луны.

Я увидела ее. На миг застывшая в ярком свете дюжины керосиновых ламп, она была прекрасна. Потом она тряхнула длинными черными волосами и начала спускаться по ступенькам.

— У меня есть желание, — прошептала я, но Госпожа Луна все еще меня не слышала. Поэтому я подошла так близко, что смогла разглядеть ее лицо: морщинистые щеки, большой сальный нос, крупные блестящие зубы и красные глаза — ужасно утомленное лицо. Она устало стягивала с себя волосы, при этом длинное платье соскользнуло с ее плеча. И когда заветное желание слетело с моих губ, Госпожа Луна взглянула на меня и стала мужчиной.



Много лет я не могла вспомнить ни того, о чем тогда попросила Госпожу Луну, ни того, как мои родные меня нашли. И то и другое стало для меня таким же нереальным, как выдумка с исполнением желаний. Кроме разочарования в могуществе Госпожи Луны, моя память почти ничего не удержала. Более того, хотя меня нашли в ту же самую ночь — ама, папа, дядя и остальные обкричались, кружа по озеру, — я всегда потом думала, что на самом деле они нашли не меня, а другую девочку.

Со временем я забыла и все остальное, что случилось в тот день: жалобную историю Госпожи Луны, плавучий павильон, птицу с кольцом на шее, крошечные цветочки на рукаве моего жакета, сожжение Пяти Зол.

Но сейчас, состарившись и с каждым годом приближаясь к концу своей жизни, я чувствую себя ближе и к ее началу. И теперь я вспомнила все, что случилось в тот день, потому что такое повторялось со мной в жизни много раз. Все та же невинность, доверчивость и неугомность, все то же потрясение, испуг и одиночество. Так я теряла себя.

Я вспомнила все это. И сегодня вечером, в пятнадцатый день восьмой луны, мне припомнилось еще и то, о чем тогда, много-много лет назад, я просила Госпожу Луну. Я хотела, чтобы меня нашли.

## ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ВОРОТ ЗЛА

— Когда катаешься на велосипеде, не поворачивай за угол, — сказала мама своей семилетней дочке.

— Почему? — удивилась девочка.

— Потому что тогда я не смогу тебя увидеть. Ты упадешь и будешь плакать, а я тебя не услышу.

— С чего ты взяла, что я упаду? — захныкала девочка.

— Об этом написано в книге «Двадцать шесть ворот зла». Там рассказывается обо всех плохих вещах, которые могут случиться с детьми, когда они находятся вне защиты своего дома.

— Я тебе не верю. Покажи мне эту книгу.

— Она на китайском. Ты там ничего не поймешь. Поэтому ты должна слушаться меня.

— Ну и что это за вещи? Расскажи мне, что это за двадцать шесть плохих вещей, — потребовала девочка.

Но мама сидела и молча вязала.

— Что за двадцать шесть вещей?! — закричала девочка.

Мама не отвечала.

— Ты не говоришь, потому что не знаешь! Ты ничего не знаешь! — Девочка выбежала во двор, вскочила на свой велосипед и так заторопилась скрыться с глаз матери, что в спешке упала, даже не доехав до угла.

## Уэверли Чжун

### Правила игры

Мне было шесть лет, когда мама научила меня искусству владения невидимой силой. Это было искусство побеждать в спорах, добиваться уважения со стороны окружающих, а в конечном итоге, хотя тогда никто из нас об этом и не подозревал, это было искусство игры в шахматы.

— Прикуси язык! — прикрикнула на меня мама, когда я с громкими воплями потянула ее в сторону магазина, в котором продавался мой любимый маринованный чернослив.

Дома она сказала:

— Мудрый человек не ходить против ветер. По-китайски сказать: наступай с юг, налетай вместе с ветер — вууп! — и север есть твой. Самый сильный ветер не увидишь.

Когда на следующей неделе мы вошли в магазин с запретными сладостями, я прикусила язык. Выбрав все, что ей было надо, мама, не сказав ни слова, взяла со стойки упаковку слив и положила ее на прилавок перед кассой вместе с остальными покупками.

Мама ежедневно учила нас уму-разуму, чтобы помочь моим старшим братьям и мне выйти в люди. Мы жили в Чайнатауне в Сан-Франциско. Подобно большинству китайских детей, которые играли на задворках ресторанов и антикварных магазинов, я не считала, что мы бедные. Моя чашка для риса всегда была полной, трижды в день нас ожидала трапеза с пятикратной переменной блюд, начинавшаяся с супа из таких странных ингредиентов, что мне даже не хотелось узнавать, как они называются.

Мы жили на улице под названием Уэверли-плейс, в теплой, чистой квартире с двумя спальнями, которая находилась над маленькой китайской булочной, специализировавшейся на паровых пирожках, рулетиках с начинкой и прочих закусках. Ранним утром, пока весь двор еще спал, к нам уже поднимался приятный запах разваренных красных бобов, из которых делали слад кую массу для начинки. К началу дня нашу квартиру переполнял аромат жареных кунжутных шариков и сладких рожков с цыплятами карри. Не вставая с постели, я слышала, как мой отец собирается на работу и — раз, два, три щелчка — закрывает за собой дверь.

В конце аллеи, тянувшейся вдоль нашего и соседнего кварталов, находилась маленькая детская площадка с песочницей, качелями и горкой,

середина которой была отполирована до блеска от частого использования. На стоявших по периметру площадки деревянных скамейках всегда сидели старики-китайцы, деревенская публика: они щелкали своими золотыми зубами жареные арбузные семечки и бросали шелуху нетерпеливо воркующим голубям. Но лучшей площадкой для игр была сама аллея. Она всегда была полна загадок и сулила приключения на каждом шагу. Мы с братьями любили наблюдать, как старый Ли в магазинчике лекарственных растений выкладывает на плотную белую бумагу аккуратные кучки сухих насекомых, покрашенных шафраном семечек и душистых трав, предназначенные для его страждущих пациентов. Говорили, что однажды он вылечил женщину, умиравшую от родового проклятия, которой не смогли помочь лучшие американские доктора. Сразу за его аптекой была крохотная типография, которая специализировалась на тисненых золотом свадебных приглашениях и красных праздничных баннерах.

Дальше по улице находился рыбный магазин Пин Юэня. В его витрине был помещен наполненный водой резервуар, в котором кишмя кишели обреченные на смерть рыбы и черепахи, старавшиеся вскарабкаться на облицованные зеленым кафелем скользкие борта. Сделанная от руки надпись информировала туристов: «Здесь магазин еды, а не домашних животных». В магазине продавцы в заляпанных кровью белых халатах проворно потрошили рыбу, пока покупатели выкрикивали свои заказы, сопровождавшиеся неизменным требованием: «Мне самый свежий», — на что продавцы невозмутимо отвечали: «Всё самый свежий». В не очень оживленные торговые дни мы заходили в магазин и внимательно рассматривали ящики с живыми лягушками и крабами, которых запрещалось трогать, коробки с сушеными каракатицами и целые ряды переложенных льдом креветок, кальмаров и скользкой рыбы. Камбала каждый раз заставляла меня содрогаться: два глаза на одной стороне плоской рыбины напоминали мне рассказ мамы о непослушной девчонке, которая убежала на большую улицу и попала под такси. «Расплющить в лепешку», — сообщила тогда мама.

В угловом здании было кафе Хон Синя на четыре столика. Маленькое крылечко сбоку от кафе вело к спрятанной в нише двери с надписью «Торговый агент». Мы с братьями считали, что из этой двери по ночам выходят злые люди. Туристы никогда не заходили к Хон Синю, потому что меню у него было напечатано только по-китайски. Однажды какой-то белый мужчина с большим фотоаппаратом попросил меня и нескольких других детей попозировать ему перед этим ресторанчиком. Он велел нам встать так, чтобы не загромождать собою аппетитную жареную утку,

голова которой свисала набок из прокопченной петли. После того как он нас сфотографировал, я сказала, что ему следует зайти к Хон Синю пообедать. Он улыбнулся и спросил, что там подают, я выпалила: «Требуху, утиные лапы и внутренности осьминогов!» — и, хохоча во все горло, помчалась догонять своих друзей. Мы перебежали на другую сторону аллеи и спрятались в подъезде компании «Драгоценные камни из Китая», при этом мое сердце колотилось от надежды, что он погонится за нами.

Мама дала мне имя по названию улицы, на которой мы жили, Уэверли Плейс Чжун — именно так оно пишется в официальных американских бумагах. А дома меня звали Мэймэй, что значит «маленькая сестренка». Я была младшей среди детей и единственной дочерью в семье. Каждое утро перед школой мама возилась с моими густыми черными волосами, разбирала их на отдельные пряди, крутила и вертела в разные стороны, пока у меня на голове не появлялись две тугие косички, больно стягивавшие кожу под волосами. Однажды, когда она пыталась продрать мои непослушные волосы расческой с крепкими зубьями, мне в голову пришла коварная мысль.

Я спросила:

— Мам, а что такое китайская пытка?

Мама потрясла головой — во рту у нее была зажата заколка. Она смочила руку, пригладила мне волосы на висках, а затем вонзила в них эту заколку, да так, что та проскребла своим острием мне по коже.

— Кто сказать такой слово? — спросила она, не выказав и тени подозрения, что у меня могли быть какие-то задние мысли. Я пожала плечами:

— Один мальчишка в моем классе сказал, что китайцы делают китайскую пытку.

— Китайцы делать много всего, — просто ответила она. — Китайцы делать бизнес, медицина, искусство. Не так лентяи, как американцы. Мы делать пытка. Самый лучший всех.

Шахматы вообще-то достались моему старшему брату Уинсенту. Он получил их на рождественской елке в Первой китайской баптистской церкви, расположенной в конце нашей аллеи. Благотворительницы, устраивавшие праздник, принесли большой мешок с подарками от Санта-Клауса, пожертвованными прихожанами другой церкви. Имен на подарках не было, их разложили по разным мешкам — одни для мальчиков, другие для девочек, с учетом возраста ребенка.

Кто-то из взрослых надел костюм Санта-Клауса и жесткую бумажную бороду с приклеенными к ней ватными шариками. Я думаю, что те дети, которые сочли его настоящим, просто еще не доросли до того, чтобы знать, что Санта-Клаус не был китайцем. Когда подошла моя очередь, Санта-Клаус спросил, сколько мне лет. Я подумала, что это был вопрос с подвохом, потому что по-американски мне было семь лет, а по китайскому календарю — восемь, и ответила, что родилась семнадцатого марта тысяча девятьсот пятьдесят первого года. По-видимому, этот ответ устроил его. Он с важностью спросил, была ли я по-настоящему хорошей девочкой в прошедшем году, верила ли в Иисуса Христа и слушалась ли родителей. Мне был известен только один вариант ответа на эти вопросы, поэтому я с не меньшей важностью кивнула ему в ответ.

Понаблюдав за тем, как другие дети открывали свои подарки, я уже поняла, что большие коробки совсем не обязательно самые лучшие. Одна девочка моего возраста получила большую книжку-раскраску с персонажами из Библии, тогда как менее жадной девочке, выбравшей коробочку поменьше, достался стеклянный флакон с лавандовой туалетной водой. Какой звук издавала коробочка, тоже было важным моментом. Десятилетний мальчик выбрал коробку, в которой что-то загремело, когда он ее потряс. Это оказался жестяной глобус с щелью для монет. Должно быть, он надеялся, что там полно пяти- и десятицентовиков, потому что, когда увидел, что там лежит всего лишь десять пенни, его лицо выразило такое явное разочарование, что мать отвесила ему затрещину и вывела из церкви, извинившись перед собравшимися за отвратительные манеры своего сына, не сумевшего оценить столь великолепный подарок.

Когда наступила моя очередь заглянуть в мешок, я быстро перетрогала все оставшиеся в нем подарки, прикидывая их вес в попытке представить, что там может быть внутри. Я выбрала довольно небольшой пакет, завернутый в серебряную бумагу и перевязанный красной сатиновой ленточкой. Это оказался набор сладостей «Лайф Сейверс», и остаток вечера я провела, раскладывая и перекладывая двенадцать цилиндрических упаковок в порядке убывания их ценности. Мой брат Уинстон тоже выбирал с умом. Его подарок оказался набором замысловатых пластмассовых деталей; в инструкции на крышке говорилось, что если их правильно собрать, то получится миниатюрная модель настоящей подводной лодки времен Второй мировой войны.

Уинсенту достались шахматы, которые были бы слишком роскошным подарком для церковной рождественской елки, если бы не то обстоятельство, что они были явно подержанными, и, кроме того, как мы

обнаружили позже, там недоставало черной пешки и белого коня. Наша мама любезно поблагодарила неизвестного дарителя, сказав: «Очень хороший. Сильно дорого». В этот момент пожилая дама с тщательно уложенными тонкими седыми волосами покивала в сторону нашей семьи и произнесла свистящим шепотом: «Счастливого Рождества!»

Когда мы пришли домой, мама велела Уинсенту выбросить шахматы. «Ей оно не надо. Нам оно не надо!» — сказала мама, с гордым видом глядя в сторону и натянуто улыбаясь. Мои братья пропустили ее слова мимо ушей. Они уже расставляли фигуры и листали обтрепанную инструкцию.

Всю рождественскую неделю я наблюдала за тем, как Уинсент и Уинстон играют в шахматы. Казалось, шахматная доска скрывала в себе запутанные секреты, которые только и ждали того, чтобы их распутали. Шахматные фигуры оказались могущественнее волшебных трав старого Ли для лечения родовых проклятий. У моих братьев были такие серьезные лица, что я была уверена: на карту поставлено что-то более важное, чем подсматривание за дверью с надписью «Торговый агент» в кафе Хон Синя.

— Дайте и мне поиграть! Я тоже хочу! — умоляла я в перерывах между играми, когда один из моих братьев откидывался назад со вздохом облегчения, знаменовавшим собой выигрыш, а другой ерзал на своем месте, не в состоянии смириться с проигрышем. Уинсент сначала отказал мне в просьбе поиграть, но смягчился, когда я предложила использовать конфеты «Лайф Сейверс» в качестве замены недостававших фигур. Он выбрал два вкуса: дикую вишню вместо черной пешки и мятную конфету взамен белого коня. Победитель получал обе фигуры.

Пока наша мама просеивала муку и раскатывала маленькие кружочки из теста для паровых пирожков, которые в тот день предназначались на обед, Уинсент объяснил мне правши, указывая по очереди на каждую фигуру:

— У тебя шестнадцать фигур, и у меня тоже. Король и королева, два слона, два коня, две ладьи и восемь пешек. Пешка может ходить только на одну клетку, кроме первого хода, когда она может сделать два шага. Но они едят фигуры, только когда переступают через них, вот так, кроме самого первого хода, когда ты можешь сделать один шаг вперед и съесть другую пешку.

— Почему? — спросила я, двигая свою пешку. — Почему они не могут делать больше шагов?

— Потому что это пешки, — сказал он.

— А почему они берут другие фигуры, только перешагивая через них?

И почему все фигуры мужчины, почему там нет женщин и детей?

— Почему небо голубое? Почему ты всегда задаешь глупые вопросы? — спросил Уинсент. — Это игра. Такие правила. Я же не сам их придумал. Смотри, вот здесь, в этой книге. — Он сунул мне под нос страницу про пешку. — Пешка. П-е-ш-к-а. Пешка. Прочитай сама.

Мама стряхнула с рук муку.

— Дайте меня эта книга, — сказала она негромко.

Она быстро пролистала брошюрку, не читая иностранных английских слов. Казалось, она и так знала, что не найдет там ничего особенного.

— Американский правила, — выдана она свое заключение. — Каждый раз человек приехать другая страна, надо знать правила. Ты не знать, говорит суд. Очень плохой, ехать назад. Они не сказать почему, это надо воспользоваться идти вперед. Они говорить, мы не знать почему, ты сам разобран. Но они сам всегда знать. Вы тоже лучше сам разобран почему. — С удовлетворенной улыбкой она откинула голову назад.

Потом-то я разобрала всё про эти «почему». Я прочитала все правила и посмотрела в словаре все важные слова. Я брала книги в библиотеке Чайнатауна. Я изучала фигуру за фигурой, стараясь выведать все, что только возможно, про заключенную в каждой из них силу.

Я узнала, как надо делать первые ходы и почему важно с самого начала держать центр под контролем, — ведь самое короткое расстояние между двумя фигурами — в середине поля. Я поняла, как надо вести игру дальше, и уяснила себе, почему сражение двух противников похоже на столкновение двух идей: тот, кто заранее планирует, как ему нападать и как выбираться из ловушек, играет гораздо лучше. Узнала, почему в конце партии очень существенно умение предвидеть и математически просчитать все возможные ходы, почему следует с самого начала запастись терпением: для сильного игрока все слабые и выигрышные места становятся очевидны рано или поздно, а для его устающего противника они так и остаются скрытыми во мраке. Я пришла к выводу, что на протяжении всей игры нужно накапливать свои тайные преимущества и уметь предвидеть, чем закончится партия, еще до того, как она началась.

Кроме того, я узнала, почему никогда не следует открывать свои «почему» другим. Знание того, что неизвестно твоему противнику, какая-нибудь сущая мелочь, может дать огромное преимущество, поэтому надо держать его при себе, чтобы суметь применить свое тайное оружие в нужный момент. В этом сила шахмат. Это игра, в которой свои секреты надо показывать, а не рассказывать.

Я полюбила секреты, которые открыли мне шестьдесят четыре черных

и белых квадрата. Я со всем старанием нарисовала шахматную доску, приколотла ее к стене у своей кровати и по ночам часами разыгрывала на ней воображаемые баталии. Вскоре я перестала проигрывать и терять свои сладости, но зато потеряла противников. Уинстон и Уинсент решили, что им гораздо интереснее после школы гонять по улицам в своих ковбойских шляпах.

Холодным весенним днем, возвращаясь из школы, я сделала крюк, чтобы пройти через детскую площадку в конце аллеи, и увидела там компанию стариков. Двое сидели напротив друг друга за складным столиком и играли в шахматы, остальные курили трубки, ели арахис и наблюдали за игрой. Я примчалась домой и схватила перетянутую резинками картонную коробку с шахматами Уинсента. Кроме того, я предусмотрительно выбрала из своего набора «Лайф Сейверс» две конфеты для победителя. Вернувшись в парк, я подошла к мужчине, наблюдавшему за игрой.

— Хотите сыграть? — спросила я у него.

Его лицо вытянулось от удивления. Заметив у меня под мышкой доску, он усмехнулся.

— Маленькая сестренка, давно не играть я в куклы, — сказал он, благожелательно улыбаясь.

В качестве ответного хода я положила доску на скамейку, пододвинув ее поближе к нему.

Лау По, как он разрешил мне его называть, оказался гораздо более хорошим игроком, чем мои братья. Я проиграла много игр и потеряла много конфет «Лайф Сейверс». Но неделю за неделей, по мере убывания сладостей, я накапливала секреты. Лау По говорил мне названия. Двойная атака с западных и восточных берегов. Закидывание утопающего камнями. Неожиданная встреча клана. Сюрприз со стороны спящей охраны. Смиренный слуга, убивающий короля. Песок в глаза наступающему противнику. Двойное убийство без крови.

Кроме того, существовали правила шахматного этикета. Ставь отобранные фигуры ровными рядами, как военнопленных, заслуживающих достойного обращения. Никогда не торжествуй заранее, объявляя «шах», всегда может случиться, что какой-нибудь незамеченный тобой вовремя клинок перережет тебе горло в самый последний момент. Если ты проигрываешь, не швыряй свои фигуры в песок, потому что потом, попросив прощения у всех окружающих, тебе самой придется подбирать их. К концу лета Лау По научил меня всему, что знал, и я стала играть

лучше него.

По выходным, когда я играла с несколькими противниками и разбивала их одного за другим, на аллее собиралась небольшая толпа китайцев и туристов. Во время этих показательных выступлений на улице моя мама присоединялась к наблюдающим. Она горделиво усаживалась на скамейку и с приличествующим китайянке скромным видом приговаривала «Удача везет» в ответ на восторженные возгласы почитателей моего таланта.

Один мужчина, увидев, как я играю в сквере, посоветовал моей маме отправить меня на городской шахматный турнир. Она одарила его любезной улыбкой, которая не означала ровным счетом ничего. Мне отчаянно захотелось выступить на турнире, но я прикусила язык. Я знала, что мама не разрешит мне играть с незнакомыми людьми. Поэтому, когда мы шли домой, я произнесла слабым голосом:

— Мам, я не хочу играть на этом турнире. У них будут американские правила. Если я проиграю, я навлеку позор на всю семью.

— Позор падать, когда тебя не толкать никто, — сказала мама.

Во время моего первого турнира, пока я ждала своей очереди, мама сидела со мной в первом ряду. Я то и дело поднимала колени повыше, чтобы не касаться голой кожей холодного металлического сиденья складного стула. Когда выкликнули мое имя, я подскочила со своего места. Мама извлекла что-то из складок своей одежды. Это был ее чан, маленький медальон из красного нефрита, в котором был заключен жар солнца. «Удача везет», — прошептала она и сунула его мне в карман. Я повернулась к своему противнику, пятнадцатилетнему мальчику из Окленда. Он, взглянув на меня, только сморщил нос.

Но едва я начала играть, мальчик как будто исчез, в помещении поблекли все краски, остались только мои белые фигуры и его черные, ждущие на другой стороне поля. Легкий ветерок задышал над моим ухом. Он нашептывал секреты, слышные мне одной.

«Налетай с юга, — шелестел он. — Ветер не оставляет следов». Я ясно видела тропу и засады, которые мне надо было обойти. По аудитории прошел шелест. «Шшш! Шшш!» — говорили углы комнаты. Ветер подул сильнее: «Запороши ему глаза песком с востока, это отвлечет его». Конь вышел вперед, готовый к самопожертвованию. Ветер свистел все громче и громче: «Налетай, налетай, налетай. Он ничего не видит. Он ослеп. Заставь его заслоняться от ветра, тогда будет легче поразить его».

— Шах, — сказала я, когда в реве ветра послышался смех. Ветер сник до тихих «пуфф-пуфф», превратившись в мое собственное дыхание.

Мама поставила мой первый трофей рядом с новыми пластмассовыми шахматами, которые преподнесло мне расположенное по соседству Общество Тао. Протирая мягкой тряпочкой каждую фигуру, мама приговаривала:

— Следующий раз выигрывать больше, отдавать меньше.

— Мам, дело не в том, сколько фигур ты отдаешь, — сказала я. — Иногда, чтобы продвинуться, нужно нести потери.

— Потери лучше меньше: свой надо беречь.

В следующем турнире я опять выиграла, но с видом триумфатора ухмылялась моя мама:

— Отдать восемь фигур этот раз. Прошлый раз был одиннадцать. Что я тебе говорить? Свой надо беречь: потери лучше меньше!

Меня это ужасно раздражало, но что я могла поделать?

Я ездила на другие турниры, каждый раз все дальше от дома, и везде выигрывала. Китайская булочная под нашей квартирой выставила в своей витрине растущую коллекцию моих трофеев, поместив их среди покрытых пылью невостребованных пирожков. На следующий день после моей победы в важном региональном турнире в витрине появился огромный торт, украшенный взбитыми сливками, с красной надписью: «Наши поздравления Уэверли Чжун, шахматному чемпиону из Чайнатауна».

Вскоре после этого цветочный магазин, мастерская, специализирующаяся на могильных плитах, и похоронное бюро предложили мне свое спонсорство для игры в национальных турнирах. Именно тогда мама решила, что мыть посуду больше не входит в мои обязанности. Все мои домашние обязанности пришлось выполнять Уинстону и Уинсенту.

— Почему это она только играет, а мы должны делать за нее всю работу? — возмущался Уинсент.

— Новые американские правила, — говорила мама. — Мэймэй играть: выжимать мозги, чтобы победа. Вы играть: выжимать полотенце за такая игра.

К своему девятому дню рождения я была национальным чемпионом по шахматам. Мне все еще не хватало четырехсот двадцати девяти пунктов для звания гроссмейстера, но меня уже перевозносили как большую американскую надежду вундеркинда, и не просто вундеркинда, а девочку-вундеркинда. Моя фотография появилась в журнале «Лайф», под ней были напечатаны слова Бобби Фишера: «Ни одна женщина не станет гроссмейстером». «Твой ход, Бобби» — гласил заголовок.

В тот день, когда делали фотографию для журнала, у меня были

аккуратно заплетенные косички, заколотые пластмассовыми заколками со стразами. Я играла в большой университетской аудитории, в которой гулким эхом отзывался чей-то грудной кашель. Было слышно, как скрипели подбитые резиной ножки стульев, когда их двигали по начищенному деревянному полу. Сидевший напротив меня человек был американец примерно такого же возраста, как Лау По, — около пятидесяти лет. Его потные брови, казалось, влаготочили при каждом моем движении. На нем был вонючий темный костюм. Содержимое одного из его карманов составлял огромный белый платок, о который он каждый раз вытирал свою ладонь, перед тем как со всей торжественностью пронести руку к выбранной фигуре.

Я была в бело-розовом платье с колючими кружевами у горла, одном из двух, сшитых моей мамой для таких случаев. Я сидела так, как мама учила меня позировать для прессы: сложив руки под подбородком и едва касаясь стола острыми локотками. Будто нетерпеливый ребенок в школьном автобусе, я болтала туда-сюда ногами в лакированных туфлях, затем ненадолго замирала, втягивала губы, как бы в нерешительности помахивала высоко в воздухе выбранной фигурой, а потом плавно помещала ее на новое место, грозившее моему противнику новыми неприятностями, и с победной улыбкой бросала на него взгляд, как бы предлагая ему раскусить мою хитрость.

Я больше не играла на аллее Уэверли-плейс. Я больше не появлялась на детской площадке, где собирались старики и голуби. Я ходила в школу, а после нее сразу же отправлялась домой, где принималась за изучение новых шахматных секретов: как похитрее замаскировать свои преимущества и как половчее выбраться из той или другой западни.

Но дома было трудно сосредоточиться. Мама завела привычку стоять позади меня, пока я разыгрывала тренировочные партии. Думаю, она возомнила себя моим покровителем и союзником. Губы ее были крепко сжаты, и при каждом моем движении из ее ноздрей вырывалось мягкое «хмммф».

— Мам, я не могу тренироваться, когда ты там так стоишь, — сказала я однажды.

Она ретировалась в кухню и загремела кастрюлями и сковородками. Потом грохот прекратился, и я увидела краем глаза, что она стоит в дверном проеме. «Хмммф!» — только это и слышалось сквозь ее стиснутые губы.

Мои родители делали мне любые поблажки, лишь бы только я

тренировалась. Однажды я пожаловалась на то, что в нашей спальне очень шумно и я не могу думать. Кровать моих братьев сразу же перенесли в гостиную, выходящую окнами на улицу. Я говорила, что не могу доесть свой рис, что при переполненном желудке у меня голова не работает в полную силу, и уходила из-за стола, оставив на тарелке недоеденную порцию, и никто не возмущался. Но у меня была одна обязанность, от которой я не могла уклониться. По свободным от турниров субботам я должна была сопровождать маму в походах по магазинам. Мама гордо водила меня за собой, заходя почти во все магазины и почти ничего не покупая. «Эта моя дочь Уэв Ли Чжун», — говорила она каждому, кто бы ни взглянул в ее сторону.

Однажды, когда мы вышли из очередного магазина, я произнесла, затаив дыхание:

— Мне бы хотелось, чтоб ты прекратила все это, не говорила бы всем и каждому, что я твоя дочь.

Мама остановилась. Толпы людей с тяжелыми сумками проталкивались мимо нас вдоль тротуара, поминутно кто-нибудь задевал то одно плечо, то другое.

— Айя-йя! Мать рядом быть стыд? — Она сжала мою руку еще сильнее, бросив на меня свирепый взгляд.

Я смотрела себе под ноги.

— Дело не в этом. Неужели непонятно? Мне просто неудобно.

— Неудобно быть моя дочь? — Ее голос сорвался от страха.

— Я не это имела в виду. Я этого не говорила.

— Что имела ты?

Зная, что добавить еще хоть слово будет ошибкой, я услышала, как мой голос произносит:

— Почему тебе так необходимо водить меня всюду напоказ? Если ты хочешь устраивать представления, почему бы тебе самой не научиться играть в шахматы?

Мамины глаза опасно сузились, превратившись в две черные щелочки. Она не произнесла ни слова в ответ, но ее молчание было весьма красноречиво.

Я почувствовала порыв ветра на своих горящих ушах, вырвала ладошку из ее крепко сжатой руки и бросилась прочь, натолкнувшись на какую-то старушку. Сумка с покупками упала на тротуар.

— Ай-йя! Глупый девчонка! — закричали в один голос мама и старушка. Апельсины и консервные банки покатались по тротуару. Пока мама, наклонившись, помогала старушке собирать раскатившиеся в

стороны покупки, я удрала.

Я помчалась вдоль улицы, проскальзывая между людьми и не оглядываясь на пронзительный мамин крик: «Мэймэй! Мэймэй!» Пробежала по аллее, мимо темных занавешенных магазинов и торговцев, смывавших грязь с витрин. Выскочила на солнечный свет, на большую улицу, переполненную туристами, которые рассматривали безделушки и сувениры. Нырнула в следующую темную аллею, пролетела вниз еще по одной улице, вверх по другой аллее. Я бежала, пока не задохнулась и не поняла, что мне некуда деваться и я ни от чего не сбегу: среди аллей не было запасных выходов.

Мое сердитое дыхание вырывалось из груди, словно густой дым. Было холодно. Я присела на перевернутое ведро возле груды пустых ящиков, подперла руками подбородок и стала усиленно думать.

Я представляла себе, как мама рыскала по всем улицам, разыскивая меня, а потом оставила эту затею и вернулась домой, чтобы ждать меня там. Через два часа я поднялась на свои затекшие ноги и медленно пошла домой.

Аллея затихла, и мне были видны желтые окна нашей квартиры, светящиеся в ночи, словно два тигровых глаза. Я преодолела все шестнадцать ступеней до нашей двери, наступая на каждую так, чтобы не производить лишнего шума. Повернула ручку: дверь была заперта. Послышался звук отодвигаемого стула, быстрые шаги, потом — клик! клик! клик! — щелкнул замок, и дверь отворилась.

— Явилась не запылилась, — сказал Уинсент. — Ну-ну, тебя ждут неприятности.

Он шмыгнул обратно за обеденный стол. Остатки большой рыбины, предпринявшей тщетную попытку ускользнуть вверх по течению, лежали на блюде; ее массивная голова все еще не была отделена от хребта. Застыв у двери в ожидании наказания, я услышала сухой мамин голос:

— Мы не обращать эта девчонка. Эта девчонка нет дела нас.

И никто на меня не взглянул. Все стучали своими костяными палочками по чашкам, утоляя голод.

Я прошла в свою комнату, закрыла за собой дверь и легла на кровать. В комнате было темно, на потолке играли отблески света из соседних квартир, где люди сидели за ужином.

Перед моим внутренним взором встала шахматная доска с шестьюдесятью четыремя черными и белыми квадратами. Напротив сидела моя противница, две сердитые черные щелки. У нее была победная улыбка. «Самый сильный ветер не увидишь», — сказала она.

Ее черные фигуры единым строем наступали по всему полю, медленно маршируя и занимая позицию за позицией. Мои белые бойцы пронзительно вскрикивали, совершали короткие перебежки и один за другим покидали поле боя. По мере продвижения ее фигур к моим укреплениям я чувствовала, что становлюсь легче. Оказавшись в воздухе, я вылетела в окно и начала подниматься все выше и выше над аллеей, выше гребешков заостренных крыш, где меня подхватил ветер и понес в ночное небо; то, что было подо мной, пропало, и я осталась одна.

Закрыв глаза, я стала обдумывать свой следующий ход.

## Лена Сент-Клэр

### Голос из-за стены

В детстве я слышала от своей мамы, что однажды мой прадед проклял какого-то нищего, пожелав ему самой ужасной на свете смерти, а через некоторое время этот мертвец вернулся за прадедом и умертвил его. Ну или, может, через неделю прадед сам умер от простуды.

Я часто проигрывала в воображении последние минуты жизни несчастного нищего. Закрывая глаза, я представляла себе, как палач срывает с этого человека рубаху и выводит его на открытый двор. «Этот предатель, — объявляет палач, — приговаривается к смерти через расчленение на тысячу частей». Но он не успевает даже взмахнуть своим острым мечом, чтобы лишить преступника жизни, как выясняется, что сознание нищего уже расколосось на тысячу кусочков. А через несколько дней мой прадед взглянул поверх своих книг и увидел того же самого человека, только похожего теперь на разбитую вазу, наспех собранную из осколков. «Когда меч рубил меня, — сказал призрак, — мне казалось, что это самое худшее из всего, что мне суждено испытать. Но я ошибался. Самое худшее — по ту сторону». И мертвец обнимал моего деда раскромсанными кусками своей руки и протаскивал за собой сквозь стену, чтобы показать ему, что он имел в виду.

Однажды я спросила маму, как он умер на самом деле. Она ответила:

— В своей постели, очень быстро, проболев всего два дня.

— Да нет же, я спрашиваю про нищего. Как его убили? С него сначала сняли кожу? Ему перерубали кости ножом? Он кричал от боли и ощутил всю тысячу ударов?

— Ах! Почему у вас, американцев, в голове только такие нездоровые мысли? — воскликнула мама по-китайски. — Человек мертв уже почти семьдесят лет. Какое значение имеет, как он умер?!

Я всегда думала, что это имеет значение. О самом плохом из всего, что может случиться с человеком, нужно иметь представление, чтобы избежать этого, чтобы не попасть под магию неназванного. Дело в том, что, даже будучи маленьким ребенком, я ощущала, что наш дом окружали какие-то неназываемые кошмары, которые преследовали мою маму до тех пор, пока она не спряталась от них в самый потаенный уголок своей души. Но даже там они ее находили. Год за годом я наблюдала, как они пожирали ее кусок за куском, пока она не исчезла совсем, превратившись в привидение.

Насколько я помню, темная половина моей матери появилась из подвала нашего дома в Окленде. Мне было пять лет, и мама попыталась скрыть ее от меня. Она загораживала дверь деревянным стулом и запирала ее на цепочку и два замка. Мне это казалось настолько загадочным, что я тратила много усилий на то, чтобы открыть эту дверь, я скреблась в нее своими крохотными пальчиками до тех пор, пока однажды дверь не распахнулась и я не покатила к кубарем в темную пропасть. Мама дождалась, пока я перестала верещать — я заметила на ее плече кровь из своего носа, — и только тогда сказала мне, что в подвале живет страшный человек, и объяснила, почему мне никогда не следует открывать эту дверь. Он живет там уже несколько тысячелетий, сказала мама, и он такой злой и голодный, что, если бы она не подросла мне на помощь, он вырастил бы во мне еще пять детей и потом съел бы нас всех на обед из шести блюд, выплевывая наши косточки на грязный пол.

После этого мне начали мерещиться разные ужасы, я видела их своими китайскими глазами, которые вместе со всем остальным получила от своей матери. Я видела лихорадочную пляску чертей на дне ямы, вырытой мною в песочнице. Я видела, что у молнии есть глаза, которыми она высматривает и поражает детей. Я видела детское личико на спинке жука, которого только что раздавила своим трехколесным велосипедом. А когда я стала постарше, мне стали мерещиться такие вещи, которых не видели белокожие девочки из моей школы. Спортивные кольца, которые раскалываются на две части и со свистом катапультируют болтающего ногами ребенка неизвестно куда. Мячи на веревочке, способные одним ударом раздробить девчоночью голову и на глазах у смеющихся друзей разбрызгать ее содержимое по всей игровой площадке.

Я никому не говорила о том, что видела, даже своей матери. Большинство людей не знало, что я наполовину китаянка, может быть потому, что я ношу фамилию Сент-Клэр. На первый взгляд всем казалось, что я похожа на своего отца, ширококостного и вместе с тем сублильного мужчину англо-ирландского происхождения. Но, приглядевшись ко мне повнимательнее и зная при этом, что ищут, они, конечно, обнаруживали в моем облике китайские черты. У меня были не острые и выдающиеся, как у отца, скулы, а гладкие и окатанные, словно морская галька. Не было у меня и его соломенно-желтых волос и белой кожи. Моя кожа была довольно бледной, но выглядела так, как будто была когда-то темнее, а потом выгорела на солнце.

А от матери мне достались глаза — лишенные век, словно прорезанные двумя торопливыми движениями на фонаре из тыквы. Чтобы они казались

покруглее, я прищипывала уголки глаз пальцами. Или вытаращивала их до такой степени, что становились видны белки глаз. Но когда я ходила с вытаращенными глазами по дому, отец спрашивал, почему у меня такой испуганный вид.

У меня есть фотография мамы с таким же испуганным выражением лица. Папа сказал, что она была сделана сразу после того, как маму выпустили из иммиграционной службы острова Энджел. Она находилась там три недели, пока не дошла очередь до ее документов. В службе никак не могли решить, относится ли она к невестам военных, перемещенным лицам, студентам или женам лиц китайско-американского происхождения. Папа говорил, что у них не было никаких инструкций по оформлению документов для китайнок, бывших замужем за американцами. В конце концов, заблудившись в дебрях иммиграционных правил, они отнесли ее к категории «перемещенные лица».

Моя мама никогда не рассказывала о том, как ей жилось в Китае, а папа говорил, что спас ее от каких-то ужасов и что за плечами у нее осталась некая страшная трагедия, о которой она сама не могла даже говорить. Отец гордо назвал ее в иммиграционных документах Бетти Сент-Клэр, зачеркнув ее настоящее имя Гу Иннин. Кроме того, он перепутал год ее рождения, написав тысяча девятьсот шестнадцатый вместо тысяча девятьсот четырнадцатого. Двумя росчерками пера моя мама была лишена своего имени и превращена из тигра в дракона.

На этой фотографии мама действительно выглядит перемещенной. Она так крепко прижимает к себе большую сумку в форме ракушки, как будто ее немедленно украдут, стоит ей только немного ослабить свою бдительность. Она одета в китайское платье длиной по щиколотку со скромными разрезами по бокам. А поверх платья — мешковато сидящий на ее маленьком теле стильный пиджак западного покроя с подбитыми плечами, широкими лацканами и чрезмерно крупными пуговицами. Это был ее свадебный наряд, подарок моего отца. В этом облачении она выглядит так, будто ниоткуда не приехала и никуда не собирается. Ее подбородок опущен вниз, и поэтому видна самая главная деталь ее прически: проведенный как по линейке белый пробор, начинающийся над левой бровью и пересекающий всю ее аккуратную черную головку.

Но хотя мама склонила голову с покорностью побежденного, ее широко открытые глаза смотрят вперед, куда-то мимо камеры.

«Почему она выглядит такой испуганной?» — спрашивала я отца. И отец объяснял: это из-за того, что он сказал: «Улыбочка!» — и мама изо всех сил старалась не моргнуть за те десять секунд, которые должны были

пройти до вспышки.

Мама часто так выглядела: когда она знала, что вот-вот что-то произойдет, у нее на лице появлялось испуганное выражение. И только со временем у нее перестало хватать сил на то, чтобы держать глаза широко открытыми.



— Не смотри на нее, — сказала мне мама как-то, когда мы шли по Чайнатауну в Окленде. Она схватила меня за руку и притянула поближе к себе. Конечно же, я посмотрела и увидела женщину, которая сидела на тротуаре, прислонившись к стене какого-то здания. Она была одновременно и молодой, и старой, а глаза ее смотрели так бессмысленно, как будто она не спала много лет подряд. Кончики пальцев на руках и на ногах у нее были такими черными, как будто она обмакнула их в тушь, но я знала, что это порча.

— Что она с собой сделала? — шепотом спросила я у мамы.

— Она встретила нехорошего человека, — сказала мама, — и у нее родился ребенок, которого она не хотела.

Я тотчас поняла, что это неправда. Я знала, что мама готова выдумать все что угодно, лишь бы предупредить меня о какой-нибудь неведомой опасности и помочь избежать ее. Опасности мерещились маме повсюду, они могли исходить даже от других китайцев. Там, где мы жили и куда ходили за покупками, каждый говорил по-кантонски или по-английски. Моя мама была родом из Уси, неподалеку от Шанхая. Поэтому она говорила на диалекте мандарин, а по-английски — едва-едва, хотя мой отец, который мог произнести только несколько расхожих фраз на китайском, настаивал на том, чтобы мама учила английский. Но она общалась с ним в основном настроением и жестами, взглядами и молчанием и только изредка — на некоем подобии английского со знаками препинания в виде запинок и срывов на китайский: «*Щуо бучулай*. — Нет слов». Так что мой отец сам вкладывал слова в ее уста.

— Я думаю, мамуля хочет сказать, что она устала, — шептал он, когда мама мрачнела.

— Я думаю, она говорит, что у нас чертовски прекрасная семья, самая лучшая во всей стране! — восклицал он, когда из кухни доносились несравненные ароматы приготовленного ею обеда.

Но со мной, когда мы оставались вдвоем, мама разговаривала по-китайски, говоря вещи, которых отец, вероятно, не мог себе и представить. При этом часто получалось так, что я прекрасно понимала каждое слово в отдельности, но отнюдь не смысл всего сказанного. Одна мысль переходила в другую без всякой связи.

— Ты не должна никуда сворачивать по дороге в школу и обратно, — предупреждала меня мама, решив, что я уже достаточно большая, чтобы самостоятельно ходить в школу.

— Почему? — спрашивала я.

— Тебе этого не понять, — отвечала она.

— Почему?

— Потому что я еще не успела довести это до твоего сознания.

— Почему?

— Айя-йя! Сколько вопросов! Потому что это слишком ужасно, чтобы об этом говорить. Какой-нибудь человек может схватить тебя посреди улицы, продать кому-нибудь, сделать тебе ребенка. ТЫ этого ребенка убьешь, а когда его найдут в помойном контейнере, что тогда делать? Ты пойдешь в тюрьму и умрешь там.

Я знала, что это был ненастоящий ответ. Но я ведь тоже придумывала разные сказки, чтобы предотвратить какую-нибудь неприятность. Я часто привирала, когда мне приходилось переводить ей что-нибудь: бесконечные анкеты и всякие инструкции, замечания из школы, телефонные звонки. «*Шема йиц?* — Что такое?» — спрашивала она меня, когда продавец в магазине раздражался воплями по поводу того, что она открывает банки, чтобы понюхать их содержимое. Мне становилось стыдно, и я говорила ей, что китайцам не разрешается заходить в этот магазин. Когда школа отправила родителям уведомление о необходимости сделать прививку от полиомиелита, я объяснила ей, когда и где будут делать прививку, и заодно добавила, что теперь всех учащихся обязали носить сэндвичи для завтрака в металлических контейнерах, поскольку ученые обнаружили, что старые бумажные пакеты могут быть переносчиками возбудителей полиомиелита.



— Мы продвигаемся вверх, — гордо объявил мой отец. Речь шла о его назначении начальником отдела продаж одежной фабрики. — Твоя мама ужасно рада.

И мы продвинулись вверх, если иметь в виду наш переезд на другую сторону залива, в Сан-Франциско, в итальянский квартал на высоком холме в районе Северного пляжа, где тротуар был настолько крутым, что мне по дороге из школы приходилось пригибаться к земле, чтобы не упасть. Мне было десять лет, и я надеялась, что нам удастся оставить все свои страхи позади, в Окленде.

В доме, куда мы переехали, было три этажа, на каждом — по две квартиры. Фасад был подновлен свежим слоем белой штукатурки и увенчан соединенными между собой пролетами металлических пожарных лестниц. Но внутри дом был старым. Входная дверь с узкими стеклянными вставками вела в захудалое лобби, в котором смешивались запахи жизнедеятельности всех жильцов. Фамилии их были указаны возле маленьких кнопок звонков, установленных на входной двери: Андерсон, Джордино, Хейман, Риччи, Сорчи и наша — Сент-Клэр. Мы жили на втором этаже, как раз на полпути между всплывающими вверх запахами еды и сыплющимися вниз звуками шагов. Моя комната выходила окнами на улицу, и по ночам, в темноте, перед моим мысленным взором проходила другая жизнь: машины, пытающиеся взобраться на крутой, окутанный туманом холм, ревя моторами и пробуксовывая; чьи-то громкие голоса; заливающиеся счастливым смехом люди, которые, пыхтя и задыхаясь, спрашивают друг друга: «Ну что, мы почти добрались до места?»; гончая, рвущаяся вверх на полусогнутых лапах и визгливо завывающая на вершине холма, и вторящие ей через несколько секунд сирены пожарных машин, а затем сердитый женский шепот: «Сэмми! Плохая собака! Замолчи сейчас же!» Все эти изо дня в день повторяющиеся звуки действовали на меня умиротворяюще, и я вскоре засыпала.

Мама была недовольна квартирой, но я заметила это не сразу. Когда мы переехали, она занялась обустройством квартиры: расставляла мебель, распаковывала посуду, развешивала картины. На это у нее ушло около недели. А в скором времени, когда мы как-то раз направлялись с ней к автобусной остановке, нам встретился человек, который нарушил ее равновесие.

Это был китаец с красной физиономией. Он потерянно брел вниз по тротуару, пошатываясь из стороны в сторону. Но когда его бегающие глазки остановились на нас, он мгновенно выпрямился, выбросил вперед руки и закричал: «А, Сюзи Вонг! Девушка моей мечты! Я нашел тебя! Хе!» И с широко распахнутыми объятиями и не менее широко разинутым ртом он ринулся в нашу сторону. Мама выпустила мою руку и, не в состоянии предпринять что-либо еще, стала прикрываться руками, как если бы была

обнаженной. В тот момент, когда она отпустила мою руку, я завизжала от ужаса, видя, как стремительно приближается к нам этот человек. Я продолжала визжать еще некоторое время после того, как двое смеющихся прохожих схватили его и основательно встряхнули со словами: «Джо, Христа ради, перестань. Ты же напугал бедную малышку и ее няню».

Весь остаток дня — пока мы ехали в автобусе, заходили в магазины, делали необходимые для обеда покупки — мама дрожала. Теперь она до боли сжимала мою руку. А когда у кассы она на секундочку выпустила мою ладонь, чтобы достать из сумки кошелек, я попыталась улизнуть, чтобы взглянуть на сладости. Но она снова схватила меня за руку так быстро, что я сразу же поняла, как она переживает, что не смогла защитить меня как следует.

Как только мы вернулись домой, мама стала разбирать наши покупки — овощи и консервные банки. А потом, словно заметив какой-то беспорядок, она переставила все банки с одной полки на другую, предварительно освободив ее от уже стоявших там банок, для которых в итоге нашлось место на первой полке. После этого она направилась в гостиную и перевесила большое круглое зеркало с места напротив входной двери на стену около дивана.

— Что ты делаешь? — спросила я ее.

Она прошептала что-то по-китайски про «вещи, не приведенные в равновесие», и я подумала, что она имеет в виду их внешний вид, а не то, как она их воспринимает. Но потом она начала двигать крупные предметы: диван, кресла, журнальные столики, сплетенный из соломы коврик с золотыми рыбками.

— Что здесь происходит? — спросил отец, вернувшись с работы.

— Она старается, чтобы все выглядело получше, — сказала я.

И на следующий день, вернувшись из школы, я обнаружила, что мама сделала перестановку. Все вещи стояли и висели на новых местах. Вот тогда-то я и почувствовала, что в будущем нас подстерегает какая-то ужасная опасность.

— Почему ты это делаешь? — спросила я, опасаясь, как бы она не сказала мне в ответ правду.

Но вместо того она опять зашептала какую-то китайскую чушь:

— Если что-то не по тебе, ты выходишь из равновесия. Этот дом построен на слишком крутом склоне: с вершины холма всегда дует плохой ветер и сдувает вниз всю твою силу. Поэтому ты никогда не сможешь продвинуться вперед, а всегда будешь скатываться вниз.

А потом мама начала указывать на стены и двери нашей квартиры:

— Посмотри, какой здесь узкий дверной проем, как горло у человека, которого задушили. А кухня устроена напротив туалета, поэтому все ценное, что появляется в доме, тут же смывается.

— Но что все это означает? Что случится, если вещи не уравновешены? — спросила я ее.

Немного попозже папа объяснил мне, в чем дело.

— У твоей мамы прорезался гнездовой инстинкт, — сказал он. — Со всеми матерями такое случается. Ты это поймешь, когда повзрослеешь.

Я удивлялась, почему мой отец никогда не волновался. Может, он ослеп? Почему мы с мамой видели больше, чем он?

Но потом, несколькими днями позже, я убедилась, что отец все же был прав. Вернувшись из школы, я вошла в свою комнату и всё поняла. Мама сделала перестановку у меня комнате. Моя кровать стояла теперь не у окна, а возле стены. А там, где раньше была моя кровать, теперь расположилась подержанная детская кроватка. Так что скрытая опасность оказалась в мамином округляющемся животе, причине ее неуравновешенности. Моя мама ждала ребенка.

— Видишь, — сказал отец, когда мы с ним рассматривали детскую кроватку. — Гнездовой инстинкт. Это гнездо. То место, где будет находиться ребенок.

Он так радовался этому воображаемому ребенку в кроватке, что не заметил того, что открылось мне спустя некоторое время. Мама начала наткаться на мебель, задевать углы столов, как будто забыла, что у нее в животе находится ребенок. Можно было подумать, что вместо ребенка она ожидала одни только неприятности. Она говорила не о том, как хорошо будет иметь маленького ребеночка, а только о том, какая тяжесть сконцентрировалась вокруг нее, о нарушенном равновесии и вещах, не составляющих одна с другой гармоничного целого. В итоге я начала переживать за этого ребенка, беспокоиться, что он завис где-то между маминым животом и кроваткой в моей комнате.

С перемещением моей кровати к стене изменилась и ночная жизнь, которую я воображала, лежа в постели. Вместо звуков с улицы я стала слышать голоса, доносившиеся из-за стены, из соседней квартиры. Как сообщала надпись возле звонка на двери подъезда, там жила семья Сорчи.

В первую же ночь я услышала чей-то приглушенный крик. Женщина? Девочка? Я прижала ухо к стене и различила сердитый женский голос, которому отвечал другой, более тонкий, девчоночий. Голоса стали приближаться ко мне, словно сирены пожарных машин, поворачивающих

на нашу улицу, и я услышала поток взаимных обвинений, то набирающих силу, то затихающих: «Кому ты это рассказываешь?..» — «Нечего уговаривать меня!..» — «Тогда проваливай отсюда и не возвращайся!..» — «Да лучше умереть, чем так жить!..» — «Чего же ты тогда ждешь?!»

А потом послышались какие-то скребущие звуки, хлопнула дверь, затем раздались толчки и вопли, и потом — хряп! хряп! хряп! Кто-то убивал. Кого-то убивали. Визг и ор, мать занесла меч над головой дочери и начала срезать с нее по кусочку жизнь: сначала косу, потом скальп, бровь, мизинец на ноге, большой палец на руке, полщеки, кончик носа, и так до тех пор, пока от девочки ничего не осталось, ни звука.

Я откинулась на подушку. От того, чему только что были свидетелями мои слух и воображение, сердце у меня готово было выскочить из груди. Только что была убита девочка. Я не смогла заставить себя не слушать. Я не могла предотвратить то, что случилось. Кошмар!

Но на следующую ночь девочка ожила и вопила еще громче, чем накануне, опять подвергая свою жизнь риску в еще более страшном сражении. И все это продолжалось ночь за ночью, временами мне казалось, что от их голосов даже стены трясутся. В результате я поняла, что самым худшим из всего, что может случиться с человеком, является мучительное ожидание того, чтобы все это закончилось.

Иногда эту шумную семью было слышно через лестничную клетку, разделявшую их и нашу двери. Их квартира находилась у лестницы, ведущей на третий этаж. Наша — у ступенек, ведущих вниз, в лобби.

— Если ты переломаешь себе ноги, катаясь по перилам, я сверну тебе шею! — кричала женщина. После ее окрика послышался топот скачущих по ступенькам ног. — И не забудь забрать из чистки отцовские костюмы!

Я знала их кошмарную жизнь с такой интимной близостью, что была ошарашена, столкнувшись как-то раз с этой девочкой лицом к лицу. Я тянула на себя одной рукой нашу входную дверь, чтобы защелкнуть замок, а второй удерживала в равновесии стопку книг. Повернувшись, я увидела в нескольких шагах от себя приближавшуюся девочку, вскрикнула и выронила книги из рук. Она хихикнула, и я поняла, кто эта высокая девочка, которой, как я заключила, было лет двенадцать — на два года больше, чем мне. Она понеслась вниз по лестнице, а я быстро собрала свои книги и последовала за ней, придерживаясь другой стороны улицы.

Девочка не была похожа на человека, которого сто раз убивали. Ни намек на забрызганную кровью одежду: на ней была белоснежная накрахмаленная блузка, синий кардиган и сине-зеленая плиссированная

юбка. Более того — на мой взгляд, она, со своими двумя каштановыми косичками, беспечно раскачивавшимися в такт ее шагам, выглядела вполне счастливой. И тут она обернулась, как будто почувствовала, что я за ней наблюдаю, бросила на меня сердитый взгляд и быстро нырнула в проулок, скрывшись из глаз.

Каждый раз, встречаясь с ней после этого, я опускала голову, делая вид, что занята приведением в порядок своих книг или пуговиц на кофте, и испытывая чувство вины по поводу того, что мне было про нее все известно.



Однажды тетя Сю и дядя Каннин, друзья моих родителей, приехали за мной в школу и повезли меня к маме в больницу. Я поняла: случилось что-то серьезное, потому что все, что они говорили, было совершенно необязательным, но произносилось с торжественной важностью.

— Сейчас четыре часа, — говорил дядя Каннин, глядя на свои часы.

— Автобус никогда не приходит вовремя, — отвечала тетя Сю.

Когда я увидела маму в больнице, она, казалось, спала, только беспокойно металась из стороны в сторону. Но вдруг ее глаза открылись и уставились в потолок.

— Это я виновата, я виновата. Я ведь всё знала заранее, — пробормотала она, — и ничего не сделала, чтобы предотвратить это.

— Бетти, дорогая, Бетти, дорогая, — повторял мой отец как безумный, а мама продолжала выкрикивать обвинения в свой адрес.

Она схватила меня за руку, и я почувствовала, что она дрожит всем телом. А потом она взглянула на меня, очень странно, как будто умоляла сохранить ей жизнь, как будто в моей власти было простить ее, и запричитала дальше по-китайски.

— Лена, что она говорит? — вскричал отец. На этот раз у него не было слов, которые можно было бы вложить в мамины уста.

И это был единственный раз, когда у меня не было готового ответа. Я подумала, что случилось самое худшее. Что все, чего она боялась, произошло на самом деле. Что это уже не предостережения. И поэтому я слушала.

— Ребенок уже был готов родиться, — шептала она, — я слышала, как он плачет в моем животе. Его маленькие пальчики цеплялись за меня,

он хотел остаться там, внутри. Но сестры и доктор велели мне толкать его, чтобы он вышел наружу. Когда появилась его голова, сестры закричали: «У него глаза открыты! Он всё видит!» А потом наружу выскользнуло его тело, и он лежал на столе, дыша жизнью. Едва взглянув на него, я сразу всё поняла. У него были крохотные ножки, маленькие ручки, тонкая шейка и огромная голова. Это было так ужасно, что я не могла отвести взгляд. Его глаза были открыты, и голова — тоже. Она тоже была открыта! Я видела всю его голову насквозь, до того самого места, где должны были быть его мысли, но там ничего не было. «У этого младенца нет мозгов! — крикнул врач. — Его голова просто-напросто пустая яичная скорлупа!»

— И потом этот младенец... может быть, он услышал нас... Мне казалось, что его большую голову надувают теплым воздухом и она вот-вот оторвется от стола. Он повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую и посмотрел прямо на меня. И я знала, что он видит меня насквозь. Он знал, что своего другого сына я без всяких раздумий решила убить! Он знал, что и его самого я решила родить, недолго думая!

Я не могла пересказывать папе то, что она говорила. Ему и без того было очень грустно думать о пустой детской кровати. Как я могла сказать ему, что мама сошла с ума?

Поэтому я перевела ему вот что:

— Она говорит, что мы все вместе должны очень серьезно подумать о новом ребенке. Она говорит, что надеется на то, что этому ребеночку хорошо на том свете. И она думает, что сейчас нам надо оставить ее в покое и пойти пообедать.

После смерти этого ребенка моя мама рассыпалась на кусочки. Не вся разом, а постепенно: так одна за другой падают с полки тарелки. Я никогда не знала, когда ждать следующего раза, поэтому все время жила как на иголках.

Бывало, она начнет готовить обед — и замрет на месте: горячая вода хлещет из крана, нож висит в воздухе над наполовину порезанными овощами, а она молчит, только слезы текут. А бывало и так, что мы едим-едим, и вдруг она роняет лицо в ладони и говорит: «*Мей гуаньсю*. — Не обращайтесь внимания». И нам приходится отставлять еду и откладывать вилки в сторону. И папа сидит, пытаюсь понять, что это было, на что не надо было обращать внимания. А я ухожу из-за стола, зная, что это повторится еще не раз и не два.

Отец, казалось, тоже распадался на куски, но по-другому. Он старался улучшить положение дел, а выходило еще хуже — будто он спешил поймать падающую вещь, но при этом сам падал раньше, чем успевал что-

либо подхватить.

— Она просто устала, — сказал он мне как-то в «Золотом колесе», где мы с ним обедали вдвоем, потому что мама лежала в постели, неподвижная, как статуя. Я знала, что он думал о ней, догадывалась по его обеспокоенному лицу. К тому же он так уставился на свою тарелку, что можно было подумать, будто в ней вместо спагетти кишмя кишат черви.

Дома мама смотрела на всё пустыми глазами. Папа возвращался с работы, но, даже поглаживая меня по голове и произнося: «Ну, как тут моя девчурочка?» — всегда смотрел мимо меня, на маму. Я стала ощущать какой-то утробный страх, он был у меня в животе, а не в голове. Я больше не видела разные ужасы, я воспринимала их другими органами чувств. Я чувствовала малейшее движение в нашем замершем доме всем своим существом. А по ночам в своей спальне я ощущала грохот разрушительных батальи по ту сторону стены, во время которых девочку избивали до смерти. Я лежала в постели, укрывшись одеялом до самого подбородка, и все время гадала, где хуже — у них или у нас? И подумав об этом какое-то время, пожалев сама себя, я начинала чувствовать себя достаточно уютно для того, чтобы решить, что у девочки из соседней квартиры более несчастная жизнь, чем у меня.

Однажды вечером, после ужина, раздался звонок в дверь. Это было странно, потому что обычно люди сначала звонили с улицы, от входной двери.

— Лена, посмотри, пожалуйста, кто там, — обратился ко мне из кухни отец. Он мыл посуду. Мама лежала на своей кровати. Мама теперь всегда «отдыхала», как будто она уже умерла и превратилась в живое привидение.

Я с осторожностью слегка приотворила дверь и тут же в великом изумлении распахнула ее настежь. Это была девочка из соседней квартиры. Я уставилась на нее с нескрываемым удивлением, а она спокойно улыбнулась в ответ. Казалось, что она, хоть и одетая, только что вылезла из постели — так она была растрепана.

— Кто там? — спросил отец.

— Это из соседней квартиры! — крикнула я ему. — Это...

— Тереза, — быстро подсказала она.

— Это Тереза! — выпалила я в сторону кухни.

— Пригласи ее в дом, — сказал папа, но Тереза уже проскользнула мимо меня в нашу квартиру. Не дожидаясь приглашения, она направилась в сторону моей спальни. Я закрыла дверь и последовала за двумя каштановыми косичками, лупившими ее по спине, как бичи, которыми

хлещут лошадей.

Она напрямик подошла к моему окну и начала его открывать.

— Что ты делаешь? — воскликнула я.

Она села на подоконник и выглянула на улицу. А потом посмотрела на меня и начала хихикать. Я села на свою кровать, наблюдая за ней и дожидаясь, пока она перестанет смеяться, в то время как холодный воздух из темного проема заполнял мою комнату.

— Ну и что тут смешного? — наконец спросила я. Мне пришло в голову, что, возможно, она смеется надо мной. А может быть, она прислушивалась к тому, что происходит за стеной, и не услышала ничего, кроме застоявшейся тишины нашего несчастного дома.

— Что ты смеешься? — повторила я более настойчиво.

— А меня мать выгнала из дома, — сказала она наконец с таким важным видом, как будто тут было чем гордиться, потом хохотнула и добавила: — У нас, как всегда, был скандал, и она выставила меня из дома и заперла дверь. Ну а теперь она, конечно, ждет, что я буду сидеть под дверью до тех пор, пока не осознаю свою вину и не пойду к ней извиняться. А я и не подумаю.

— А что же ты тогда собираешься делать? — спросила я, затаив дыхание, полностью уверенная в том, что уж на этот-то раз мать убьет ее окончательно.

— Я хочу пробраться в свою комнату через ваше окно, перелезу по пожарной лестнице, — прошептала она в ответ. — А мать пусть ждет. А потом она забеспокоится и откроет дверь. Только меня там не будет! Я буду в своей спальне, в постели! — снова хихикнула Тереза.

— А она не разозлится, когда найдет тебя?

— Еще чего! Да она будет только рада, что я не умерла, и вообще. Но она, конечно, сделает вид, что пришла в бешенство, и все такое. Мы всегда устраиваем что-нибудь в этом роде. — Сказав это, Тереза выскользнула из моего окна и бесшумно пробралась к себе в комнату.

Довольно долго я сидела на месте, уставившись на открытое окно и удивляясь. Зачем она вернулась? Разве она не видит, какая ужасная у нее жизнь? Разве не понимает, что это никогда не кончится?

В ожидании воплей и криков я прилегла на свою кровать. Я все еще не спала, когда поздней ночью в соседней квартире раздались громкие голоса. Миссис Сорчи ругалась и плакала:

— Ты глупая девчонка. Ты чуть не довела меня до инфаркта.

А Тереза кричала в ответ:

— Я могла разбиться и сломать себе шею! Я чуть не упала с лестницы!

И потом я услышала, что они смеются и плачут, плачут и смеются, — оказалось, что и любя можно орать друг на друга.

Я была поражена. Мне казалось, я вижу, как они целуют и обнимают друг друга. От радости, что я ошибалась, я плакала вместе с ними.

И я до сих пор помню, как в ту ночь во мне всколыхнулась надежда. Я цеплялась за нее день за днем, ночь за ночью, год за годом. Я видела, как мама лежит на своей кровати или бормочет что-то себе под нос, сидя на диване, и все-таки знала, что это — самое худшее из всего, что могло произойти, — когда-нибудь прекратится. Мне все еще мерещились разные ужасы, но теперь я знала способы, как справиться с ними. Я все еще слышала скандалы миссис Сорчи и Терезы, но уже видела и кое-что другое.

Мне мерещилась девочка, жаловавшаяся на непереносимую боль оттого, что ее не замечают. Мне мерещилась ее лежащая на постели мать в длинных, струящихся одеждах. Девочка вынимала острый меч и говорила матери: «В таком случае ты должна принять смерть через расчленение на тысячу частей. Это единственный способ тебя спасти».

Мать соглашалась и закрывала глаза. Меч опускался и начинал кромсать ее — вжик! вжик! вжик! — направо и налево, вверх и вниз. И мать, захлебываясь от рыданий, исходила криками ужаса и боли. Но открыв глаза, она не видела ни крови, ни раскромсанной плоти.

Девочка говорила: «Теперь ты поняла?» Мать кивала: «Теперь я прекрасно всё поняла. Я пережила самое худшее. Ничего хуже этого случиться уже не может».

И дочь говорила: «А сейчас ты должна вернуться назад, на эту сторону. Тогда ты увидишь, в чем ты была не права». Она хватала мать за руку и протаскивала ее сквозь стену.

## Роуз Су Джордан

### Половина и половина

Эту карманную Библию в переплете из искусственной кожи мама когда-то носила с собой на каждую воскресную службу в Первой китайской баптистской церкви — наверное, думала, что таким образом демонстрирует свою набожность. А когда мама перестала верить в Бога, она не придумала ничего лучше, чем подложить эту Библию под ножку стола, чтобы он не качался: таким способом она корректирует недоработки в устройстве мира. Библия лежит там уже больше двадцати лет.

Мама каждый раз делает вид, что ей об этом ничего неизвестно. Когда бы и кто бы ни спросил ее, почему Библия находится в таком странном месте, она отвечает — чуть громче, чем требуется: «Что? А, вы об этом. Я просто забыла, что она там». Но я знаю, что она ничего не забыла. Мама не самая лучшая на свете хозяйка, и тем не менее по прошествии стольких лет эта Библия еще не утратила своей белизны.

Сегодня я в который раз наблюдаю, как мама подметает под этим самым кухонным столом — она делает это каждый вечер после ужина, — вокруг ножки стола, подпираемой Библией, она проводит веником очень осторожно. Я внимательно слежу за ней, за каждым взмахом веника, выжидая подходящего момента, чтобы сказать ей, что мы с Тедом разводимся. Произнося это, я уже знаю, что мама незамедлительно выпалит в ответ: «Этого не может быть!» А когда я говорю, что это самая что ни на есть правда и что наша совместная жизнь уже кончилась, я знаю, что на это она ответит: «Ты должна бороться за сохранение семьи». И хотя я совершенно уверена, что это безнадежно — сохранять там уже абсолютно нечего, — боюсь, что, даже если стажу ей это прямым текстом, она все равно будет убеждать меня попытаться.



В том, что мама хочет, чтобы я боролась за сохранение семьи, есть определенная доля иронии. Ведь семнадцать лет назад она была недовольна, что я стала встречаться с Тедом. Мои старшие сестры, перед тем как вышли замуж, встречались только с китайскими юношами из

нашей церкви.

Мы с Тедом познакомились на семинаре по природоохранной политике. Как-то раз он склонился надо мной и предложил заплатить по два доллара за конспекты последних занятий. Я отказалась от денег, но на чашку кофе согласилась. Это был мой второй семестр в Университете Беркли, где сначала я посещала занятия преимущественно по гуманитарным дисциплинам и только потом перешла на отделение изобразительного искусства. Тед был на третьем подготовительном курсе медицинского факультета. Он говорил, что сделал свой выбор в шестом классе, после того как собственноручно вскрыл эмбрион поросенка, и с тех пор своего решения не менял.

Должна признать, что поначалу в Теде меня привлекало именно то, что отличало его от моих братьев и от парней-китайцев, с которыми я встречалась до него. Он был самоуверен до дерзости, его просьбы звучали так, словно само собой подразумевалось, что он получит все, о чем ни попросит. Мне нравилось его скуластое лицо и сухощавая фигура, мускулистые руки и то, что его родители иммигрировали из Территауна в графстве Нью-Йорк, а не из Тяньцзиня в Китае.

Мама успела заметить все эти отличия, когда Тед впервые заехал за мной. Когда я вернулась домой, мама еще не спала, она ждала меня, сидя перед телевизором.

— Он американец, — предупредила она меня, словно я была слепой и могла не заметить этого без ее подсказки, — *вайгорен*.

— Я тоже американка, — ответила я. — И не надо разговаривать со мной так, будто я собираюсь за него замуж или что-то в этом роде.

У миссис Джордан тоже нашлось не слишком много слов одобрения. Тед, как бы между прочим, пригласил меня на семейный пикник — ежегодную встречу всего клана, которая проходила обычно в парке Голден-Гейт на площадке для игры в поло. Хотя наши свидания в течение предыдущего месяца были не так уж часты и, кроме того, мы, конечно, еще ни разу не спали вместе, поскольку оба жили с родителями, Тед представил меня родственникам как свою подругу, что было сюрпризом для всех, в том числе и для меня: я и не подозревала, что являюсь таковой.

Позже, когда Тед с отцом ушли играть в волейбол, его мать взяла меня под руку, и мы с ней совершили прогулку по травке, подальше от остальных родственников. Во время нашей беседы она нежно пожимала мою ладонь, но, кажется, ни разу не взглянула на меня.

— Я так рада наконец с вами познакомиться, — произнесла миссис Джордан. У меня было побуждение сказать ей, что на самом деле я никакая

не подруга ее сыну, но она продолжила: — Конечно, это чудесно, что вам с Тедом так хорошо вместе. Поэтому я надеюсь, что вы не поймете меня превратно.

И затем она спокойненько стала рассуждать о будущем Теда, о том, что ему необходимо уделять много времени своим занятиям медициной, о том, что должно пройти несколько лет, прежде чем он сможет хотя бы подумать о женитьбе. Она заверила меня в том, что не имеет каких-либо предубеждений против национальных меньшинств: они с мужем, владельцы сети магазинов канцелярских товаров, лично знакомы с множеством превосходных людей с Востока, из Испании и даже с черными. Но Тед избрал такую профессию, где о нем будут судить по иным стандартам, ведь пациенты и другие врачи могут оказаться далеко не такими понимающими, как семья Джордан. Она добавила, что весь мир за пределами Штатов очень несчастен, а война во Вьетнаме крайне непопулярна.

— Миссис Джордан, я не из Вьетнама, — заметила я мягко, хотя у меня внутри все клокотало. — И я не собираюсь замуж за вашего сына.

Вечером, когда Тед повез меня домой, я сказала ему, что больше не смогу с ним встречаться. Он поинтересовался почему — я только пожала плечами. Но он настаивал, чтобы я ответила, и тогда я повторила ему все, что сказала его мать, слово в слово, без комментариев.

— И ты собираешься просто так сдаться! Позволить моей матери указывать тебе, что правильно, а что неправильно? — раскричался он так, словно до тех пор я была его сообщником, а теперь предала. Меня очень тронуло, что Тед так расстроился.

— Что же нам делать? — спросила я с болезненным чувством, по которому поняла, что это начало любви.

В те первые месяцы мы цеплялись друг за друга с надуманным отчаянием: ведь на самом-то деле, несмотря на что-либо, сказанное моей мамой или миссис Джордан, ничего не мешало нам встречаться. От якобы угрожающей нам трагической разлуки мы стали неразлучны, как две половины одного целого: инь и ян. Я была подходящим объектом для проявления его героизма. Я нуждалась в поддержке и незамедлительно получала ее. Я всегда оказывалась в роли слабой и незащитной дамы, а он неизменно выступал как доблестный и благородный рыцарь. Для возбуждения и удовлетворения благородных порывов почва находилась всегда. Эмоциональный эффект ситуации «несчастливая жертва и ее спаситель» был столь притягателен, что она засасывала нас обоих. И это, вместе со всем, что мы когда-либо делали в постели, и было нашей

любовью друг к другу: мои слабости идеально совпадали с его тягой к опекунству.

«Как же нам быть?» — продолжала спрашивать я. И не прошло и года с нашей первой встречи, как мы стали жить вместе. За месяц до того, как Тед начал свои занятия медициной в университете Сан-Франциско, нас обвенчали в Епископальной церкви; миссис Джордан сидела на передней скамье и плакала, как это и подобает матери жениха. Когда Тед закончил свое обучение на отделении дерматологии, мы купили на Эшбери-Хайтс участок земли с запущенным трехэтажным особняком в викторианском стиле. Тед помог мне устроить внизу студию, чтобы я могла работать дома. Я стала брать заказы на выполнение чертежных и графических работ.

В течение многих лет именно Тед решал, куда мы едем отдыхать. Он решал и то, какую мебель мы покупаем. Это Тед решил, что нам нужно подождать с детьми, пока мы не сможем перебраться в более уважаемый район. Поначалу у нас было заведено обсуждать подобные вещи, но мы оба прекрасно знали, что в конце концов все обсуждение сведется к моим словам: «Тед, давай сделаем так, как ты решишь». Поэтому через какое-то время дискуссии и вовсе прекратились. Все делалось так, как решал Тед. А у меня и в мыслях никогда не было возражать ему. Я предпочитала игнорировать окружающий мир, интересуясь только тем, что было прямо передо мной: моя планшетная линейка, мой крестовидный нож для картона, мой синий карандаш.

Но в прошлом году отношение Теда к тому, что он называл «решительность и ответственность», изменилось. К нему пришла пациентка с вопросом, нельзя ли ей как-нибудь избавиться от красных прожилок на щеках. Он сказал, что после пластической операции по вытягиванию сосудов она снова станет красивой, и она ему поверила. Но, к несчастью, во время операции он задел лицевой нерв, в результате чего у пациентки перекосило рот, и она подала на Теда в суд.

После того как он проиграл дело по обвинению во врачебной небрежности — первый и, как я теперь понимаю, очень серьезный удар для него, — он начал побуждать меня принимать решения. Как я думаю, какую машину купить — японскую или американскую? Не стоит ли нам поменять страховочную схему с пожизненной на ежегодно продлеваемую? Что я думаю о кандидате, который выступал в поддержку контраста? Как насчет детей?

Я честно обдумывала все это, все «за» и «против». Но в результате неизменно приходила в замешательство, потому что никогда не верила, что среди великого множества неверных ответов можно найти один

правильный. И теперь, стоило мне произнести что-нибудь вроде «Давай сделаем так, как ты решишь», или «Мне все равно», или «Как знаешь», Тед нетерпеливо возражал: «Нет-нет, решаешь ты. Ты не можешь все время уклоняться и от принятия решений, и от ответственности за их выполнение».

Я чувствовала, как что-то меняется между нами. Сняв маску защитника и покровителя, Тед начал заставлять меня делать выбор буквально во всем. Требуя от меня принятия решений по поводу самых обыденных вещей, он был как неутомимый охотник, который травит зверя. Итальянская еда или тайская? Одна закуска или две? Какая закуска? Кредитная карточка или наличные? «Виза» или «Мастер-кард»?

Месяц назад, собираясь на пару дней в Лос-Анджелес на семинар дерматологов, он спросил, не хочу ли я поехать с ним, но тут же, не дав мне ни секунды на размышление, добавил:

— Не надо, лучше я поеду один.

— Конечно, у тебя будет больше времени для занятий, — согласилась я.

— Нет, не поэтому, а потому что ты никогда не можешь составить собственного мнения о чем бы то ни было, — сказал он.

— Да, но это касается только несущественного, — возразила я.

— В таком случае для тебя нет ничего существенного, — парировал Тед, и в его голосе прозвучала неприязнь.

— Тед, если ты хочешь, чтобы я поехала, я поеду.

И тут его словно прорвало:

— Как, черт возьми, получилось, что мы женаты?! Ты сказала «согласна» только потому, что священник велел «повторяй за мной»? Как бы ты жила, если бы я никогда на тебе не женился? Тебе это никогда не приходило в голову?

Между моими и его словами был такой огромный провал в логике, что мне подумалось: мы похожи на двух безумцев, которые стоят на разделенных пропастью горных вершинах и швыряют друг в друга камнями, словно забыв об опасности сорваться вниз.

Но теперь я понимаю, что все это время Тед знал, что говорил. Он хотел показать мне эту пропасть. Потому что в тот же вечер он позвонил из Лос-Анджелеса и сказал, что хочет развестись.

С тех пор как Тед ушел, я думаю: «Даже если бы я ожидала этого, даже если бы знала, как собираюсь жить без него, это все равно выбило бы у меня почву из-под ног».

Получив очень сильный удар, вы ничего не можете поделать, а просто

теряете равновесие и падаете. А поднявшись, понимаете, что больше не можете ни на кого положиться — ни на мужа, ни на собственную мать, ни на Бога. Но что можно придумать, чтобы перестать спотыкаться и падать снова и снова?



Мама верила в Бога много лет. Ее вера была сродни убеждению, что ей удалось обнаружить и открыть какой-то кран, напрямую соединенный с источником Божьей благодати, и теперь она сплошной струей изливается на нас с небес. Она говорила, что удача сопутствует нам только благодаря нашей вере, но поскольку она плохо выговаривала слово «вера», мне все время казалось, что она произносит «судьба».<sup>[5]</sup>

Но однажды я поняла, что, возможно, это действительно была судьба, а вера, на самом-то деле, есть не что иное, как иллюзия, будто каким-то образом вы контролируете ситуацию. Я поняла, что самое большее, что я могу себе позволить, это надеяться, потому что в таком случае я допускаю как то, что удача будет сопутствовать мне, так и то, что она может от меня отвернуться. Я просто говорю: «Дорогой Бог или кто бы ты ни был, если только можно, не обойди и меня своими милостями».

Я четко помню, когда начала так думать, потому что это было как прозрение. Оно посетило меня в тот же день, когда моя мама перестала верить в Бога, потому что обнаружила, что больше не сможет полагаться на вещи, надежность которых никогда не ставилась под сомнение.

Мы всей семьей отправились на пляж, в укромный уголок к югу от города, около Чертова оползня. Папа прочитал в журнале «Сансет», что это неплохое местечко для ловли морского окуня. И хотя он отродясь не занимался рыбной ловлей (папа, в свое время работавший в Китае врачом, в Штатах стал помощником фармацевта), тем не менее верил в свой *ненкган*, способность сделать что-либо путем сосредоточения на этом всех своих помыслов. А мама верила в свой *ненкган* приготовить все, что бы папа ни держал в помыслах поймать. Именно эта вера в свой *ненкган* привела моих родителей в Америку. С этой верой они смогли произвести на свет семерых детей и ухитрились очень недорого купить дом в районе Сансет. Эта вера давала им уверенность в том, что удача никогда не отвернется от них, что Бог на их стороне, что домашние божества дают только благожелательные отзывы об их жизни, что эти отзывы

удовлетворяют наших предков и за это нам на всю жизнь как бы гарантирована полоса удач; они были убеждены, что все элементы находятся в полном равновесии, что пропорции ветра и воды выдержаны как нельзя лучше.

Мы все были уверены в этом, все девять человек: папа, мама, мои две сестры, четыре брата и я сама, когда маршировали по нашему первому пляжу. Мы шли гуськом по прохладному серому песку, выстроившись по старшинству. Я была в середине, мне было четырнадцать лет. Если бы кто-нибудь видел нас в тот момент, то наверняка оценил бы это зрелище: девять пар с трудом переставляемых босых ног, девять пар обуви в руках, девять черноволосых голов, повернутых в сторону набегающих на песок волн.

От ветра мои полотняные штаны надувались пузырями вокруг ног, и мне хотелось поскорее добраться до какого-нибудь места, где песок не будет лететь в глаза. Я увидела, что мы стоим в выгнутой дугой бухточке. Она напоминала разбитую пополам огромную чашу, вторая половина которой была унесена в океан. Мама пошла направо, туда, где пляж был ровнее, и мы все последовали за ней. На этой стороне бухты скалы удачно закруглялись, образуя укрытие от ветра и сильного прибоя. А вдоль скальной стенки, в ее тени, тянулась каменная полочка, которая начиналась от края пляжа и продолжалась в море рифовым выступом до тех пор, пока не скрывалась в бурных волнах. Казалось, будто по этому рифу, хоть он и выглядел очень неровным и скользким, можно было зайти далеко в море. На другой стороне бухты скалы были более зазубренные, как бы разъеденные водой. Их избородили глубокие трещины, и поэтому, когда волны ударяли в них, вода выливалась из расщелин белыми мочалками пены.

Оглядываясь назад, я припоминаю, что этот пляж в бухте был страшным местом. Он был полон влажных теней, от которых бросало в озноб, и невидимых пылинок, которые летели нам в глаза и мешали видеть опасность. Мы все были ослеплены новизной этого опыта: китайская семья, пытающаяся вести себя на пляже подобно типичным американцам.

Мама расстелила старое полосатое покрывало, которое развевалось по ветру, пока его не прижали к земле девять пар обуви. Папа оснащал длинную бамбуковую удочку — он смастерил ее собственными руками, руководствуясь своими воспоминаниями о детстве, проведенном в Китае. А мы с братьями и сестрами уселись на покрывале плечом к плечу. Уже успев к тому времени проголодаться, мы полезли в сумку с провизией, набитую сэндвичами, и стали жадно поглощать их, приправляя песком,

приставшим к пальцам.

Потом папа встал и с удовольствием оглядел свою удочку, проверяя ее на гибкость и прочность. Удовлетворенный, он захватил свои ботинки и направился к краю пляжа, а оттуда дальше по рифу к тому месту, где была последняя сухая точка. Мои старшие сестры, Дженис и Руфь, соскочили с покрывала и похлопали себя по бокам, чтобы стряхнуть песок. Отряхнув друг другу спины, они с пронзительным визгом помчались куда-то вдоль линии прибоя. Я уже вскочила с намерением погнаться за сестрами, но мама кивнула на моих четырех братьев и напомнила мне: *Даньсинь таменде шенти*, что означало: «Сиди с ними», а буквально — «Смотри за их телами». Эти тела все время ставили мою жизнь на прикол: Мэттью, Марк, Люк и Бин. И я снова шлепнулась на песок, тяжело вздохнув, ибо слезы сжимали мне горло, и задав риторический вопрос: «Почему?» Почему именно я обязана смотреть за ними?! И услышала обычный ответ: *Йидинь*. Ты должна. Потому что это твои братья. Когда-то твои сестры смотрели за тобой. Как бы иначе ты хотела усвоить, что такое ответственность? Как бы иначе ты смогла оценить все, что делают для тебя родители?

Мэттью, Марк и Люк — погодки: первому было тогда двенадцать, второму — одиннадцать, а третьему — десять лет, они были достаточно большими, чтобы самим играть в свои шумные игры. Они уже успели закопать Люка в неглубокую песчаную могилу, из которой торчала только его голова. Теперь они начинали шлепками выкладывать поверх него стены крепости из песка.

Но Бину было всего четыре года; он быстро возбуждался и так же быстро уставал и начинал капризничать. Он обиделся и не захотел играть с братьями, когда они, оттеснив его в сторону, вынесли обычный приговор: «Нет-нет, ты всё испортишь».

Поэтому Бин отправился бродить по пляжу, ступая с церемонностью императора в изгнании. По дороге он подбирал камушки и деревяшки и изо всех своих силенок швырял их в волны прибоя. Я плелась за ним, представляя себе высокие волны прилива и размышляя о том, что стала бы делать, если бы такая волна внезапно обрушилась на берег. Время от времени я кричала Бину: «Не подходи слишком близко к воде, а то намочишь ноги» — и думала о том, что стала такая же, как мама, которая всегда волнуется беспричинно, а о реальной опасности говорит так, будто это сушая ерунда. Тревога кольцом смыкалась вокруг меня, словно скальная стенка бухты, но я пыталась убедить себя, что все предусмотрено и никакой опасности нет.

У мамы было суеверное предубеждение, что в определенные дни детей поджидают определенные опасности, а какие именно — зависит от даты рождения ребенка по китайскому календарю. Все это было расписано в маленькой китайской книжечке под названием «Двадцать шесть ворот зла». На каждой странице там был рисунок, изображавший какую-нибудь ужасную опасность, подстерегающую несмышленых маленьких детей. Внизу были напечатаны комментарии, но по-китайски, а поскольку я не знала иероглифов, то мне оставалось только рассматривать картинки.

На каждой из них был изображен один и тот же маленький мальчик: он то взбирался на сломанную ветку дерева, то стоял под падающими на него воротами, то падал сам, поскользнувшись в деревянной лохани, то его утаскивала кусачая собака, то он бежал от молнии. А еще на каждой картинке был нарисован мужчина, похожий на переодетую ящерицу. На лбу у него было что-то вроде маленьких кругленьких рожек. На одной картинке человек-ящерица стоял на горбатом мостике и смеялся, наблюдая за тем, как мальчик, поскользнувшись — обе ноги уже в воздухе, — падает через перила в реку.

Достаточным основанием для беспокойства было бы считать, что ребенка может подстергать даже какая-нибудь одна из этих напастей. Но хоть каждому дню рождения и соответствовала только одна опасность, мама старалась предотвратить их все. И только потому, что она никак не могла усвоить, как нужно переводить дни месяца по китайскому лунному календарю в американские даты.

Солнце сдвинулось и повисло теперь над другой стороной бухты. Все было на своих местах. Мама была занята сначала защитой покрывала от задуваемого на него песка, потом вытряхиванием песка из обуви и укреплением углов покрывала теперь уже освобожденными от песка ботинками и туфлями. Папа все еще стоял на краю рифа, терпеливо забрасывая удочку в ожидании, что *ненкган* проявит себя в виде рыбы. Я видела маленькие фигурки вдали на пляже и по их черным головам и желтым штанам знала, что это мои сестры. Крики моих братьев сливались с криками чаек. Бин нашел пустую бутылку из-под содовой и начал копать ею под скальной стенкой. А я сидела на песке, в том месте, куда дотягивалась тень от скал.

Бин начал скрести бутылкой по камням — и я крикнула ему:

— Если будешь копать с такой силой, то пробьешь дырку в скале, свалишься туда и долетишь до Китая! — и засмеялась, когда он посмотрел на меня так, словно поверил, что я говорю правду.

Он встал и направился к воде. Как бы в раздумье примерился ногой к рифовому выступу, и я предостерегающе произнесла:

— Бин!

— Я хочу навестить папулю, — запротестовал он.

— Тогда держись поближе к стенке и подальше от воды, — сказала я. — Подальше от гадких рыб.

И я стала смотреть за тем, как он осторожно пробирается вдоль каменной полочки, прижимаясь спиной к неровной скалистой стенке. Я все еще вижу его так отчетливо, что почти чувствую, будто могу заставить его остаться там навсегда.

Я вижу, как он стоит у скалы, в безопасности, и зовет папу, а тот смотрит на него через плечо. Как я была рада, что хоть на какое-то время за ним присмотрит папа! Бин продолжает идти, у папы как будто клюет, и он начинает выбирать леску с максимально возможной скоростью.

Взрыв криков. Кто-то попал песком в глаза Люку, и он, выбравшись из своей песчаной могилы, набросился на Марка, колотя его и пиная. Мама кричит мне, чтобы я их разняла. Едва стащив Люка с Марта, я поднимаю глаза и вижу, как Бин в одиночестве подходит к краю скальной полки. Все были поглощены схваткой, и никто этого не заметил. Только одна я вижу, что происходит с Бином.

Бин делает один шаг, другой, третий, очень поспешно, будто заметил в волнах что-то интересное. И я думаю: «Сейчас он упадет в воду». Я ожидаю этого. Едва я успеваю это подумать, как его ноги уже повисают в воздухе — краткий миг равновесия, перед тем как его маленькое тельце шлепается в море и исчезает в нем, не оставив даже ряби на воде.

Не сводя глаз с того места, где скрылся под водой Бин, я упала на колени, на какое-то мгновение оцепенев и потеряв дар речи. Я никак не могла взять в толк, что же произошло. У меня в голове пронеслось множество мыслей. Бежать к воде и вытаскивать его? Позвать папу? Как быстро я могу вскочить на ноги? Нельзя ли повернуть всё назад и запретить Бину идти к папе на риф?

Тут вернулись мои сестры, и одна из них спросила:

— А где Бин?

На несколько секунд воцарилась тишина, а потом раздались крики и взметнулся песок — все бросились мимо меня к воде. Я застыла, будучи не в силах пошевелиться, а сестры уже искали его возле скалы, братья же заглядывали под принесенные морем деревяшки. Мама и папа пытались

развести волны руками.

Мы провели там еще несколько часов. Помню спасательные лодки, закат солнца и наступление сумерек. Никогда я не видела такого заката: яркое оранжевое пламя, касающееся водной глади и потом разворачивающееся веером, освещаая море теплым светом. С наступлением темноты засветились желтые фонари на лодках, раскачивающихся на темной мерцающей поверхности воды.

Припоминая всё, я думаю, что кажется странным замечать цвет заката и огни на лодках в такое время. Но у нас у всех были странные мысли. Папа считал минуты, прикидывая температуру воды и заново оценивая время падения Бина. Сестры бегали вокруг с криками: «Бин! Бин!», как будто он мог спрятаться за каким-нибудь кустом на обрывистом берегу. Мои братья сидели в машине, спокойно почитывая комиксы. А когда на лодках погасли желтые огни, мама бросилась в воду. Она в жизни не проплыла ни пяди, но ее вера в свой *ненкган* убедила ее в том, что она сможет сделать то, чего не могли эти американцы. Американцы не смогли, а она сможет. Она найдет Бина.

Когда спасателям удалось вытащить маму из воды, ее *ненкган* был все еще при ней. Ее одежда и волосы отяжелели от холодной воды, но она сохраняла царственное спокойствие и невозмутимость, как королева русалок, только что прибывшая на сушу. Полиция отозвала спасателей, усадила нас всех в нашу машину и отправила домой предаваться горю.

Я ожидала, что папа, мама, сестры и братья изобьют меня до полусмерти. Я понимала, что это я во всем виновата. Я отпустила его слишком далеко от себя и, кроме того, видела, как он падал в воду. Но когда мы доехали до дома и сели все вместе в нашей темной гостиной, я услышала их тихие голоса — каждый в первую очередь ругал самого себя.

— Это было чистым эгоизмом с моей стороны — тащить всю семью на рыбалку, — сказал папа.

— Нам не надо было уходить так далеко, — сказала Дженис, пока Руфь в очередной раз сморкалась.

— Зачем Марку надо было бросать песок мне в лицо? — хныкнул Люк. — Зачем он вынудил меня начать драку?

Мама спокойно признала свою вину, обратившись ко мне:

— Это я велела тебе прекратить их потасовку. Я велела тебе перестать смотреть за ним.

Если бы я даже и почувствовала хоть какое-то облегчение от ее слов, то это ощущение быстро бы прошло, потому что мама прибавила:

— А теперь слушай: завтра утром мы немедленно должны отправиться туда, чтобы отыскать его.

Все опустили глаза. Но я восприняла это как наказание себе: вернуться с мамой на пляж и помочь ей найти тело Бина.

Я была никак не готова к тому, что сделала мама на следующее утро. Когда я проснулась, было еще темно, но мама уже была одета. На кухонном столе стояли термос и чашка, а рядом лежала Библия в белой обложке и ключи от машины.

— Папа готов? — спросила я.

— Папа не едет, — был ответ.

— А как же мы туда доберемся? Кто нас отвезет?

Мама взяла ключи, и я пошла за ней к машине. Все время по дороге на пляж, я удивлялась про себя тому, что она каким-то образом обучилась ночному вождению. Она не смотрела на карту. Она вела машину очень плавно, повернула вниз по Джири, потом на Большое шоссе, вовремя подавала нужные сигналы, перестроилась на Прибрежное шоссе и легко проходила крутые повороты, где неопытные водители часто слетали с обрывов.

Когда мы приехали на пляж, мама сразу же пошла вниз по тропинке, к скалам, туда, где я последний раз видела Бина. Она держала в руках белую Библию. Глядя поверх воды, она обратилась к Богу, и чайки отнесли ее тонкий голос на небо. Мама начала свою речь словами «Дорогой Бог», а закончила, произнеся «Аминь», все остальное она проговорила по-китайски.

— Я всегда полагалась на Твои щедроты, — превозносила она Бога точно таким же тоном, каким обычно произносила пышные китайские славословия. — Мы знали, что они будут ниспосланы нам. Мы никогда не ставили это под сомнение. Твои решения были нашими решениями. Ты воздавал нам по нашей вере. В ответ мы всегда старались выказать Тебе наше глубочайшее уважение. Мы ходили в Твой дом. Мы приносили Тебе деньги. Мы пели Твои песни. Ты осыпал нас еще большими дарами. И теперь мы неправильно обошлись с одним из них. Мы поступили неосторожно. Это правда. У нас было столько хорошего, что мы не могли уследить за всем. Наверное, Ты просто спрятал его, чтобы научить нас более бережному отношению к Твоим дарам в будущем. Я выучила этот урок. Я запомнила его. И теперь я пришла за Бином.

Я тихо слушала, как моя мама произносит эти слова, и ужасалась. А когда она добавила:

— Прости нас за его плохое воспитание. Моя дочь, которая стоит здесь, рядом со мной, обязательно преподаст ему хороший урок послушания до того, как он еще раз предстанет перед Тобой, — я заплакала.

После молитвы ее вера была столь крепка, что она увидела его, три раза, за первой же волной, и он махал ей рукой.

— *Нале!* — Там! — И она выпрямлялась и замирала как часовой до тех пор, пока трижды не убедилась, что ее подвело зрение, и Бин трижды не превратился в покрытые пеной морские водоросли.

Мама не сдалась. Она пошла назад на пляж и положила Библию на песок, затем взяла термос и чашку и вернулась к воде. Потом она сказала мне, что за прошедшую ночь перебрала в воспоминаниях всю свою жизнь, вплоть до той поры, когда она была ребенком в Китае, и вот что она выудила из своей памяти:

— Я помню мальчика, с которым во время фейерверка произошел несчастный случай: ему оторвало руку, — сказала она. — Я сама видела ключья мяса, оставшиеся от руки, и место отрыва, а потом услышала, как его мать заявила, что у него вырастет другая рука, лучше оторванной. Его мать сказала, что заплатит долг предков в десятикратном размере. Она будет лечить сына водой, чтобы загасить гнев Чу Цзюня, трехглазого бога огня. И действительно, на следующей неделе, к моему изумлению, мальчик катался на велосипеде, обеими руками держась за руль! Я видела это собственными глазами.

Мама замолчала. А потом заговорила снова, сосредоточенно и очень уважительно:

— Один из наших предков однажды украл воду из священного источника. Теперь вода ворует у нас. Мы должны усладить Извивающегося Дракона, живущего в море, чтобы он перестал сердиться. А потом, чтобы Дракон выпустил Бина, зажатого между изгибами его колец, мы должны дать ему взамен другое сокровище.

Мама налила в чашку сладкого чая и бросила ее в море. Потом она разжала кулак. У нее на ладони лежало кольцо с прозрачным голубым сапфиром, водным камнем, которое ей подарила ее собственная мать, умершая много-много лет назад. Это кольцо, сказала мама, отводит от женщин домогающиеся взгляды, но делает их невнимательными к детям, которых они так ревниво оберегают. Оно заставит Извивающегося Дракона забыть о Бине. И она бросила кольцо в воду.

Но даже после принятия этих мер Бин не появился в ту же секунду. Мы смотрели на воду не меньше часа, но мимо проплывали одни лишь водоросли. А потом я увидела, как мама стиснула руки на груди, и

услышала ее восторженный голос:

— Видишь, просто мы смотрели не в ту сторону!

И я тоже увидела Бина на дальнем конце пляжа: он устало брел по песку, болтая сандалиями, зажатými в руке, и измученно склонив черную голову. Мы с мамой стали одним существом. Мы обрели то, чего так жаждали наши сердца. И тут, до того еще, как мы успели вскочить на ноги, мы обе увидели, как он закурил сигарету, стал выше ростом и превратился в незнакомца.

— Мамочка, пошли, — произнесла я со всей возможной мягкостью.

— Он там, — сказала она твердо и показала на зазубренные скалы на другой стороне бухты. — Я вижу его. Он сидит в пещере на маленькой ступеньке над водой. Он проголодался и немного замерз, но уже научился не капризничать.

Мама встала и пошла по песчаному берегу так, как будто это был ровный тротуар, а я старалась поспевать за ней, спотыкаясь и загребая ногами сыпучий песок. Она взобралась наверх по крутой тропинке к тому месту, где была припаркована наша машина, и даже не запыхалась. Она вытащила из багажника надутую камеру и, привязав к ней леску с папиной удочки, превратила ее в спасательный круг. Она вернулась на берег и бросила камеру в море, держа в руках удочку.

— Она поплывет туда, где находится Бин. Я верну его, — яростно выпалила мама. Я никогда не слышала в ее голосе *ненкган* такой силы.

Камера покорила ее воле. Она поплыла к противоположному берегу бухты, где ее подхватили более сильные волны. Леска туго натянулась, и мама с трудом удерживала удочку в руках. Но леска лопнула и, свернувшись спиралью, ушла под воду.

Мы обе забрались на скалы, чтобы увидеть, что будет. Камера уже приблизилась к противоположному берегу бухты. Огромная волна швырнула ее на камни. Хорошо накачанная камера сначала вынырнула на поверхность воды, а потом ее засосало внутрь, куда-то под скальную стенку, в подводную каверну, но она опять выпрыгнула наружу. Снова и снова она исчезала и вырывалась на волю, сверкая своими гладкими черными боками и достоверно свидетельствуя о том, что видела Бина, а потом возвращалась назад, чтобы попытаться вызволить его из пещеры. Снова и снова она тонула и выпрыгивала опять, пустая, но все еще вселяющая надежду. Но потом, примерно после дюжины погружений, ее засосало в темную нишу, и когда она вынырнула оттуда, то была разодрана и безжизненна.

Именно в тот момент — не раньше! — мама сдалась. Я никогда не

забуду выражения ее лица. Это было полное отчаяние и ужас от потери Бина, оттого, что она была так по-детски глупа, считая, что верой можно изменить судьбу. Меня же охватила злость, безрассудная слепая ярость, оттого, что все наши попытки полностью провалились.



Сейчас я понимаю, что тогда я несколько не надеялась, что мы найдем Бина, точно так же, как сейчас не нуду, что найду способ спасти свой брак. И тем не менее мама уверяет меня, что я все еще должна бороться.

— Зачем? — спрашиваю я. — Это безнадежно. Нет никакого смысла продолжать попытки.

— Это твой долг, — говорит мама. — Это не надежда. И не смысл. Это твоя судьба. Это твоя жизнь. Ты должна это сделать.

— Но что я могу сделать?! — спрашиваю я, а мама отвечает:

— Ты должна сама за себя думать. Если кто-то тебе подскажет, тогда получится, что ты и не пыталась что-либо изменить. — И она выходит из кухни, чтобы дать мне возможность как следует подумать.

Я думаю о Бине, о том, как, зная, что он в опасности, дала всему совершиться. Я думаю о своем замужестве, о том, что видела знаки, в самом деле видела. Но я просто позволила этому произойти. Сейчас я считаю, что судьба складывается наполовину из того, что вы от нее ожидаете, а наполовину из недосмотров. Но каким-то образом, когда вы теряете то, что любите, вера берет верх над судьбой. Вы все время помните о том, что потеряли. И вам приходится задним числом бороться с предчувствиями, чтобы не дать им сбыться до конца.

Мама до сих пор борется. Эта Библия под столом — я знаю, она ее видит. Я ведь тогда еще заметила, как она что-то написала в ней, перед тем как подпереть ею стол.

Я приподнимаю стол и вытаскиваю из-под него Библию, открываю ее и быстро перелистываю страницы в полной уверенности, что надпись там. На странице, предшествующей Евангелию, стоит заголовок: «Умершие», и это то место, где мама написала: «Бин Су» — без нажима, стирающимся карандашом.

## Цзиньмэй У

### Бывают только такие...

Моя мама верила, что в Америке можно стать кем захочешь. Можно открыть ресторан. Можно найти постоянную работу и получить хорошую пенсию. Можно, почти не имея денег, купить дом. Можно разбогатеть. Можно в одну минуту прославиться.

— Конечно, ты тоже можно быть вундеркинд, — говорила мама, когда мне было девять лет. — Ты можно что угодно быть самый лучший. Тетя Линьдо, много она понимать? Ее дочь, она самый лучший пройдоха, и всё.

На Америку моя мама возлагала все свои надежды. Она приехала сюда в тысяча девятьсот сорок девятом году, потеряв в Китае всё: родителей, дом, первого мужа и детей — двух девочек-двойняшек. Но она никогда не смотрела назад с горечью. Ведь было столько способов улучшить положение вещей.



Мы не сразу выбрали для меня подходящий талант. Сначала мама думала, что я могу стать китайской Ширли Темпл. Мы смотрели по телевизору старые фильмы про Ширли так, как будто они были учебными лентами. Мама тыкала меня пальцем в бок и говорила: «*Ни кан!* — Смотри!» И я смотрела, как Ширли отбивает чечетку, как она поет матросскую песню или вытягивает губки в очень круглое «О», произнося: «О, боже мой».

— *Ни кан*, — сказала мама, когда глаза Ширли наполнились слезами. — Как этот делать, ты уже уметь. Плакать талант не надо!

Вскоре после того как маме взбрела в голову идея о Ширли Темпл, она отвела меня в ученическую парикмахерскую в районе Миссон и сдала на руки практиканту, который едва мог сдержать дрожь, берясь за ножницы. Когда он выпустил меня оттуда, вместо предполагаемых крупных, тугих локонов мою голову украшала неровная масса густой черной пены. Мама приволокла меня домой, отвела в ванную и намочила мне голову в надежде распрямить кучеряшки.

— Ты похож китаец-негр, — возмущалась она, словно это я сотворила такое безобразие.

А потом мастеру в этой парикмахерской пришлось обрезать мои мокрые лохмы, чтобы я снова стала похожа на человека.

— Сейчас очень популярен Питер Пен, — заверил он мою маму.

Теперь у меня была мальчишеская прическа с аккуратной косой челкой в двух дюймах над бровями. Прическа мне понравилась и действительно заставила мечтать о будущей славе.

На самом деле поначалу я была увлечена этой идеей наравне с мамой, если не больше. Перед моим воображением проносились разные сцены, в которых проявлялась моя одаренность. Я примеряла на себя то одну роль, то другую. Я была изящной балериной, стоящей у занавеса в ожидании подходящей музыки, которая заставит ее парить на кончиках пальцев. Меня как новорожденного Иисуса вытаскивали из соломенных яслей, и я орала с достоинством, подобающим святому младенцу. Золушкой я торжественно выходила из своей кареты-тыквы, и искрящаяся музыка мультфильма заливала все пространство вокруг.

Все эти мечтания были основаны на предчувствии, что вскоре я стану *полным совершенством*. Родители будут восторгаться мною. Я стану недосыгаема для попреков. У меня не будет поводов на что-либо дуться.

Но иногда моя одаренность начинала выказывать нетерпение. «Если ты не поспешишь проявить меня, я исчезну, — предупреждала она. — И тогда ты навсегда останешься просто ничем».

Каждый вечер после ужина мы с мамой усаживались за наш кухонный стол фирмы «Формика», и она подвергала меня новым испытаниям, беря примеры из историй об удивительных детях. Эти истории она вычитывала в «Хотите — верьте, хотите — нет», «Хорошая хозяйка», «Ридерз дайджест» и дюжине других журналов, целую кипу которых она хранила у нас в ванной. Журналы доставались маме от людей, у которых она убиралась. А поскольку каждую неделю она убиралась во многих местах, у нее был широкий выбор. В поисках статей о замечательных детях она внимательно просматривала все журналы.

В первый вечер она раскопала историю про трехлетнего мальчика, который с легкостью мог назвать столицу любого штата и даже большинства стран Европы. В статье были приведены слова одной учительницы, которая уверяла, что ребенок не делает ошибок даже в произношении иностранных названий.

— Какая столица Финляндии? — спросила меня мама, глядя в статью в журнале.

Я знала только столицу Калифорнии, потому что улица, на которой мы

жили в Чайнатауне, называлась Сакраменто-стрит.

— Найроби! — догадалась я, назвав самое иностранное слово из всех, какие только пришли мне в голову.

Перед тем как показать мне правильный ответ, мама некоторое время прикидывала, не было ли это одним из способов произнесения слова «Хельсинки».

Тесты становились все труднее: перемножать в уме числа, отыскивать в колоде карт даму червей, стоять на голове без помощи рук, предсказывать температуру воздуха в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне.

Однажды вечером я должна была в течение трех минут посмотреть на страницу из Библии, а потом повторить все, что смогла запомнить.

— И тогда Иосафат достиг богатства и почестей, и изобилия, и... Мам, это все, что я помню, — сказала я.

Когда в очередной раз я увидела на мамином лице разочарование, что-то во мне сломалось. Я возненавидела тесты, большие надежды и не оправданные мною ожидания. В тот вечер, перед тем как отправиться в постель, я взглянула в зеркало над раковиной в ванной, увидела в нем свое лицо, уставившееся на меня, и расплакалась от сознания того, что теперь оно навсегда останется самым что ни на есть заурядным лицом. Какая печальная и противная девчонка! Я пронзительно взвизгнула, словно взбесившийся зверек, стараясь расцарапать это лицо в зеркале.

И только тогда я увидела то, что и было моим самым главным талантом, — потому, наверное, что никогда до этого я не видела у себя такого лица. Я пригляделась к своему отражению, проморгавшись, чтобы получше его рассмотреть. Таращившаяся на меня из зеркала девчонка была злой и сильной. С ней я была заодно. Я думала уже по-новому, и с этого момента у меня появилось одно желание, вернее сказать — нежелание. «Я не позволю ей изменить меня, — пообещала я себе. — Я не стану тем, чем я не являюсь».

И с этого дня, когда мама по вечерам устраивала свои тесты, я выполняла их вяло, подперев голову рукой. Я делала вид, что мне скучно. Мне и правда было скучно. Так скучно, что однажды, пока мама натаскивала меня в других областях, я начала считать, сколько раз в бухте проревет сирена, подающая сигнал судам во время тумана. Звук был очень мирный, он напоминал о корове, пытавшейся перепрыгнуть через луну. На следующий день я придумала для себя игру. Я загадала, прекратит ли мама свои попытки до того, как раздастся восемь гудков. Через какое-то время я стала насчитывать только один сигнал, максимум два. Наконец-то она начала прощаться со своими надеждами.

Прошло два или три месяца без какого-либо упоминания о моей одаренности. А потом как-то раз мама смотрела по телевизору шоу Эда Сюзливана. Телевизор был старый, звук у него барахлил. Каждый раз, когда мама приподнималась с дивана, чтобы пойти и наладить его, звук снова появлялся и Эд продолжал говорить. Но стоило ей усесться, как Эд замолкал. Мама встала — по телевизору заиграла громкая фортепианная музыка. Она села — тишина. Вверх — вниз, вперед — назад, нет звука — есть звук. Было похоже, будто мама с телевизором танцуют, не прикасаясь друг к другу. Но в конце концов она просто встала около него, держа палец на кнопке звука.

Мне показалось, что ее внимание приковала к себе музыка — маленькая стремительная фортепианная пьеса из тех, что обладают гипнотическим действием: с головокружительными пассажами и напевными отступлениями перед возвращениями к быстрому наигрышному темпу.

— *Ни кан*, — произнесла мама, подзывая меня торопливыми жестами. — Смотри сюда.

И тут я увидела, почему маму так впечатлила эта музыка. По клавишам рояля колотила маленькая китайская девочка, примерно девяти лет, с прической как у Питера Пена. Девочка обладала очарованием Ширли Темпл. У нее был торжественно-скромный вид, как и подобает настоящему китайскому ребенку. Вдобавок, широко взмахнув рукой, она сделала такой изысканный реверанс, что ее пышная белая юбка неспешно разлеглась по полу, словно лепестки гигантской гвоздики.

Несмотря на все эти предупреждающие сигналы, я не забеспокоилась. У нас не было пианино, и мы не могли позволить себе такое приобретение, не говоря уже о том, чтобы покупать кипы нотных альбомов и платить за уроки игры на фортепиано. Так что я могла позволить себе проявить великодушие, когда комментировала мамины выпады против маленькой девочки в телевизоре.

— Играть ноты правильно, но звук не так хорошо! Не мелодично звук, — посетовала мама.

— Ну что ты нападаешь на нее! — неосторожно сказала я. — Очень милая девочка. Может быть, она и не самая лучшая пианистка на свете, но она очень старается. — Практически в ту же секунду я поняла, что мне придется пожалеть о своих словах.

— Как раз твой случай, — ответила мама. — Не самый лучший на свете. Не стараться потому что. — Она гневно фыркнула и, оставив кнопку

звука в покое, снова уселась на диван.

Маленькая китаянка тоже села, чтобы сыграть на бис «Танец Анитры» Грига. Я помню эту пьесу, потому что позже мне тоже пришлось ее выучить.

Через три дня после шоу Эда Сюзливана мама сообщила мне, какое у меня теперь будет расписание уроков игры на фортепиано и самостоятельных занятий. Она договорилась обо всем с мистером Чоном, который жил на первом этаже в нашем доме. Мистер Чон был когда-то учителем музыки, но к тому времени уже оставил преподавание. Однако за услуги по уборке квартиры мама выторговала у него еженедельные уроки для меня и разрешение на самостоятельные занятия на его инструменте по два часа в день — с четырех до шести.

Когда она сообщила мне это, у меня возникло чувство, что меня обрекли на адские муки. Я взвыла и со всей злостью пнула что-то ногой.

— Почему ты не любишь меня такой, какая я есть? Я не гений! Я не могу играть на пианино! И если бы даже я могла, я не пошла бы на телевидение, заплати ты мне хоть миллион долларов! — заплакала я.

Мама залепила мне пощечину.

— Кто просить тебя гений быть?! — крикнула она. — Просить только хорошо стараться. Ради твое же благо. Ты думаешь, я хочу ты быть гений? Хнн! Еще чего! Кто тебя просить!

— Какая неблагодарность, — услышала я, как она ворчит про себя по-китайски. — Будь у нее столько таланта, сколько норова, она уже сейчас была бы знаменита.

Мистер Чон, которого я окрестила про себя Старым Чоном, был очень странный: он всегда барабанил пальцами, подыгрывая неслышной музыке невидимого оркестра. На мой взгляд, он был древним стариком. Волос на макушке у него почти не осталось, он носил очки с толстыми стеклами, и глаза его всегда казались сонными и усталыми. Но, наверное, он был младше, чем я думала, потому что жил со своей матерью и еще не был женат.

Старую госпожу Чон я встретила только однажды, и этого было достаточно. От нее исходил специфический запах, как от младенца, наложившего в штаны. Пальцы у нее были словно у мертвеца; они напомнили мне обнаруженный как-то на дне нашего холодильника завалившийся персик: когда я за него взялась, шкурка просто соскользнула с мякоти.

Вскоре я обнаружила, почему Старый Чон перестал давать уроки. Он

был глух. «Как Бетховен! — кричал он мне. — Мы оба слышим только мысленно!» И начинал дирижировать невидимому исполнителю своих сумасшедших беззвучных сонат.

Наши уроки проходили примерно так. Он открывал книгу и показывал мне разные штучки, объясняя их назначение: «Ключ! Сопрано! Бас! Ни диезов, ни бемолей! Значит, до-мажор! Теперь слушай и повторяй за мной!» Потом он несколько раз проигрывал гамму и простой аккорд до-мажор, после чего, словно одержимый каким-то застарелым непреодолимым зудом, добавлял от себя еще несколько нот, каких-нибудь трелей и бухающего баса, пока музыка на самом деле не превращалась в нечто невообразимое.

Я играла, повторяя за ним, гамму и простой аккорд, а потом просто какую-нибудь белиберду, напоминавшую звуки, производимые кошкой, носящейся по выброшенным на помойку консервным банкам. Старый Чон улыбался, аплодировал и говорил: «Очень хорошо! Но теперь тебе нужно научиться не сбиваться с ритма!»

Так я сделала открытие, что медлительные глаза Старого Чона не попевали за неверными движениями моих пальцев. Ему на всё требовалось в два раза больше времени, чем мне. Чтобы помочь мне выдержать нужный темп, он становился за моей спиной и при каждом такте нажимал мне на правое плечо. Он уравнивал по монетке на моих запястьях, чтобы я держала их ровно, медленно разыгрывая гаммы и арпеджио. Он заставлял меня охватывать ладонью яблоко и брать аккорды, сохраняя руку в таком положении. Он маршировал передо мной словно деревянный солдат, чтобы показать, как надо заставлять каждый палец танцевать маленьким послушным солдатиком, прыгая вверх-вниз при исполнении стаккато.

Я выучилась у него всему этому, а попутно усвоила, что могу лениться и делать сколько угодно ошибок. Попадая от недостаточной натренированности по неверным клавишам, я никогда не поправлялась. Просто продолжала играть в том же темпе. А Старый Чон продолжал мысленно исполнять свои бесподобные шедевры.

Так что, наверное, я никогда по-настоящему и не давала себе шанса. Я весьма быстро усвоила основы и, возможно, могла бы стать неплохой пианисткой для своего возраста. Но я была настолько настроена и не пыталась стать кем-либо другим, что разученные мною прелюдии резали слух, а гаммы в моем исполнении состояли из сплошных диссонансов.

В течение целого года я занималась именно так: с обязательностью в своем понимании. А потом однажды я услышала, как мама разговаривала

со своей подругой Линьдо Чжун. Обе говорили громко, с хвастливыми интонациями, предназначенными для слуха окружающих. Это было после посещения церкви; я, в платье с белой нижней юбкой, стояла, прислонившись к кирпичной стене. Дочь тети Линьдо, Уэверли, девочка моего возраста, стояла у той же стены, но чуть дальше, футах в пяти от меня. Мы с ней вместе росли и были близки, как сестры, которые то и дело ссорятся из-за цветных мелков и кукол. Иными словами, мы терпеть не могли друг друга. Я считала ее задавакой. Уэверли Чжун к тому времени уже снискала себе некоторую известность как «самый юный китайский чемпион Чайнатауна по шахматам».

— Она слишком много призы приносить домой, — жаловалась тетя Линьдо в то воскресенье. — Весь день шахматы играть. А я весь день время нет на что другой, только убирай пыль ее трофеи. — Она бросила сердитый взгляд на Уэверли, которая делала вид, что не замечает ее.

— Ты счастливица такая проблема не иметь, — с притворным вздохом сказала тетя Линьдо моей маме.

В ответ на это моя мама распрямила плечи и хвастливым тоном заявила:

— Наша проблема хуже ваша. Мы просить Цзиньмэй мыть посуду, она, кроме музыка, слышать ничего. Этот прирожденный талант сдержать нам нет сил.

И в тот самый момент я твердо решила, что пора положить конец ее глупому бахвальству.

Через несколько недель моя мама и Старый Чон стоворились между собой отправить меня выступать на вечере талантов, который должен был состояться в нашей церкви. К тому времени мои родители уже накопили денег на то, чтобы купить мне подержанное пианино. Это был черный вюрлицеровский спинет, а в придачу к нему — потерянная скамейка. Инструмент стал украшением нашей гостиной.

Было решено, что на шоу талантов я сыграю пьесу под названием «Капризы ребенка» из «Сценок из детства» Шумана. Это была простая пьеса с переменчивым настроением, которая звучала сложнее, чем была на самом деле. Предполагалось, что я заучу всю ее наизусть и, чтобы пьеса получилась подлиннее, дважды проиграю репризы. Но я только пробездельничала над ней, проигрывая по такту-другому, а потом мошенничала, подглядывая в ноты. На самом деле я вовсе не вдумывалась в то, что играла. Мне грезилось, что я какой-то другой человек и нахожусь где-то в другом месте.

Больше всего мне нравилось репетировать изящный реверанс: выставить вперед правую ногу, коснувшись вытянутым носком розы на ковре, сделать взмах рукой с наклоном в сторону, затем согнуть левую ногу, поднять голову и улыбнуться.

Родители пригласили все супружеские пары из Клуба радости и удачи стать свидетелями моего дебюта. Конечно, пришли и тетя Линьдо с дядей Тинем. Были там и Уэверли, и два ее старших брата. Первые два ряда были заполнены детьми всех возрастов, старше и младше меня. Самые маленькие выступали первыми. Они читали простые детские стишки, пиликали на миниатюрных скрипочках, вертели обручи, топтались по сцене в розовых балетных пачках, и, когда они кланялись или приседали, аудитория вздыхала в унисон: «Оууу», а затем с энтузиазмом аплодировала.

Когда подошла моя очередь, я была очень уверена в себе. Я снова испытывала настоящий подъем. У меня не было никакого сомнения в собственной одаренности. Я ничуть не боялась и ни капельки не нервничала и помню даже, как повторяла про себя: «Вот оно! Вот оно!» Я взглянула в зал и заметила ничего не выражающее мамино лицо, папин зевок, натянутую улыбку тети Линьдо и надутые губки Уэверли. На мне было обшитое кружевами белое платье, а в прическе Питера Пена красовался розовый бант. Усаживаясь за инструмент, я представляла себе, как после моей игры люди вскакивают, а Эд Сюзливан врывается в церковь, чтобы пригласить меня на телевидение.

И я начала играть. Это было прекрасно. Я была так поглощена своим внешним видом, что поначалу не беспокоилась о том, как буду играть. Поэтому очень удивилась, когда нажала не на ту клавишу: что-то прозвучало не совсем так, как надо. А потом я промахнулась еще раз, за этим ляпом последовал другой. Холодок коснулся моей макушки и заструился вниз по спине. И тем не менее мои руки как будто кто-то заколдовал — я никак не могла прекратить играть. При этом я надеялась, что мои пальцы сами собой настроятся на нужный лад, как поезд, переходящий на развилке на нужный путь. Так я и доиграла всю эту неразбериху до конца, сделав два повтора, но все же не избавившись от ляпов.

Встав со стула, я обнаружила, что ноги у меня дрожат. Может быть, я просто перенервничала, и аудитория, как Старый Чон, видя, что я делала правильные движения, ничего неправильного не заметила? Я вытянула правую ногу, опустилась на колени, подняла голову и улыбнулась. В помещении было тихо, только Старый Чон с сияющим видом выкрикивал:

«Браво! Браво! Хорошая работа!» Но тут я увидела совершенно убитое мамино лицо. Аудитория вяло похлопала, и, пока я шла назад к своему месту с лицом, напряженным до дрожи от усилий, которые я совершала, чтобы не разреветься, я услышала, как какой-то малыш громким шепотом сказал своей маме: «Это было ужасно». А она прошептала ему в ответ: «Ну, она все-таки старалась».

В этот момент до меня дошло, сколько людей было в церкви, — казалось, весь мир. Я чувствовала на своей спине испепеляющие взгляды. Я знала, какой позор пережили мои родители, неподвижно просидевшие до самого окончания шоу.

Мы могли бы ускользнуть во время перерыва. Должно быть, гордость и как-то странно понимаемое чувство чести приковали моих родителей к сиденьям. И поэтому мы увидели всё: восемнадцатилетнего юношу с накладными усами, который показывал чудеса магии и жонглировал горящими обручами, катаясь по сцене на велосипеде с одним колесом. Грудастую девочку с белым гримом, которая спела арию из «Мадам Баттерфляй» и получила почетную грамоту. И одиннадцатилетнего скрипача, которому дали первый приз за исполнение виртуозной пьесы, похожей на песенку деловитой пчелы.

По окончании вечера к моим родителям подошли Су, Чжуны и Сент-Клэры из Клуба радости и удачи.

— Много талантливые дети, — широко улыбаясь, неопределенно высказалась тетя Линьдо.

— Это было нечто, — сказал папа, и я не поняла, намекал ли он таким саркастическим образом на мой провал или, может быть, вообще забыл, что я наделала.

Уэверли посмотрела на меня и пожала плечами.

— В отличие от меня ты не гений, — сказала она, как бы констатируя факт.

Не будь мне так плохо, я бы вцепилась ей в косы или врезала кулаком в живот.

Но что окончательно добило меня, так это выражение мамино лица: совершенно пустой, отсутствующий взгляд человека, потерявшего всё на свете. Я чувствовала себя так же, и у меня было ощущение, что все сходятся к нам, как ротоzeи после автомобильной аварии, чтобы посмотреть, кому что оторвало. В автобусе по дороге домой папа мурлыкал про себя песенку деловитой пчелы, а мама молчала. Я подумала, что она ждет, когда мы доберемся до дому, чтобы начать отчитывать меня. Но когда папа отпер дверь нашей квартиры, она сразу же прошла в заднюю

комнату, в спальню, и закрылась там. Никаких обвинений. Никаких попреков. В каком-то смысле я почувствовала себя разочарованной. Я ждала, что она начнет кричать на меня, чтобы раскричаться в ответ, заплакать и обвинить ее во всех своих несчастьях.

Я предполагала, что мое фиаско в шоу талантов означало, что мне больше никогда не придется играть на пианино. Но через два дня, когда после школы я уселась дома перед телевизором, мама выглянула из кухни и как ни в чем не бывало произнесла:

— Четыре часа!

Сначала я остолбенела, как будто она велела мне снова пройти через всю эту пытку на шоу талантов, но потом лишь уселась поудобнее в своем кресле.

— Выключи телевизор, — обратилась она ко мне из кухни через пять минут.

Я не шелохнулась. Я приняла решение. Теперь я не обязана делать то, что говорит мама. Я ей не рабыня. Это ей не Китай. Я уже послушалась ее, и вот что из этого получилось. Это всё по ее глупости.

Она вышла из кухни и встала в арочном проеме при входе в гостиную.

— Четыре часа, — повторила она повнушительнее.

— Я не собираюсь больше играть на пианино, — сказала я небрежно. — Зачем? Я не гений.

Она подошла поближе и остановилась возле телевизора. По тому, как вздымалась и опускалась ее грудь, я поняла, что она рассержена.

— Не хочу! — сказала я и почувствовала себя сильнее, как будто наконец-то показала свое истинное «я». Вот, оказывается, что было скрыто во мне все это время.

— Не хочу и не буду! — Я перешла на визг.

Дернув меня за руку, она приподняла меня с пола и выключила телевизор. Почти волоком она перетащила меня к пианино. Проявление силы с ее стороны напугало меня. По дороге я брыкалась и раскидывала половики. Она приподняла меня и усадила на жесткую скамейку перед инструментом. К этому времени я уже захлебывалась рыданиями, глядя на нее с горьким укором. Ее грудь вздымалась еще сильнее, а рот был приоткрыт в какой-то сумасшедшей улыбке, как будто ей было приятно, что я плачу.

— Ты хочешь, чтобы я была тем, чем я не являюсь! — рыдала я. — Я никогда не буду такой дочерью, какой ты хочешь!

— Дочери, — крикнула она по-китайски, — бывают только такие: одни

— послушные, другие — своевольные! В этом доме есть место только для одной дочери. Для послушной!

— Тогда лучше бы я не была твоей дочерью! Лучше бы ты не была моей матерью! — выкрикнула я.

Произнеся это, я испугалась. У меня было такое чувство, будто из моей груди выползают черви, жабы и какие-то склизкие гады, но вместе с тем это было и приятное чувство — как будто наконец-то мое истинное «я» выглянуло наружу.

— Этот уже нас не зависит, — резко бросила она мне в ответ.

Я чувствовала, что ее злость подходит к самому верхнему пределу. Мне хотелось увидеть, как ее прорвет. И тогда я вспомнила про дочерей, которых она потеряла в Китае и о которых мы никогда не говорили.

— Тогда лучше бы я вообще не рождалась на свет! — крикнула я. — Лучше бы я умерла! Как они!

Эффект от моих слов был как от магического заклинания: алаказам! — и она опустила голову, закрыла рот, уронила руки и, сникнув, исчезла из комнаты, как будто ее ветром сдуло, словно маленький коричневый листок — тонкий, хрупкий, безжизненный.



Это был не единственный раз, когда я ее разочаровала. В последующие годы я часто не оправдывала ее надежд, каждый раз отстаивая свое собственное мнение, свое право не оправдывать ожиданий. Я не стала отличницей. Я не стала старостой класса. Я не поступила в Стэнфорд.<sup>[6]</sup> Я не доучилась в колледже. Потому что в отличие от мамы я не верила, что могу стать кем захочу. Я могу быть только самой собой.

И за все эти годы мы ни разу не заговорили ни о моем провале на шоу талантов, ни о том, что я наговорила ей потом со скамейки у пианино. Все это так и осталось между нами, как непоправимое предательство. Поэтому у меня никогда не было случая спросить ее, почему она надеялась на что-то настолько большое, что провал был неизбежен.

И что еще хуже, я никогда не спрашивала ее о том, что было для меня самым страшным: почему она поставила на мне крест?

Ведь после битвы у пианино она больше ни слова не проронила о моей учебе. Уроки прекратились. Крышка пианино была закрыта. Ни пыль, ни мои терзания, ни мамины мечты внутрь не проникали.

Она очень удивила меня, когда несколько лет назад, на мое тридцатилетие, предложила мне забрать пианино к себе. За все эти годы я ни разу не притронулась к нему. Я восприняла это предложение как символическое прощение, и как будто огромный груз свалился у меня с плеч.

— Ты уверена? — спросила я робко. — Я имею в виду — может быть, вам с папой будет не хватать пианино?

— Нет, пианино твой, — мягко ответила мама. — Всегда твой. Играть только ты.

— Наверное, я уже разучилась, — сказала я. — Столько лет прошло.

— Ты быстро вспомнить, — произнесла мама с такой уверенностью, как будто знала это наверняка. — Твой прирожденный дар, можно стать гений, если хотеть.

— Нет, я не могла бы.

— Ты даже не пытайся. — В ее голосе не было ни обиды, ни печали. Она объявила это как факт, который ни при каких обстоятельствах не может быть опровергнут. — Забирай, — сказала она.

Но тогда я этого не сделала. Достаточно было, что она предложила мне это. С тех пор каждый раз при виде пианино, которое стояло у родителей в гостиной, напротив окон, выходящих на бухлу, я испытывала прилив гордости, как будто это был некий сияющий трофей, отвоеванный мною обратно.

На прошлой неделе я — из чисто сентиментальных побуждений — отправила на квартиру своих родителей настройщика. Несколько месяцев назад моя мама умерла, и я потихоньку привожу всё в порядок. Я делаю это для папы. Я сложила все украшения в специальные шелковые мешочки. Связанные мамой свитера — желтые, розовые, ярко-оранжевые — цвета, которые я всю жизнь ненавидела, — я сложила в коробки с антимолем. Я нашла несколько старых китайских платьев, с разрезами по бокам, провела пальцами по старому шелку, а потом завернула платья в папиросную бумагу и решила забрать их с собой.

После того как пианино настроили, я открыла крышку и коснулась клавиш. Звук был даже богаче, чем мне помнилось. На самом деле это было очень хорошее пианино. Под сиденьем скамейки лежали те самые нотные тетради с упражнениями, в которых гаммы были написаны от руки, те самые купленные из вторых рук музыкальные издания с обложками, подклеенными желтой изолентой.

Я открыла альбом Шумана на той мрачноватой маленькой пьесе,

которую играла на своем выступлении, — «Капризы ребенка». Она была на левой стороне разворота и теперь показалась мне более сложной. Но, проиграв несколько тактов, я удивилась легкости, с которой вспоминала ноты.

И впервые — а может быть, я просто забыла — я заметила пьесу на правой стороне разворота. Она называлась «Довольный ребенок». Я попробовала сыграть и ее. У этой пьесы был тот же текучий ритм и немного попроще мелодия, разобрать ее оказалось совсем несложно. «Капризы ребенка» была короче, но медленнее, «Довольный ребенок» — длиннее, но быстрее. И проиграв обе пьесы по нескольку раз, я поняла, что на самом деле они были двумя половинами одной пьесы.

## АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРЕВОД

— Ах! — воскликнула мать во время осмотра новой квартиры своей дочери, заметив в спальне зеркальный шкаф. — Нельзя помещать зеркала в ногах постели. Твое супружеское счастье отразится в нем и обернется своей противоположностью.

— Просто это единственное место, куда этот шкаф вписывается, поэтому он здесь и стоит, — сказала дочь, раздражаясь оттого, что ее мать во всем видит плохие знаки. Она слышала эти предупреждения всю свою жизнь.

Мать нахмурилась и порылась в своей уже не первый раз используемой одноразовой сумке.

— Тебе повезло, что я знаю, как с этим бороться. — И она вытащила покрытое по краям позолотой зеркало, которое купила на прошлой неделе на распродаже. Она прислонила его к изголовью кровати, поставив на две подушки.

— Повесишь его здесь, — сказала мать, показывая на стену над изголовьем. — Это зеркало видит то зеркало — хоулу! — и приумножает для тебя цветение персика.

— Что такое «цветение персика?»

Мать улыбнулась, в глазах ее блеснул лукавый огонек.

— Оно здесь — сказала она, указывая на зеркало. — Взгляни туда. Разве я не права? В этом зеркале виден мой будущий внук, он сидит у меня на коленях, и это следующая весна.

Дочь взглянула, и — хоулу! — там было оно — ее собственное отражение, смотрящее на нее.

## Лена Сент-Клэр

### Рисовый муж

Я до сих пор верю в то, что моя мама обладает таинственным даром предвидения. Она комментирует это китайской поговоркой: *чуньван чихань* — у безгубого и зубы мерзнут. Это значит, насколько я догадываюсь, что одно всегда вытекает из другого.

Мама не предскажет, когда случится землетрясение или как пойдут дела на бирже. Она видит только то плохое, что коснется нашей семьи. И знает, по какой причине. Но только сейчас, задним числом, она начинает сокрушаться, что никогда ничего не делала, чтобы предотвратить беду.

Когда мы переехали на новую квартиру в Сан-Франциско — я была еще маленькой, — маме показалось, что склон холма, на котором стоял наш дом, слишком крутой. Она сказала, что ребенок, которого она вынашивала в то время, родится мертвым. Так и случилось.

Когда в доме напротив нашего банка открылся магазин сантехники, мама сказала, что из банка скоро смоем все деньги. Месяц спустя один из служащих банка был арестован за растрату.

Сразу после смерти моего отца в прошлом году она сказала, что знала, что это произойдет. Потому что филодендрон, который отец подарил ей, засох и погиб, хотя она исправно его поливала. Она сказала, что корни растения были повреждены и оно не могло пить воду. В заключении о смерти, которое она получила уже потом, было написано, что у отца, скончавшегося от сердечного приступа в возрасте семидесяти четырех лет, на девяносто процентов были закупорены артерии. В отличие от мамы отец не был выходцем из Китая, он был американцем англо-ирландского происхождения и каждое утро с большим аппетитом съедал свои пять ломтей бекона и глазунью из трех яиц.

Я вспомнила об этом даре своей матери, потому что сейчас она гостит у нас, в доме, который мы с мужем только что купили в Вудсайде. И мне интересно, что она увидит.

Нам с Харольдом повезло с этим местом: оно расположено очень высоко и, главное, всего в трех поворотах от 9-го шоссе — налево-направо-налево по грязной дороге без указателей; жители района выдергивают дорожные знаки, чтобы сюда не заглядывали коммивояжеры, застройщики и городские инспектора. От квартиры моей матери в Сан-Франциско до нас

всего сорок минут езды, но с мамой это путешествие заняло целый час, и это была настоящая пытка. После того как мы выехали на двухполосную извилистую дорогу, идущую в гору, она нежно тронула Харольда за плечо и мягко произнесла: «Ай, шины, какой визг». А потом, чуть позже: «Не сильно уставать машина?»

Харольд улыбнулся и сбавил скорость, но я видела, как он сжимает руль «ягуара», нервно поглядывая в зеркало заднего вида на выстроившуюся за нами очередь нетерпеливых машин. И я втайне порадовалась, заметив, что он чувствует себя не в своей тарелке. Он ведь из тех, кто пристраивается в хвост к старушкам на «бьюиках», сигналив и газуя так, будто готов их раздавить, если они не уступят ему дорогу.

Однако, считая, что и поделом ему, я ругала себя за то, что допускаю такую мысль. Но все же ничего не могла с собой поделать. С утра он довел меня до белого каления, да и сам был ужасно раздражен. Перед тем как мы отправились за мамой, он сказал: «Справедливости ради, ты должна заплатить за средство от блох, потому что Миругей твой кот и, значит, блохи твои. Ты так не считаешь?»

Никто из наших друзей никогда бы не поверил, что мы ругаемся из-за такой чепухи, как блохи, но никто бы и не подумал, что наши проблемы гораздо глубже этого, настолько глубоки, что я даже не знаю, где дно.

И сейчас, поскольку мама здесь — она приехала примерно на неделю, пока электрики не сделают проводку в ее новом доме в Сан-Франциско, — мы должны делать вид, что у нас всё в порядке.

Между тем мама, наверное, в двадцатый раз спрашивает, почему мы так много заплатили за оборудованный под жилье сарай и затянутый ряской бассейн на четырех акрах земли, два из которых заросли секвойями и сумахом. На самом деле она даже не спрашивает, а просто говорит:

— Ай-йя, столько денег, столько денег, — пока мы показываем ей дом и участок.

И мамины причитания заставляют Харольда объяснять ей простыми словами:

— Понимаете, все эти мелочи стоят очень дорого. Взять хотя бы деревянные полы. Ручная циклевка. Или стены, отделка под мрамор, — это тоже ручная работа. Такие вещи обходятся недешево.

Мама кивает и соглашается:

— Циклевка и отделка стоит дорого.

Во время нашей короткой экскурсии по дому мама уже обнаружила кучу недостатков. Она говорит, что из-за наклона пола у нее такое чувство, будто она «бежать вниз». Она считает, что комната для гостей, где мы ее

поселили, на самом деле бывший сеновал под двускатной крышей, — «кривобокая с двух сторон». Она видит пауков высоко в углах и даже блох, подпрыгивающих в воздух — пах! пах! пах! — как маленькие брызги горячего масла. Для моей матери не секрет, что, несмотря на все модные штучки, которые стоят ужасно дорого, этот дом так и остался сараем.

Ей не составляет труда все это увидеть. А меня раздражает, что она видит только плохое. Но, присмотревшись получше, я соглашаюсь: все, что она говорит, — правда. И это убеждает меня, что ей видно еще и то, что происходит между мной и Харольдом. Кроме того, она знает, что нас ждет. Я-то помню, что она увидела, когда мне было восемь лет.

Мама взглянула в мою чашку с рисом и сказала, что я выйду замуж за плохого человека.

— Ай-йя, Лена, — сказала она после того обеда много лет назад, — твой будущий муж иметь одна оспина на каждый рис, что ты не съел.

Она убрала мою чашку.

— Однажды я знать один рябой человек. Злой человек, плохой человек.

А я сразу подумала про противного соседского мальчишку, на щеках у которого были оспинки, и — что было верно — каждая размером с рисовое зернышко. Этому мальчику было лет двенадцать, и звали его Арнольд.

Когда бы я ни проходила мимо его дома по дороге из школы, Арнольд стрелял в меня из рогатки, а однажды переехал на велосипеде мою куклу, раздавив ей ноги ниже колен. Мне не хотелось, чтобы этот жестокий мальчишка стал моим мужем. Поэтому я взяла свою чашку с остывшим рисом, отправила оставшиеся рисинки в рот и торжествующе улыбнулась, уверенная, что теперь-то моим мужем станет не Арнольд, а кто-нибудь другой, чье лицо будет таким же гладким, как фарфор моей, теперь уже чистой, чашки.

Но мама вздохнула:

— Вчера ты опять не доедать свой рис.

Я подумала о вчерашних ложках недоеденного риса и о рисовых зернышках, которые остались в моей чашке позавчера и позапозавчера. Мое восьмилетнее сердце все больше и больше холодело от ужаса, по мере того как я осознавала, что судьба моя давно решена: моим мужем станет этот гадкий Арнольд, и вдобавок, из-за моей привычки ничего не доедать, его отвратительное лицо в конце концов начнет напоминать кратеры на Луне.

Этот эпизод из детства мог бы остаться в памяти забавной мелочью, но на самом деле я время от времени вспоминаю его со смешанным чувством

тошноты и раскаяния. Моя ненависть к Арнольду дошла до такой степени, что в конце концов я придумала способ его умертвить. Я просто позволила одному вытекать из другого. Конечно, все это могло быть лишь случайным совпадением. Так это или не так, не знаю, но намерение у меня было. Когда мне хочется, чтобы что-то произошло — или не произошло, — я начинаю мысленно связывать между собой все, имеющее к этому хоть какое-то отношение, что как бы дает мне возможность управлять событиями.

Я нашла такую возможность. На той же неделе, когда мама сказала мне про рисовые зерна и моего будущего мужа, в воскресной школе нам показали жуткий фильм. Помню, учительница настолько убавила свет, что мы с трудом различали силуэты друг друга. Потом она посмотрела на нас — полную комнату кривляющихся, упитанных китайско-американских детей — и сказала:

— Из этого фильма вы узнаете, почему надо отдавать десятину Богу и служить Ему.

Она сказала:

— Я бы хотела, чтобы вы подумали о том, сколько стоят сладости, которые вы съедаете каждую неделю, — все эти орешки, шоколадки и мармеладки, — и сравнили это с тем, что сейчас увидите. И еще мне бы хотелось, чтобы вы подумали о том, какие по-настоящему хорошие поступки вы совершили в жизни.

И потом застрекотал кинопроектор. Это был фильм про миссионеров в Африке и Индии. Эти добрые люди ухаживали за больными, чьи распухшие ноги были толщиной с три бревна, чьи онемевшие конечности были перекручены, как лианы в джунглях. Но самым страшным из всех этих ужасов были лица прокаженных. Я даже не представляла, что болезнь может так изуродовать человека: рытвины, язвы, трещины, короста и нарывы, которые, как мне казалось, лопались точно улитки, корчащиеся на тарелке с солью. Если бы там была моя мама, она бы сказала, что эти несчастные люди стали жертвами своих будущих мужей и жен, которые никогда не доедали то, что им было положено на тарелку.

Этот фильм навел меня на ужасную мысль. Я поняла, что надо делать, чтобы не выйти замуж за Арнольда. Я начала оставлять в своей чашке все больше и больше риса. И даже решила не ограничиваться китайскими блюдами. Я не доедала молочную кашу, брокколи, воздушный рис и бутерброды с ореховым маслом. А однажды, откусив от шоколадного батончика и увидав, сколько в нем темных пятен, какой он зернистый, тягучий и липкий, я и его принесла в жертву.

Я полагала, что, скорее всего, ничего с Арнольдом и не случится, что не

обязательно ему попадать в Африку и умирать от проказы. Но все-таки полностью такого поворота событий не исключала.

Он не умер прямо тогда. На самом деле это произошло примерно через пять лет. К тому времени я совсем отощала. Я прекратила есть, конечно не из-за Арнольда, о существовании которого давно забыла, а просто чтобы не отстать от моды, как все тринадцатилетние девчонки, которые ради хорошей фигуры сидят на диете и находят множество других способов себя помучить. В то утро я, как обычно, ждала, пока мама приготовит мне в школу пакет с завтраком, который я всегда выбрасывала, едва завернув за угол. Пала ел, одной рукой окуная ломти бекона в яичные желтки, а другой держа газету.

— Ну-ка послушайте, — сказал он, не отрываясь от еды. И именно тогда я услышала, что Арнольд Райсман, мальчик, который когда-то жил в Окленде по соседству с нами, умер от осложнения после кори. Он был только что принят в Калифорнийский университет в Хэйуорде и собирался стать хирургом, хотел специализироваться на болезнях ног.

— «Врачи не сразу поставили диагноз — такое осложнение, по их словам, встречается крайне редко и обычно поражает подростков в возрасте от десяти до двадцати лет через несколько месяцев или лет после того, как они переболели корью, — прочитал мой отец. — Мальчик, как сообщила его мать, перенес корь в легкой форме в двенадцатилетнем возрасте. Первые симптомы осложнения появились в этом году, когда у него начались нарушения двигательных функций и помрачение сознания, которое прогрессировало, пока он не впал в коматозное состояние. Семнадцатилетний подросток так и не пришел в себя».

— Ты знала этого мальчика? — спросил отец.

Я не могла вымолвить ни слова.

— Это стыд, — сказала, глядя на меня, мама. — Просто ужасный стыд.

Мне показалось, что она видит меня насквозь и знает, что Арнольд умер из-за меня. Я пришла в ужас.

В ту ночь я объелась. Я стащила из морозилки большую коробку клубничного мороженого и заталкивала в себя ложку за ложкой, после чего несколько часов меня рвало в эту же коробку. Я сидела, скрючившись, на пожарной лестнице у себя на балконе и, помню, удивлялась, почему мне было таи плохо, когда я съела столько хорошего, и стало так хорошо, когда меня вырвало какой-то гадостью.

Мысль, что я могла быть причиной смерти Арнольда, не так уж и нелепа. Возможно, ему действительно было предназначено стать моим

мужем. Даже сейчас я спрашиваю себя: разве в мире со всем его хаосом может быть столько случайных совпадений? Почему Арнольд сделал из меня мишень для стрельбы из рогатки? Почему заразился корью в тот самый год, когда я начала сознательно его ненавидеть? И почему я подумала в первую очередь об Арнольде, когда мама заглянула в мою чашку, и после этого так сильно его возненавидела? Может быть, ненависть просто следствие уязвленной любви?

Но даже убедив себя в том, что все это чушь, я не могу полностью отделаться от ощущения, что так или иначе мы получаем то, что заслуживаем. Я не получила Арнольда. Мне достался Харольд.

Мы с Харольдом работаем вместе, в одной архитектурной фирме, «Лайвотни и партнеры». Разница между нами только в том, что Харольд Лайвотни — шеф, а я — служащая. Мы с ним познакомились восемь лет назад, еще до того, как он организовал «Лайвотни и партнеры». Мне было двадцать восемь, я была младшим проектировщиком, Харольду было тридцать четыре. Мы оба работали в отделе дизайна и проектирования ресторанов в «Келли энд Дэвис».

Вначале, чтобы поговорить о работе, мы в перерыв ходили вместе обедать и всегда платили за еду поровну, хотя я, из-за своей склонности к полноте, обычно заказывала только салат. Позже, когда втайне от коллег мы стали назначать друг другу свидания в неслужебное время и отправлялись куда-нибудь поужинать, счет мы по-прежнему делили пополам.

Так и продолжали: всё ровно пополам. Я даже поощряла это. Иногда настаивала, что сама заплачу за все, что мы съели и выпили, плюс чаевые. Меня и вправду это не смущало.

— Лена, ты незаурядный человек, — сказал Харольд, после того как мы уже шесть месяцев ужинали вместе, пять месяцев после этих ужинов занимались любовью и уже целую неделю делали друг другу робкие и глупые признания в любви. Мы лежали в постели, застеленной новым бельем фиолетового цвета, которое я только что ему купила. Его старый комплект белого постельного белья был протерт на сгибах — не очень-то романтично.

Потом он ткнулся носом мне в шею и прошептал:

— Кажется, я никогда не встречал другой такой женщины, которая бы одновременно... — И я помню, как меня бросило в дрожь при словах «другой женщины», потому что я могла представить себе десятки, сотни влюбленных женщин, готовых завтраками, обедами и ужинами платить за

удовольствие ощущать дыхание Харольда на своей коже.

Он куснул меня за шею и сказал в приливе чувств:

— ...одновременно была бы такой нежной, милой и привлекательной, как ты.

А у меня все внутри замерло, я была потрясена этим новым свидетельством его любви, поражена тем, как такой выдающийся человек может считать меня незаурядной.

Сейчас, поскольку я злюсь на Харольда, мне трудно припомнить, что в нем было такого выдающегося. Я понимаю, что его хорошие качества и сейчас при нем, — не так уж я была глупа, когда влюбилась и вышла за него замуж. Но все, что я могу вспомнить, это как ужасно счастлива была и, соответственно, как боялась, что однажды незаслуженная удача от меня ускользнет. Когда я воображала себе, что мы с ним съедемся, всплывали все мои тайные страхи: а вдруг он скажет, что от меня плохо пахнет, что я не соблюдаю элементарных правил гигиены, не разбираюсь в музыке и смотрю по телевизору ужасную ерунду. Я боялась, что когда-нибудь Харольду выпишут новые очки и однажды утром он их наденет, осмотрит меня с головы до ног и скажет: «Что за черт, ты, оказывается, совсем не то, что я думал!»

Кажется, меня никогда не оставляло чувство страха, что в один прекрасный день я буду уличена в обмане. Правда, недавно моя подруга Роуз, которая сейчас ходит к психоаналитику, потому что ее брак уже распался, сказала, что подобные мысли характерны для таких женщин, как мы.

— Сначала я думала, это оттого, что нас воспитывали в духе китайской покорности, — сказала Роуз. — А может быть, оттого, что, если ты китаянка, предполагается, что ты должна со всем мириться, отдаться на волю Дао, плыть по течению и не поднимать волн. Но мой врач сказал: не сваливайте всё на свою культуру и этническую принадлежность. И тогда я припомнила одну статью про нас — поколение демографического взрыва. Там было написано, что мы с детства привыкли к тому, что все само идет нам в руки, и продолжаем думать, что надо было требовать от жизни еще большего, а на самом деле после определенного возраста нам уже не все дается так легко, как раньше, и из-за этого мы теряем уверенность в себе.

После разговора с Роуз я воспряла духом и подумала, что, конечно, во многих отношениях мы с Харольдом равны. Он не то чтобы классически красив, но все же очень привлекателен — если вам нравятся подтянутые интеллектуалы. Правда, и меня красоткой не назовешь, но женщины в моей группе по аэробике говорят, что у меня экзотическая внешность, и теперь,

когда в моде плоские фигуры, завидуют моей маленькой груди. Кроме того, один из моих клиентов сказал, что я невероятно жизнелюбива и энергична.

Так что, пожалуй, я заслуживаю такого мужа, как Харольд, — кроме шуток, и не в том смысле, что это моя плохая карма. Мы друг друга стоим. Я тоже неглупа. У меня трезвый ум и превосходно развитая интуиция. Ведь именно я убедила Харольда, что ему по силам открыть собственную фирму.

Когда мы еще работали в «Келли энд Дэвис», я сказала:

— Харольд, в этой фирме прекрасно понимают, как им с тобой повезло. Ты для них курица, которая несет золотые яйца. Если бы ты сегодня открыл свое собственное дело, за тобой ушла бы добрая половина клиентов.

А он рассмеялся и ответил:

— Всего половина? О боже! И это называется любовью?!

И я, тоже со смехом, завопила:

— Больше, чем половина! Тебе это проще простого. В фирме нет лучшего специалиста по дизайну. Ты это знаешь, я знаю, и многие проектировщики ресторанов тоже знают.

Именно в ту ночь он решил «дерзнуть», как он выразился. Лично у меня это слово вызывает отвращение: в банке, где я когда-то работала, «Дерзайте!» было главным лозунгом.

Тем не менее я сказала Харольду:

— Харольд, я хочу помочь тебе дерзнуть. Я понимаю: чтобы открыть дело, тебе понадобятся деньги.

Он и слышать не хотел о том, чтобы взять у меня деньги — ни в знак доброго отношения, ни займы, ни под видом капиталовложения, ни даже в качестве партнерского вклада. Он сказал, что слишком дорожит нашими отношениями и не хочет осложнять их из-за денег. Он объяснил:

— Я, как и ты, не нуждаюсь в подачках. Пока мы не впутаем в наши отношения денежные дела, мы всегда можем быть уверены в искренности своих чувств.

Мне хотелось протестовать. Мне хотелось сказать: «Нет! Мне совсем не нравится, как мы строим наши денежные отношения. Я с легкостью даю тебе эти деньги. Я хочу...» Но я не знала, с чего начать. Мне хотелось спросить его, кто, какая женщина так глубоко его ранила, что он боится принимать любовь во всех ее прекрасных проявлениях. Но тут я услышала, как он говорит то, чего я ждала уже очень-очень давно:

— На самом деле ты бы могла мне помочь, переехав ко мне. Тогда бы

ты вносила свою долю за квартиру, а у меня появились бы лишние пятьсот долларов в месяц...

— Отличная идея, — без промедления согласилась я, понимая, как неловко ему просить у меня такого рода помощь. Я была безумно счастлива, и мне даже в голову не пришло, что плата за мою старую квартиру составляла только четыреста тридцать пять долларов. В конце концов, квартира Харольда была куда лучше: три комнаты и прекрасный вид на залив. Она стоила того, чтобы платить за нее больше, с кем бы я ее ни делила.

Таким образом, не прошло и года, как мы с Харольдом ушли из «Келли энд Дэвис» и он открыл «Лайвотни и партнеры», где я стала работать координатором проектов. Но Харольд не получил половины клиентов «Келли энд Дэвис». Нет, «Келли энд Дэвис» пригрозили подать на него в суд, если он в течение следующего года переманит хотя бы одного их клиента. Он был этим сильно обескуражен, и я целый вечер вдохновляла его на дальнейшие подвиги, втолковывая, что у него не будет отбоя от собственных клиентов, займись он оригинальным дизайном ресторанов.

— Сколько еще можно наделать гриль-баров дуб с медью? — спрашивала я. — Кому еще нужны пиццерии в стиле слащавого итальянского модерна? Не поднадоели ли всем кабаки, где в каждом углу стоит полицейская машина? В городе пруд пруди ресторанов с перепевами одних и тех же старых тем. Найди свою нишу. Делай каждый раз что-нибудь особенное. Привлеки гонконговских вкладчиков, которые хотят вложить свои баксы в американскую изобретательность.

Он одарил меня одним из своих восхищенных взглядов, который говорил: «Обожаю твою наивность». А я обожала такие взгляды.

И, задыхаясь от переполнявших меня чувств, я продолжала:

— Ты... ты... мог бы сделать что-нибудь совершенно оригинальное, ну... ну... Домик в горах! Все домашнее, по мамулиным рецептам, мамуля на кухне в аккуратном фартучке, мамули-официантки, с поклоном предлагающие вам доесть супчик. Или, например... например, сделать ресторан с литературным меню... еда из романов... сэндвичи из детективов Сандерса, десерты прямо из «Ревности» Норы Эфрон. И что-нибудь мистическое, или шутки и розыгрыши, или...

И ведь Харольд послушал меня. Он использовал мои идеи, развив их с присущей ему методичностью и широтой кругозора. Он претворил их в жизнь. Но я не забыла, что идеи-то были мои.

А сейчас «Лайвотни и партнеры» — развивающаяся фирма с двенадцатью постоянными сотрудниками; наша специализация —

тематический ресторанный дизайн, или, как я выражаюсь, «жратва на тему». Харольд — разработчик концепций, главный архитектор, дизайнер и организатор презентаций, другими словами — ответственный за расширение клиентуры. Я работаю под началом дизайнера по интерьеру, потому что, как объясняет Харольд, если он будет продвигать меня наверх только как свою жену, это будет некорректно по отношению к другим служащим — так он решил еще пять лет назад, через два года после открытия «Лайвотни и партнеры». И хотя я отлично разбираюсь в том, что делаю, формально я никогда этому не училась. Только в университете, где я специализировалась на проблемах азиатской диаспоры в Америке, я прослушала один более или менее близкий к моим теперешним занятиям курс по сценографии — мы ставили в студенческом театре «Мадам Баттерфляй».

В «Лайвотни и партнеры» я отвечаю за тематические элементы. Когда мы оформляли ресторан под названием «Рыбацкие байки», одной из моих признанных всеми находок был желтый шлюп из лакированного дерева, на борту которого было написано «Трави помалу»; и именно я придумала, что меню должны висеть на миниатюрных удочках, а на салфетках нужно отпечатать таблицы для перевода дюймов в футы. При проектировании магазина деликатесов под названием «Ужин у шейха» именно я предложила, чтобы заведение походило на восточный базар из фильма «Лоуренс Аравийский», и догадалась разложить чучела кобр на поддельной голливудской гальке.

Я люблю свою работу, но стараюсь поменьше о ней думать. А когда думаю и вспоминаю, сколько я за нее получаю, как много работаю и как Харольд справедлив ко всем, кроме меня, то расстраиваюсь.

Конечно же, мы равны, если не считать того, что Харольд получает в семь раз больше меня. Ему об этом тоже известно, поскольку он сам раз в месяц подписывает чек, деньги с которого потом идут на мой отдельный счет.

Надо признать, что со временем такое «равенство» начало меня раздражать. Я смутно чувствовала: что-то мне тут не нравится, но сама не знала что. А примерно неделю назад все стало ясно. Я убирала со стола после завтрака, а Харольд прогрел машину — мы собирались на работу. И вдруг я увидела на стойке бара развернутую газету, на ней очки Харольда и его любимую кофейную чашку с отбитой ручкой. Меня окружали мелочи нашей повседневной жизни, все эти привычные свидетельства нашей близости, и почему-то от этого у меня все замерло внутри и, как в нашу первую ночь, возникло острое желание: отказаться от

всего ради него, подчинить всю свою жизнь ему, ничего не требуя взамен.

Когда я села в машину, это чувство еще владело мной, и я, дотронувшись до его руки, сказала:

— Харольд, я люблю тебя.

подавая машину назад, он взглянул в зеркало заднего вида и произнес:

— Я тоже тебя люблю. Ты заперла дверь?

И в этот момент у меня промелькнула мысль: нет, что-то у нас не так.

Харольд, позвякивая ключами от машины, говорит:

— Я еду вниз купить что-нибудь к обеду. Бифштексы подойдут? Хочешь чего-нибудь особенного?

— У нас кончился рис, — вовремя вспоминаю я и со значением киваю в сторону мамы, стоящей ко мне спиной. Она смотрит из кухонного окна на решетки, увитые бугенвиллеей. Харольд скрывается за дверью, я слышу приглушенный шум мотора и потом, когда машина трогается с места, — хруст гравия.

Мы с мамой остаемся в доме одни. Я начинаю поливать цветы. Мама, привстав на цыпочки, разглядывает список, прикрепленный к дверце холодильника.

В списке стоят наши имена — Лена и Харольд, и под ними перечислено, что каждый из нас купил и сколько это стоило:

### *Лена*

Курица, овощи, хлеб, брокколи, шампунь, пиво \$19.63

Мария (уборка + чаевые) \$65

Бакалея (см. список) \$55.15

Петуния, земля для цветов \$14.11

Проявка пленок \$13.83

### *Харольд*

Покупки для гаража \$25.35

Покупки для ванной \$5.41

Покупки для машины \$6.57

Осветительные приборы \$87.26

Гравий для дорожки \$ 19.99

Газ \$22.00

Техосмотр \$35

Кино и обед \$65

Мороженое \$4.50

Так обстоит дело на этой неделе. Харольд уже истратил почти на сто долларов больше, поэтому я должна буду перевести на его счет что-то около пятидесяти долларов.

— Что здесь написано? — спрашивает мама по-китайски.

— Да ничего особенного. Просто мы за всё платим пополам, — я стараюсь ответить как можно небрежнее.

Мама смотрит на меня и хмурится, но ничего не говорит. Снова принимается изучать список, на этот раз более внимательно, водя пальцем по каждой строчке.

Мне неловко: я ведь знаю, что она там видит. Хорошо хоть, ей неизвестна вторая половина — наши споры. В процессе бесконечных обсуждений мы с Харольдом достигли некоего соглашения и решили не включать в список личные расходы, такие как тушь, лосьон для бритья, лак для волос, лезвия, тампоны или тальк для ног.

Когда мы расписывались, он настоял, что сам заплатит за регистрацию. Фотографировать я позвала своего приятеля Роберта. На вечеринку, которую мы устроили в нашей квартире, каждый гость принес шампанское. При покупке дома мы договорились, что наши доли в ежемесячной выплате кредита будут рассчитываться пропорционально нашим доходам и что мне будет причитаться соответствующий процент от нашей общей собственности, — так записано в брачном контракте. Поскольку Харольд платит больше, ему принадлежит право решать, как должен выглядеть дом. У нас просторно, в комнатах нет ничего лишнего — он называет это «обтекаемым стилем», — и все вылизано до блеска, чтобы «не прерывать линию», хотя я и не стала бы жертвовать уютом ради порядка. Что же касается отпусков, когда мы выбираем вместе, то и платим пополам. Остальные оплачивает Харольд, например в качестве подарка ко дню рождения, Рождеству или какой-нибудь годовщине.

Мы ведем чуть ли не философские споры относительно вещей с неоднозначной принадлежностью, вроде моих противозачаточных таблеток; либо по поводу домашних приемов: кто берет на себя расходы, если приглашенные — его клиенты и одновременно мои друзья по колледжу; или из-за кулинарных журналов, на которые я подписываюсь, а он их тоже читает; но просто от скуки, а не потому, что сам бы их для себя выбрал.

И мы до сих пор не пришли к согласию относительно Миругея, кота — заметьте, ни нашего, ни моего, а просто кота, которого Харольд купил мне в подарок на день рождения в прошлом году.

— Как! Ты и за это платить?! — изумленно восклицает моя мать. Я

пугаюсь, думая, что она прочитала мои мысли про Миругея. Но потом вижу, что она показывает на слово «мороженое» в списке Харольда. Мама, должно быть, помнит тот случай с пожарной лестницей, на которой она нашла меня, дрожащую и измученную, сидящую над коробкой с переработанным в моем организме мороженым. С тех пор я его не выношу. И тут я с ужасом понимаю: Харольд до сих пор не заметил, что я никогда не ем мороженого, которое он приносит домой каждую пятницу.

— Почему ты это делаешь?

В мамином голосе звучит обида, как будто я повесила этот список специально, чтобы ее задеть. Я раздумываю, как бы ей это объяснить, припоминаю слова, которые мы с Харольдом когда-то произносили: «Таким образом мы избежим ложной зависимости... Мы равны... Любовь без обязательств...» Но мама никогда не поймет этих слов.

Поэтому я говорю ей совсем другое:

— Сама не знаю. Мы начали так делать еще до того, как поженились. И почему-то до сих пор не прекратили.

Вернувшись из магазина, Харольд начинает разводить огонь. Я разбираю покупки, кладу бифштексы в маринад, варю рис и накрываю на стол. Мама сидит на высоком табурете у гранитной стойки бара и пьет кофе, который я для нее сварила. Она поминутно вытирает доньшко чашки бумажными салфетками, вытаскивая их из рукава своего свитера.

Во время обеда беседу поддерживает Харольд. Он рассказывает о своих планах по дальнейшему обустройству дома: сделать стеклянную крышу, посадить вдоль дорожек тюльпаны и крокусы, вырубить сумах, пристроить новое крыло, облицевать ванную комнату плиткой в японском стиле. Потом он убирает со стола и ставит тарелки в моечную машину.

— Кто готов приступить к десерту? — спрашивает он, открывая морозилку.

— Я сыта, — говорю я.

— Лена не может кушать мороженое, — говорит мама.

— Похоже на то. Она всегда на диете.

— Нет, она никогда не кушать его. Она не любит.

Харольд улыбается и недоуменно смотрит на меня, как бы ожидая перевода того, что сказала мама.

— Эта правда, — говорю я ровным голосом. — Я ненавидела мороженое почти всю свою жизнь.

Харольд смотрит на меня так, будто я тоже говорила по-китайски и он ничего не понял.

— Нда... А я-то думал, ты просто стараешься сбросить лишний вес... Ну ладно.

— Она стать такая худая, что ты не видишь ее, — говорит мама. — Она исчезать как привидение.

— Что верно, то верно! Хорошо сказано! — восклицает, рассмеявшись, Харольд; он успокаивается, решив, что мама любезно старается его спасти.

После обеда я кладу чистые полотенца на постель в комнате для гостей. Мама сидит на кровати. Комната обставлена в спартанском вкусе Харольда: двуспальная кровать с белым, без рисунка, бельем и белым одеялом, натертый деревянный пол, полированное дубовое кресло и пустые серые стены.

Единственным украшением комнаты служит нечто странное рядом с кроватью: ночной столик, сооруженный из неровно обрезанной мраморной плиты; плиту подпирают поставленные крест-накрест тоненькие палочки, покрытые черным лаком. Мама кладет свою сумку на столик, и цилиндрическая черная ваза на нем начинает шататься. Фрезии в вазе дрожат.

— Осторожно, он не очень-то устойчив, — говорю я.

Столик, который Харольд смастерил в свои студенческие годы, имеет довольно жалкий вид. Я всегда удивлялась, почему он им так гордится. Полная несоразмерность линий. Ни намек на «обтекаемость», которая так важна для Харольда сейчас.

— Какая польза? — спрашивает мама, покачав столик рукой. — Ты класть еще что-нибудь, оно падать. *Чуньван чихань.*

Я оставляю маму в ее комнате и возвращаюсь вниз. Харольд открывает окна, чтобы впустить свежий воздух. Он делает это каждый вечер.

— Мне холодно, — говорю я.

— Что?

— Не мог бы ты закрыть окна?

Он смотрит на меня, вздыхает, улыбается, закрывает окна, садится на пол, скрестив ноги, и наугад открывает журнал. Я сижу на диване и клоочу от гнева — не знаю почему. Не потому, что Харольд что-то не так сделал. Харольд это просто Харольд.

Еще до того как это сделать, я уже знаю, что начинаю битву, которая мне не по силам. И тем не менее я подхожу к холодильнику и вычеркиваю из списка покупок «мороженое».

— Что происходит?

— Я просто считаю, что хватит мне платить за твое мороженое.

Он в изумлении пожимает плечами.

— Согласен.

— Почему ты так чертовски справедлив?! — кричу я.

Харольд откладывает журнал и смотрит на меня уже с раздражением.

— Ну что еще? Объясни, в чем дело.

— Не знаю... Я не знаю, в чем. Во всем... в том, как мы всё считаем. В том, за что мы платим пополам. За что не платим пополам. Мне надоело складывать, вычитать, делить на равные части. Меня от этого тошнит.

— Но ты же сама хотела кошку.

— О чем ты говоришь?

— Ну хорошо. Если ты полагаешь, что я был несправедлив относительно средства от блох, давай заплатим за него пополам.

— Не в этом дело!

— Тогда скажи, пожалуйста, в чем?

Я начинаю плакать, хоть и знаю, что Харольд это ненавидит. Плач всегда выводит его из себя и злит. Он воспринимает слезы только как средство на него воздействовать. Но я ничего не могу с собой поделать, так как вдруг понимаю, что не знаю, о чем же, собственно, спор. Мне нужна финансовая поддержка? Я добиваюсь права платить меньше половины? Считаю, что и вправду пора прекращать эти бесконечные расчеты? А не станем ли мы тогда считать про себя? Не будет ли Харольд заводиться, платя больше? И потом, если нарушится равенство, не стану ли я чувствовать себя бедной родственницей? А может быть, все дело в том, что нам не стоило жениться. Может быть, Харольд просто плохой человек. Может быть, я его сделала таким.

Нет, все это чушь. Какая-то бессмыслица. Осознав, что сама себя загнала в тупик, я прихожу в отчаяние.

— Я просто думаю, нам надо что-то изменить, — произношу я, когда мне кажется, что я овладела своим голосом. Но конец фразы вырывается со всхлипом. — Нам надо подумать, на чем основан наш брак на самом деле... не на этом же листке с подсчетами, кто кому сколько должен.

— Черт, — говорит Харольд. Потом он вздыхает и откидывается назад, как будто собираясь все это обдумать, и в конце концов произносит обиженным голосом: — Ну, я-то знаю, что в основе нашего брака нечто гораздо большее, чем листок с подсчетами. Гораздо большее. И если ты так не считаешь, я бы посоветовал тебе, прежде чем начать что-то менять, хорошенько обдумать, что тебе еще нужно.

Теперь я уж вовсе не знаю, что и думать. О чем я говорю? О чем говорит он? Мы сидим, не произнося ни слова. Атмосфера в комнате

напряженная. Я смотрю в окно на долину: сотни рассыпанных далеко внизу огоньков, мерцающих в летнем тумане. А потом я слышу звук бьющегося стекла наверху и скрип отодвигаемого кресла.

Харольд привстает, но я говорю:

— Не надо, я сама посмотрю.

Дверь открыта, но в комнате темно, поэтому я зову:

— Мам?

И тотчас же вижу: мраморная столешница свалилась со своих тоненьких черных ножек. Сбоку от нее лежит черная ваза — гладкий цилиндр, расколотый пополам, — и фрезии в луже воды.

А потом я вижу маму, сидящую у открытого окна, — темный силуэт на фоне ночного неба. Она поворачивается в кресле, но мне не видно ее лица.

Она говорит только:

— Упало. — Она не извиняется.

— Ничего страшного, — говорю я и начинаю собирать осколки. — Я знала, что это случится.

— Тогда почему ты этому не помешала? — спрашивает мама.

И это такой простой вопрос.

## Уэверли Чжун

### На четырех ветрах

В надежде привести маму в хорошее расположение духа я пригласила ее на обед в свой любимый китайский ресторан, но это обернулось катастрофой.

Не успели мы встретиться в ресторане «На четырех ветрах», как она уже нашла повод для недовольства:

— Ай-йя! Что ты сделала со своими волосами? — спросила она меня по-китайски.

— О чем ты? — сказала я. — Что сделала? Подстриглась! — Мистер Роури сделал мне в этот раз новую прическу: асимметричная косая челка — слева короче, чем справа. Это модно и не то чтобы очень уж экстравагантно.

— Да тебя просто обкорнали! — сказала мама. — Требуй деньги назад. Я вздохнула.

— Давай пообедаем и не будем портить друг другу настроение, ладно?

Изучая меню, она, по своему обыкновению, поджала губы и сморщила нос, приговаривая:

— Не очень-то много вкусный этот меню. — Потом похлопала официанта по руке, провела пальцем по своим палочкам и фыркнула: — Вы что, думать, я буду с этот есть?! Они сальные! — Устроила целое представление, сполоснув свою чашку для риса горячим чаем, и потом настоятельно порекомендовала другим посетителям ресторана, сидевшим неподалеку от нас, сделать то же самое. Велела официанту, перед тем как принести суп, удостовериться, что он горячий, и конечно же, попробовав первую ложку, возмущенно заявила, что суп нельзя назвать даже теплым.

— Не стоит так волноваться по пустякам, — сказала я маме, после того как она произнесла целую тираду по поводу лишних двух долларов за хризантемовый чай, который она заказала вместо обычного зеленого. — Стрессы не на пользу твоему сердцу.

— Мой сердце полный порядок, — обиженно фыркнула она, не спуская презрительного взгляда с официанта.

И в этом она права. Несмотря на все нагрузки, которые она взваливает на себя — и на других тоже, — доктора уверяют, что у моей мамы в возрасте шестидесяти девяти лет давление как у шестнадцатилетней девочки и сил как у лошади. А она и есть Лошадь — 1918 год рождения, —

которой предназначено быть упрямой и прямолинейной вплоть до бестактности. Мы с ней не подходим друг к другу по характеру, потому что я Кролик — 1951 год рождения, — что предполагает чувствительность, ранимость и болезненную реакцию на малейшую критику.

После нашего неудачного обеда я почти окончательно рассталась с надеждой, что когда-нибудь наступит благоприятный момент для того, чтобы сообщить ей новость: мы с Ричем Шилдсом собираемся пожениться.

— Почему ты так нервничаешь? — спросила меня моя подруга Марлин Фербер, когда мы как-то вечером разговаривали по телефону. — Ведь Рич не какой-нибудь лоботряс, он такой же налоговый инспектор, как и ты. Что она может иметь против?

— Ты не знаешь мою мать, — сказала я. — Ей никто никогда не может угодить.

— Тогда распишитесь тайком, — сказала Марлин.

— Это мы уже проходили с Марвином. — Марвин был моим первым мужем, моей студенческой любовью.

— Тем более, — заключила Марлин.

— Ну уж нет! — ответила я. — Когда мама об этом узнала, она запустила в нас тапкой. И это были только цветочки.

Моя мама незнакома с Ричем. Всякий раз, когда я произношу его имя, — например, говорю, что мы с Ричем ходили на симфонический концерт или что Рич водил мою четырехлетнюю дочь Шошану в зоопарк, — мама тут же находит способ поменять тему.

— Я тебе говорила, — начала я, пока мы ждали счет в ресторане, — что Шошане очень понравилось в Музее научных исследований, куда ее водил Рич? Он...

— О, — перебила мама, — забыть сказать. Врачи говорят, твой отец надо медицинский обследовать. Нет-нет, сейчас они сказать, всё в порядке, только он слишком часто запоры.

И я окончательно сдалась. Дальше все пошло как обычно.

Я расплатилась десятидолларовой купюрой и тремя бумажками по одному доллару. Мама пододвинула к себе счет, точно высчитала, сколько мелочи мы должны, — восемьдесят семь центов, — положила это на поднос в обмен на один доллар и, сурово заявив: «Нет на чай!», с торжествующей улыбкой откинула голову. Когда она вышла в туалет, я быстро подала официанту пять долларов. Он кивнул мне с полным пониманием. Во время маминого отсутствия я разработала новый план.

— *Чисылэ!* Там жуткий вонь! — проворчала мама вернувшись. Придвинула ко мне маленькую дорожную упаковку бумажных салфеток. В общественных местах она пользуется только своей туалетной бумагой. — Тебе не надо?

Я покачала головой.

— Я отвезу тебя домой, но сначала давай заедем на минутку ко мне. Хочу тебе кое-что показать.

В моей квартире мама не была уже несколько месяцев. Во время моего первого замужества она все время заявлялась к нам без предупреждения, пока однажды я не предложила ей хотя бы звонить заранее. С тех пор она приходит ко мне только по приглашению.

И теперь я с интересом ждала, как она прореагирует на изменения в моем жилище — от образцового порядка, который я поддерживала после развода, когда у меня вдруг появилась куча времени для упорядочения своей жизни, до теперешнего хаоса, полного жизни и любви. Пол в холле был завален игрушками Шошаны — яркими пластмассовыми штучками, большей частью поломанными. В гостиной лежали гантели Рича, на кофейном столике стояли две забытые рюмки, валялись остатки телефона, который Шошана и Рич в один прекрасный день полностью распотрошили, чтобы посмотреть, откуда появляются голоса.

— Туда, — сказала я и повела маму в глубь квартиры, в спальню. Постель была незастелена, шкаф открыт, из незадвинутых ящиков свисали носки и галстуки. Мама переступала через разбросанную обувь, Шошанины игрушки, черные шлепанцы Рича, мои платки и кучу белых мужских рубашек — только что из прачечной.

На ее лице появилось выражение страдальческого неприятия, и я вспомнила, как много лет назад она водила нас с братьями на прививку от полиомиелита. Когда игла вонзилась в руку моего брата и он вскрикнул, мама посмотрела на меня с глубоким страданием на лице и заверила: «Следующий больно не будет».

Но сейчас, как могла она *не* заметить, что мы живем вместе, что это всерьез и надолго, даже если она не будет об этом говорить? Она должна что-нибудь сказать.

Я подошла к стенному шкафу и достала норковый жакет, который Рич подарил мне на Рождество. Это был самый экстравагантный подарок из всех, которые я когда-либо получала.

Я надела жакет.

— Дурацкий подарок, — сказала я нервничая. — Вряд ли в Сан-

Франциско когда-нибудь будет настолько холодно, чтобы носить норку. Но, кажется, сейчас стало пискотом покупать такие вещи женам и подругам.

Мама промолчала. Она посмотрела в сторону стеного шкафа, ломящегося от коробок с обувью, галстуков, моих платьев, костюмов Рича, потом провела пальцами по моей норке.

— Не так хороший, — сказала она наконец. — Этот просто обрезки. Мех короткий, не так длинный ворс.

— Как ты можешь критиковать подарок! — возмутилась я, почувствовав себя глубоко задетой. — Он же от всей души...

— Именно этот меня и беспокоит, — сказала она.

Взглянув на жакет в зеркало, я почувствовала, что больше не могу противостоять силе ее воли, ее способности заставлять меня видеть черное вместо белого и белое вместо черного. Жакет выглядел жалкой подделкой под что-то романтическое.

— Больше ты ничего не хочешь мне сказать? — спросила я мягко.

— Что я должна сказать?

— Что-нибудь по поводу квартиры... По поводу этого... — Я обвела рукой все окружающие нас признаки пребывания Рича в доме.

Она оглядела комнату, потом холл и наконец сказала:

— У тебя карьера. Ты занята. Ты хочешь жить как в хлеву, что я могу сказать?

Моя мать знает, как попасть по нерву. И боль, которую я при этом испытываю, гораздо хуже любого другого страдания. Потому что мама умеет наносить молниеносные — как электрический разряд — удары, которые не забываются. Я до сих пор помню, как это было в первый раз.



Мне было десять лет. Но уже тогда я знала, что владею особым даром. Игра в шахматы давалась мне без малейших усилий. Я видела на шахматной доске то, чего не видели другие. Я умела защищаться, создавая не видимые противникам преграды. Эта способность делала меня заносчивой и самоуверенной. Я предвидела все ходы своих противников. Я точно знала, в какой момент у них вытянутся лица: кто мог подумать, что моя, казалось бы, по-детски незамысловатая стратегия обернется для них полнейшим поражением? Я любила выигрывать.

А моя мама любила выставлять меня на всеобщее обозрение, точно

какой-нибудь из моих многочисленных призов, которые она без устали полировала. Она взяла в привычку рассказывать о моих играх так, будто сама разрабатывала стратегию.

— Я посоветовать свой дочь: наступать кони на враг, — говорила она владельцу лавки на Стоктон-стрит. — Она послушать и легко выиграть.

Она и вправду говорила мне это перед турниром и давала, кроме того, еще сотню бесполезных советов, не имевших никакого отношения к игре.

Своим друзьям, когда они нас навещали, она доверительно сообщала:

— Чтобы выигрывать шахматы, не надо быть такой умный. Просто немного хитрость: вы наступать с север, юг, восток и запад, и ваш противник не знать, какой сторона бежать.

Я терпеть не могла, когда она начинала хвастаться. И однажды, прямо на улице, в окружении целой толпы, я ей всё выложила. Я сказала, что раз она ничего не понимает в шахматах, то нечего устраивать представления, а лучше бы уж помолчать. Что-то в этом роде.

В тот вечер и на следующий день она со мной не разговаривала. Отец и братья были удостоены нескольких холодных фраз, а я как будто стала невидимкой и заслуживала внимания не больше, чем выкинутая на помойку протухшая рыба, после которой остался дурной запах.

Этот коварный прием — заставить человека в страхе отшатнуться и угодить в ловушку — был мне хорошо знаком. Поэтому я тоже ее игнорировала: не стала разговаривать и ждала, пока она сама ко мне придет.

Довольно много дней прошло в молчании. Я сидела у себя комнате, уставившись на шестьдесят четыре квадрата шахматной доски, и старалась что-нибудь придумать. Тогда-то я и решила прекратить играть в шахматы.

Конечно, о том, чтобы перестать играть навсегда, я и не думала. Максимум на несколько дней. И я это продемонстрировала. Вместо того чтобы, как обычно по вечерам, тренироваться у себя в комнате, я прошествовала в гостиную и уселась перед телевизором рядом с братьями, уставившимися на меня, как на незваного гостя. Братьев я решила использовать в качестве одного из средств для достижения своей цели и, сидя рядом с ними, стала щелкать пальцами, чтобы им досадить.

— Ма! — закричали они. — Скажи ей, чтобы она прекратила. Скажи, чтобы она ушла.

Но мама не произнесла ни слова.

В тот момент это меня не встревожило. Но я поняла, что надо действовать более решительно и пожертвовать турниром, который состоится через неделю. Если я откажусь в нем участвовать, то матери

волей-неволей придется со мной об этом поговорить. Потому что спонсоры и всякие благотворительные организации начнут ей звонить, спрашивать, кричать, умолять, чтобы она заставила меня играть.

Турнир начался и закончился. Но она не пришла ко мне со слезами на глазах: «Почему ты не играешь?» Плакать пришлось мне, когда выяснилось, что выиграл мальчик, которого я легко победила на двух предыдущих соревнованиях.

Я поняла, что моей матери известно больше хитростей, чем я думала. Но я уже устала от ее игры. Мне хотелось начать готовиться к следующему турниру. Поэтому я решила сделать вид, что она победила, и я, так и быть, заговорю первая.

— Я готова опять играть в шахматы, — объявила я ей. И уже представляла себе, как она улыбнется и спросит, чего бы такого вкусенького мне приготовить.

Но она только нахмурилась и посмотрела мне в глаза так, словно добивалась какого-то признания.

— Ты мне этот говорить зачем? — наконец резко сказала она. — Думать, этот так легкий? Сегодня ты играть бросать, завтра начинать опять. У тебя всё так: быстрый, легкий и простой.

— Я сказала, что буду играть, — почти простионала я.

— Нет! — закричала она так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. — Это уже не так легкий, как был.

Хоть я и не поняла ее слов, они нагнали на меня страху. Я пошла к себе в комнату и, уставившись на шахматную доску, на шестьдесят четыре квадрата, стала придумывать, как выбраться из этой ужасной истории. Проведя несколько часов за этим занятием, я в конце концов начала видеть вместо белых квадратов черные, а вместо черных белые, и мне показалось, что теперь все будет в порядке.

И, конечно же, я заставила ее пойти на попятный. В ту ночь у меня поднялась температура, и она сидела у моей постели, выговаривая мне за то, что я ходила в школу без куртки. И утром она была на том же месте и кормила меня рисовой кашей на собственноручно процеженном курином бульоне. Она сказала, что мне это необходимо, потому что у меня куриная оспа,<sup>[7]</sup> а одна курица знает, как победить другую. И днем она сидела в кресле в моей комнате и вязала розовый свитер, рассказывая, какой свитер тетя Суюань связала своей дочери Джун, какую плохую пряжу она для него выбрала и какой он получился некрасивый. И я была счастлива, что мама снова стала такой, как обычно.

Но, поправившись, я обнаружила, что на самом деле моя мама

изменилась. Она больше не крутилась поблизости, когда я тренировалась. Перестала ежедневно начищать до блеска мои кубки. Перестала вырезать из газет каждую заметочку, в которой упоминалось мое имя. Она как будто возвела между нами невидимую стену, которую я каждый день тайком ощупывала, чтобы понять, насколько она высокая и толстая.

В следующем турнире, играя в целом неплохо, я не набрала достаточного для призового места количества очков. Но что было еще хуже — мама ничего не сказала. Она выглядела очень довольной, как будто все шло по ее плану.

Мне стало страшно. Каждый день я по многу часов размышляла о том, что потеряла. Я знала, что дело не только в последнем турнире. Я вспоминала каждый ход, каждую фигуру, каждый квадрат. И поняла, что больше не вижу тайного оружия своих фигур и не владею магической силой, скрытой внутри черных и белых квадратов. Я видела только собственные ошибки и собственные слабости. Как будто я лишилась своей волшебной брони, и всем это видно, и поэтому со мной каждому легко справиться.

Проходили недели, месяцы, годы. Я продолжала играть, но уже без прежней уверенности и сознания своего превосходства. Я билась изо всех сил, со страхом и отчаянием. Выигрывая, испытывала чувство благодарности и успокоения. Проигрывая, ощущала буквально панический ужас оттого, что перестала быть вундеркиндом, что потеряла свой чудесный дар и превратилась в заурядного игрока.

Дважды проиграв тому мальчику, которого я еще несколько лет назад с легкостью обыгрывала, я навсегда бросила шахматы. И никто меня не отговаривал. Мне было четырнадцать лет.

— Слушай, я тебя просто не понимаю, — сказала Марлин, когда я позвонила ей на следующий вечер после того, как продемонстрировала маме норковый жакет. — Ты можешь послать к чертовой бабушке налоговую инспекцию и не знаешь, как противостоять собственной матери.

— Я могу сколько угодно готовиться к обороне, но ей достаточно будто бы невзначай вкрадчивым голосом обронить несколько замечаний, и это будет хуже дымовой шашки и ядовитых стрел, и...

— Почему ты ей не скажешь, чтобы она перестала тебя мучить? — спросила Марлин. — Скажи, чтобы она перестала портить тебе жизнь и помалкивала.

— Ты шутишь, — усмехнулась я. — Ты хочешь, чтобы я велела своей матери замолчать?

— Конечно, почему бы и нет?

— Не знаю, написано ли что-нибудь по этому поводу в законах, но китайской матери ни при каких обстоятельствах нельзя сказать, чтобы она замолчала. Тебя сочтут сообщником собственного убийцы.

Я не настолько боюсь своей матери, сколько беспокоюсь за Рича. Я заранее знаю, что она будет делать, как станет нападать на него, в чем упрекать. Вначале она будет вести себя как ни в чем не бывало. Потом скажет одно лишь словечко о какой-нибудь мелочи, бросившейся ей в глаза, потом второе, третье, они будут падать на меня, точно горсти песка, то с одной, то с другой стороны, еще и еще, пока полностью не изменят мое представление о его внешности, о его характере, о его душе. И даже разгадав эту стратегию, эти ее коварные приемчики, я все равно буду бояться, что мне в глаза попадут невидимые крупички правды и его образ исказится: из полуангела, каким я его сейчас воспринимаю, он превратится во вполне земного, заурядного человека с противными привычками и раздражающими недостатками.

Так случилось с моим первым мужем, Марвином Ченом, с которым мы сошлись, когда мне было восемнадцать лет, а ему девятнадцать. Пока я была влюблена в Марвина, он казался мне почти совершенством. Он закончил с отличием Лоуэлл<sup>[8]</sup> и получил стипендию в Стэнфорде. Он играл в теннис. У него были накачанные мышцы и сто сорок шесть прямых черных волосинок на груди. Он всегда всех смешил, и его собственный смех был глубоким, звучным и сексуальным. Он гордился собой, потому что для занятий любовью у него были любимые позиции — для разных дней недели и разного времени суток свои; ему достаточно было прошептать: «Среда после обеда», и меня бросало в дрожь.

Но со временем, наслушавшись разных замечаний моей матери, я увидела, что его мозги настолько ссохлись от лени, что стали пригодны лишь для придумывания оправданий. Гонясь за теннисными мячами и шарами для гольфа, он сбегал от семейных обязанностей. Он с таким увлечением ощупывал глазами ноги других девушек, что забывал прямую дорогу домой. Ему нравилось подшучивать над людьми, чтобы выставить их на посмешище. Он устраивал целые шоу, давая кому ни попадя чаевые по десять долларов, но скупился на подарки семье. Он думал, что вылизывать свою красную спортивную машину гораздо важнее, чем возить на ней жену.

Мое отношение к Марвину не превратилось в ненависть. Нет, в каком-то смысле было хуже. Пришло разочарование, которое сменилось презрением, а потом вялой скукой. И только после развода, ночами, когда

Шошана спала и я оставалась сама с собой, меня стала посещать мысль, что, возможно, это моя мать отравила наш брак.

Слава богу, яд не коснулся моей дочери, Шошаны. Хотя я чуть не сделала аборт. Я пришла в бешенство, когда обнаружила, что беременна. Свою беременность я воспринимала как «растущую обиду» и даже поволокла Марвина с собой в клинику, чтобы он тоже помучился. Но мы по ошибке обратились не в ту клинику. Нас заставили посмотреть фильм — ужасный пуританский фильм для прочистки мозгов. Я увидела крохотные комочки, которые они называют младенцами даже в семь недель, у них были тонюсенькие-тонюсенькие пальчики. В фильме говорилось, что эти детские полупрозрачные пальчики могут шевелиться, что мы должны представить себе, как они цепляются за жизнь, хватаются за свой шанс, просят подарить и им чудо жизни. Покажи они что угодно, а не эти тоненькие пальчики... Но, слава богу, нам показали именно это. Потому что Шошана — настоящее чудо. Изумительный ребенок. Я восхищалась каждой ее черточкой, и особенно тем, как она сжимала и разжимала свои кулачки. С того момента, как она взмахнула ручонкой и закричала, я знала, что никто никогда не заставит меня изменить мое отношение к ней.

Но за Рича я беспокоюсь. Потому что знаю: мои чувства к нему уязвимы и могут не выдержать подозрений, намеков моей матери и ее мимолетных замечаний. И я боюсь, что очень много тогда потеряю, потому что Рич Шилдс обожает меня ничуть не меньше, чем я — Шошану. Его любовь ко мне непоколебима. Ничто не может изменить ее. Он ничего от меня не ждет: самого факта моего существования ему достаточно. И в то же время он говорит, что сам изменился — в лучшую сторону — благодаря мне. Он трогательно романтичен и утверждает, что никогда таким не был, пока не встретил меня. Это признание только облагораживает его романтические жесты. Например, на работе, помечая знаком МНВР — «Материал направляется на ваше рассмотрение» — официальные письма и отчеты, которые должны попасть ко мне, он приписывает внизу: «МНВР — мы навсегда вместе и рядом». В фирме не знают о наших отношениях, и меня приятно волнуют такого рода проявления безрассудства с его стороны.

Что по-настоящему изумило меня, так это его поведение в постели. Я думала, он из таких сдержанных партнеров, с мягкими манерами, неловких и неуклюже нежных, которые спрашивают: «Тебе не больно?», когда женщина вообще ничего не ощущает. Но он настолько чутко реагирует на каждое мое движение, что я уверена: он читает мои мысли. Для него нет

ничего запретного, и его неизменно восхищает все, что бы он ни открыл во мне. Он знает всю мою подноготную — не только по части секса, нет, но и мою теневую сторону, мои дурные привычки, мелочность, отвращение к себе — все, что я обычно скрываю от других. Поэтому с ним я полностью обнажена; и когда что-нибудь меня сильно задевает — когда одно неверное слово может заставить меня опрометью убежать и больше никогда не вернуться, — он всегда произносит то, что нужно, и в самый нужный момент. Он не дает мне закрыться. Он берет меня за руки, смотрит прямо в глаза и говорит что-нибудь новое о том, почему он меня любит.

Я никогда не знала такой чистой любви и боюсь, как бы моя мать ее не запятнала. Поэтому я стараюсь сохранить в памяти всю свою нежность по отношению к Ричу, чтобы, когда понадобится, извлечь ее оттуда.

После долгих размышлений я составила блестящий план. Я придумала, как познакомить Рича с моей матерью и дать ему возможность завоевать ее сердце. Я устроила так, чтобы маме захотелось приготовить что-нибудь специально для него. В осуществлении этого замысла мне помогла тетя Суюань. Тетя Су — старинная приятельница моей матери. Они очень дружны; это значит, что они вечно донимают друг дружку: хвастаются, делясь разными маленькими секретами. Благодаря мне у тети Су появился секрет, которым можно было хвастнуть перед моей матерью.

Однажды в воскресенье после прогулки по Норт-Бич я предложила Ричу без предупреждения нагрянуть в гости к тете Су и дяде Каннину. Они живут на Ливенворс, всего в нескольких кварталах от квартиры моей матери. Была уже середина дня, самое время, чтобы застать тетю Су за приготовлением воскресного обеда.

— Оставайтесь! Оставайтесь! — стала настаивать она.

— Нет, нет. Мы зашли просто потому, что проходили мимо, — отказывалась я.

— Всё готовый, и на вас достаточно хватит. Видишь? Один суп, четыре блюда. Вы не съесть, кому этот? Надо выбросить. Загубить!

Как мы могли отказаться? Через три дня тетя Су получила от нас с Ричем письмо. «Рич сказал, что это были самые вкусные китайские блюда из всех, которые он когда-либо пробовал», — написала я.

На следующий же день позвонила моя мать и пригласила меня на праздничный обед по случаю уже прошедшего отцовского дня рождения. Мой брат Уинсент приведет свою подругу Лизу Лам. Я тоже могу прийти со своим приятелем.

Я знала, что она так поступит, потому что для моей матери готовить значит выражать свою любовь, свою гордость, свою силу, доказывать, что она знает больше, чем тетя Су.

— Только обязательно скажи ей после обеда, что ничего вкуснее ты никогда не ел и что она готовит гораздо лучше, чем тетя Су, — сказала я Ричу. — Так надо, поверь.

В тот вечер, перед обедом, я сидела на кухне, наблюдая, как мама готовит, и дожидаясь подходящего момента, чтобы сообщить ей о наших планах: объявить, что мы решили пожениться через семь месяцев, в июле. Мама нарезала треугольными ломтиками баклажаны, одновременно обсуждая тетю Су:

— Она готовит только на рецепт. А мои рецепты у меня в пальцы. Я на нос чуют, куда какая приправа надо! — Она так яростно орудовала ножом, не обращая внимания на то, какой он острый, что я опасалась, как бы кончики ее пальцев не попали в качестве одной из приправ в баклажаны под красным соусом или в рубленую свинину.

Я надеялась, что мама первой заговорит о Риче. Я видела, с каким выражением она открыла дверь и с какой натянутой улыбкой внимательно, с головы до ног, оглядела Рича, проверяя, правильную ли оценку дала ему тетя Суюань. Я старалась угадать, что ей в нем не понравится.

Рич не просто не китаец, он еще и на несколько лет моложе меня. И к несчастью, со своими рыжими волосами, гладкой белой кожей и россыпью огненных веснушек на носу, выглядит еще моложе. Он приземист и крепко сбит. А в своем темном деловом костюме производит впечатление приятного, но незапоминающегося человека — так, чей-то племянник на похоронах. Поэтому весь первый год, который мы вместе проработали в фирме, я его не замечала. Но моя мама замечает всё.

— Ну и что ты думаешь о Риче? — спросила я наконец, задержав дыхание.

Она бросила баклажаны в кипящее масло; раздалось громкое и сердитое шипение.

— Его лицо так много пятен, — сказала она.

У меня по спине поползли мурашки.

— Это веснушки. Веснушки приносят счастье, ты же знаешь, — стараясь перекричать кухонный шум, сказала я чуть громче, чем следовало бы.

— О? — произнесла она невинно.

— Да, чем больше веснушек, тем лучше. Это всем известно.

Мама поразмыслила над этим несколько секунд, а потом улыбнулась и

сказала по-китайски:

— Наверное, ты права. В детстве ты болела ветрянкой. Пятен было столько, что тебе пришлось десять дней просидеть дома. Ты считала, что тебе очень повезло.

Мне не удалось спасти Рича во время разговора на кухне. Я не смогла спасти его и после, за обеденным столом.

Он принес бутылку французского вина, конечно же не подозревая, что мои родители не смогут этого оценить. У них даже бокалов для вина нет. И потом он совершил ошибку, выпив не один, а целых два стакана, тогда как все остальные только пригубили — «попробовать».

Я предложила Ричу вилку, но он настоял на том, чтобы есть гладкими палочками из слоновой кости. Когда он подхватывал большие куски залитых соусом баклажан, палочки торчали у него в разные стороны, как сломанные в коленках страусиные ноги. Один кусок на полпути между тарелкой и его открытым ртом свалился на белую накрахмаленную рубашку и затем соскользнул вниз, к ширинке. Прошло несколько минут, прежде чем мне удалось утихомирить захлебывавшуюся от смеха Шошану.

А потом он положил себе слишком большую порцию креветок и молочного горошка, не понимая, что из деликатности должен был взять только одну ложку, пока блюдо не обойдет всех сидящих за столом.

Он не стал есть пассерованную молодую зелень, нежные и дорогие листья фасоли, сорванные до того, как на побегах появились стручки. И Шошана тоже от нее отказалась, показав на Рича:

— Он этого не ест! Он этого не ест!

Он думал, что ведет себя вежливо, отказываясь от добавки, тогда как ему надлежало последовать примеру моего отца, который устраивал целые представления, беря по ложечке добавки во второй, третий и даже в четвертый раз, повторяя, что не может удержаться от соблазна взять еще маленький кусочек того или другого, и потом стонал, демонстрируя, как он объелся: вот-вот лопнет.

Но хуже всего было, что Рич позволил себе критику в адрес приготовленных мамой блюд, сам не понимая, что творит. Мама всегда отпускает замечания, умаляющие достоинства какого-нибудь блюда, — таковы традиции китайской кухни. В тот вечер она остановила выбор на своей любимой парной свинине и консервированных овощах, которые составляют предмет ее особенной гордости.

— Ай! Это блюдо недостаточно соленый, нет запах, — посетовала она, попробовав маленький кусочек. — Слишком плохой, чтобы есть.

Теперь была очередь за нами: каждый должен был съесть понемногу и

объявить, что это лучшее из всего, что мама когда-либо готовила. Но прежде чем мы успели это сделать, Рич сказал:

— Не беда, нужно только добавить капельку соевого соуса. — И, к маминому ужасу, прямо у нее на глазах вылил в блюдо целое озеро темной соленой жидкости.

И хоть я и надеялась весь обед, что мама каким-нибудь чудом заметит доброту Рича, его чувство юмора и мальчишеское обаяние, тут я поняла, как низко пал он в ее глазах.

Рич, очевидно, был совершенно иного мнения о том, как прошел вечер. Когда мы приехали домой и уложили Шошану спать, он скромно произнес:

— Кажется, мы не ударили в грязь лицом. — И посмотрел на меня глазами преданного дога, который, скуля от предвкушения, ждет, чтобы его приласкали.

— Хмм... — произнесла я, надевая старую ночную рубашку — намек на то, что мне не до амуров. Я все еще мысленно содрогалась, вспоминая, как Рич крепко пожимал руки моим родителям — с той же непринужденностью, с какой всегда приветствует входящих впервые нервных клиентов.

— Линда, Тим, — сказал он, — я уверен, что мы скоро увидимся.

Моих родителей зовут Линьдо и Тинь Чжун, и за исключением нескольких старых друзей семьи никто и никогда не называет их просто по именам.

— Ну и как она прореагировала, когда ты ей сказала? — Я поняла, что он имеет в виду наши матримониальные планы. Я заранее предупредила Рича, что сначала расскажу все только маме, чтобы уже она сама преподнесла эту новость отцу.

— Я не сказала. Не было случая, — ответила я, и это было правдой. Как я могла сообщить своей матери, что собираюсь замуж, если каждый раз, едва мы оставались одни, она начинала говорить о том, как много Рич пьет, и какое дорогое вино покупает, и какой у него бледный и болезненный вид, или что Шошана, кажется, грустила.

Рич улыбнулся:

— Сколько нужно времени, чтобы произнести: «Мама, папа, я выхожу замуж»?

— Ты не понимаешь. Ты не понимаешь мою мать.

Рич покачал головой:

— Это уж точно. У нее жуткий английский. Знаешь, когда она рассказывала про этого покойника из «Династии», я думал, она говорит о чем-то, происходившем сто лет назад в Китае.



Почти всю ночь после обеда у родителей я пролежала в постели, не сомкнув глаз. Этот последний провал поверг меня в отчаяние, еще усугублявшееся тем, что Рич, кажется, ничего не заметил. Жалко было смотреть, как он собой гордился. Жалко — вот до чего дошло! Это дело рук моей матери: опять она заставляет меня видеть черное там, где я когда-то видела белое. Вечно я превращаюсь в пешку в ее руках, и мне ничего не остается, кроме как спастись бегством. А она, как всегда, королева, способная двигаться в любом направлении, беспощадная в преследовании, умело отыскивающая у меня самые уязвимые места.

Я проснулась поздно, со стиснутыми до боли зубами; нервы были напряжены до предела. Рич уже встал, принял душ и читал воскресную газету.

— Доброе утро, малыш, — сказал он, хрумкая кукурузными хлопьями.

Я надела спортивный костюм для бега и направилась к выходу. Села в машину и поехала к родителям.

Марлин была права. Я должна сказать матери: я знаю, что она вытворяет, и вижу все ее происки. Пока я ехала, у меня накопилось достаточно злости, чтобы отразить тысячу обрушивающихся со всех сторон ударов.

Дверь мне открыл папа и, кажется, очень удивился, увидев меня.

— Где мама? — спросила я, стараясь дышать ровно. Он махнул рукой в сторону гостиной.

Я обнаружила маму на диване. Она крепко спала, ее затылок покоился на белой вышитой салфетке, губы были приоткрыты в легкой улыбке, и все морщины на лице куда-то исчезли. С таким гладким лицом она выглядела молоденькой девушкой, хрупкой, простодушной и невинной. Одна ее рука свешивалась с дивана. Грудь была спокойна. Вся ее сила пропала. Она была безоружна, ее не окружали никакие демоны. Она казалась беспомощной. Потерпевшей поражение.

И вдруг меня охватил страх: а что, если у нее такой вид, потому что она мертвая? Умерла, пока я думала про нее ужасные вещи. Я хотела, чтобы она исчезла из моей жизни, и она уступила, выскользнула из своего тела, чтобы избежать моей страшной ненависти.

— Мама! — отрывисто произнесла я. — Мама! — почти простонала я,

чуть не плача.

Ее глаза медленно открылись. Она моргнула. Руки, ожив, шевельнулись.

— *Шэмма*? Мэймэй, это ты?

Я онемела. Она не называла меня Мэймэй, моим детским именем, уже много лет. Она села, и морщины вернулись на ее лицо, только сейчас они казались менее резкими, придавали лицу мягкое и озабоченное выражение:

— Почему ты здесь? Почему ты плачешь? Что-то случилось?

Я не знала, что делать и что говорить. В течение нескольких секунд моя злость и желание противостоять ее силе превратились в боязнь за нее, и я поразилась тому, насколько она беззащитна и уязвима. И тут на меня нашло оцепенение, какая-то странная слабость, будто кто-то резко повернул выключатель и остановил бегущий по моим жилам ток.

— Ничего не случилось. Ничего особенного. Не знаю, почему я здесь, — сказала я хрипло. — Я хотела с тобой поговорить... хотела тебе сказать... мы с Ричем собираемся пожениться.

Я крепко зажмурилась, ожидая услышать ее протесты, ее причитания, бесстрастный голос, выносящий суровый приговор.

— *Чжрдо* — я уже знаю, — сказала она, будто спрашивая, зачем я сообщаю ей это по второму разу.

— Знаешь?!

— Конечно. Хоть ты мне и не говорила, — сказала она просто.

Это было еще хуже, чем мне представлялось. Она уже всё знала, когда критиковала норковый жакет, когда высмеивала его веснушки и осуждала за то, что он много пьет. Он ей не нравится.

— Я знаю, ты его ненавидишь, — сказала я дрожащим голосом. — Я знаю, ты думаешь, что он недостаточно хорош, но я...

— Ненавижу? Почему ты считать, я ненавижу твой будущий муж?

— Ты упорно не хочешь о нем говорить. Как-то, когда я начала рассказывать тебе, что они с Шошаной ходили в музей, ты... ты переменила тему... заговорила о медицинском обследовании папы, и потом...

— Что важный — развлечения или болезнь?

На этот раз я не собиралась позволить ей ускользнуть.

— И потом, когда ты познакомилась с ним, ты сказала, что у него на лице пятна.

Она посмотрела на меня озадаченно:

— Разве это неправда?

— Правда, но ты сказала это со зла, чтобы причинить мне боль,

чтобы...

— Ай-йя, почему ты так плохой про твой мать думать? — Ее лицо стало старым и очень печальным. — Ты думать, я так плохой. Ты думать, я иметь задний мысль. Но это твой задний мысль. Ай-йя! Она думать, я так плохой! — Она сидела на диване, прямая и гордая, крепко сжав губы, сцепив руки, на глазах у нее сверкали сердитые слезы.

Ох уж эта ее сила! Ее слабость! Я разрывалась на части: ум говорил мне одно, а сердце — другое. Я села рядом с ней на диван; мы обе считали себя обиженными.

Я чувствовала себя так, словно проиграла сражение, хоть знать не знала, что в нем участвую, и ужасно устала.

— Поеду домой, — сказала я наконец. — Мне что-то не по себе.

— Ты заболела? — прошептала мама, положив ладонь мне на лоб.

— Нет, — ответила я. Мне хотелось уехать. — Я... я просто не знаю, что со мной происходит, что творится у меня в душе.

— Тогда я могу объяснять, — сказала она просто. Я уставилась на нее с изумлением. — Одна половина в тебе, — заговорила она по-китайски, — от твоего отца. Это естественно. Они кантонцы из клана Чжун. Добрые, честные люди. Хотя иногда со скверным характером и скуповаты. ТЫ знаешь по отцу, каким он может быть, пока я его не одерну.

Я никак не могла взять в толк, зачем она мне это рассказывает. При чем здесь это? Но мама продолжала говорить, широко улыбаясь и размахивая руками:

— А вторая половина у тебя от меня, с материнской стороны, от клана Сун из Тайюаня. — Она написала на обратной стороне какого-то конверта иероглифы, забыв, что я не умею читать по-китайски. — Мы энергичные люди, очень сильные, хитрые и прославившиеся своими победами в войнах. Ты ведь знаешь Сун Ятсена, а?

Я кивнула.

— Он из клана Сун. Но его семья переехала на юг несколько сот лет назад, так что он не совсем из этого клана. А моя семья всегда жила в Тайюане, еще до времен Сун Вэя. Ты знаешь Сун Вэя?

Я отрицательно замотала головой. Мне стало спокойнее, хотя я все еще не понимала, к чему она клонит. Казалось, впервые за долгое время мы разговариваем почти нормально.

— Он сражался с Чингисханом. И когда монголы стреляли в воинов Сун Вэя — ха! — их стрелы отскакивали от щитов, как капли дождя от камней. Сун Вэй изготовил такую непроницаемую броню, что Чингисхан считал ее волшебной!

— Тогда Чингисхан, должно быть, изобрел волшебные стрелы. Он ведь в конце концов завоевал весь Китай.

Мама продолжала, будто не расслышала моих слов:

— Это правда, мы всегда умели побеждать. Ну вот, теперь ты знаешь, что у тебя внутри, почти все лучшее — из Тайюаня.

— А я думала, мы добились побед только в производстве игрушек и на электронном рынке, — сказала я.

— С чего ты это взяла? — резко спросила она.

— На всем написано: «Сделано в Тайване».

— Ай! — громко вскрикнула она. — Я не из Тайваня!

Тоненькая ниточка, которую мы было протянули между собой, мгновенно порвалась.

— Я родилась в Китае, в Тайюане, — сказала она. — Тайвань — это не Китай.

— Мне просто показалось, что ты говоришь «Тайвань», — звучит одинаково, — сердито бросила я, досадуя, что она придала значение этой непреднамеренной ошибке.

— Совсем по-другому звучит! И страна совсем другая! — сказала она обиженно. — Там люди только воображают, что они в Китае, потому что если ты китаец, то в мыслях никогда с Китаем не расстнешься.

Воцарилась тишина, шах. И вдруг ее глаза загорелись:

— Послушай, вместо Тайюань ты можешь говорить Бин. Его там все так называют. И тебе легче выговорить. Бин — это вроде прозвища.

Она написала иероглиф, и я кивнула, как будто от этого все полностью прояснилось.

— Так же самый здесь, — добавила она по-английски. — Нью-Йорк называть Большой Яблоко, а Сан-Франциско — Фриско.

— Никто так Сан-Франциско не называет! — рассмеялась я. — Кто так говорит, ничего лучше придумать не может.

— Теперь ты понимать, что я иметь в виду, — сказала мама победно.

Я улыбнулась.

Я и вправду наконец поняла. И не только то, что она только что сказала. Я поняла, как все было на самом деле.

Я увидела, за что с ней воевала: за себя, испуганного ребенка, спрятавшегося много лет назад в безопасное, как мне казалось, убежище. И, забившаяся в свой угол, укрывшаяся за невидимым барьером, я считала, будто знаю, что находится по другую сторону. Ее коварные нападки. Ее тайное оружие. Ее ужасная способность отыскивать мои самые слабые места. Но выглянув на мгновение из-за барьера, я наконец смогла увидеть,

что там на самом деле: старая женщина, с казаном вместо щита, со спицей вместо меча, ставшая немного ворчливой за время терпеливого ожидания того момента, когда ее дочь выйдет из своего укрытия.



Мы с Ричем решили отложить нашу свадьбу. Мама сказала, что для медового месяца в Китае июль не лучшее время. Она это знает, потому что они с отцом только что вернулись из Пекина и Тайюаня.

— Лето слишком жаркий. Ты будешь весь пятна, и лицо красный, — говорит она Ричу.

Рич усмехается, тычет большим пальцем в сторону мамы и говорит мне:

— Ты веришь тому, что слетает с ее губ? Теперь я знаю, от кого ты унаследовала такую нежную и тактичную натуру.

— Вам надо ехать октябрь. Это лучший время. Не слишком жаркий, не слишком холодный. Я тоже туда ехать октябрь, — авторитетно заявляет она. И поспешно добавляет: — Конечно, отдельный от вас!

Я нервно смеюсь, а Рич шутит:

— Ну и зря! Это было бы замечательно, Линьдо. Вы бы переводили нам все меню, чтобы мы по ошибке не съели змею или собаку. — Я его чуть не убила.

— Нет, я не этот иметь в виду, — упорствует мама, — я не напрашивать. На самом деле.

Но я-то знаю, что она думает на самом деле. Ей бы очень хотелось поехать с нами в Китай. В таком случае я бы там извелась: три недели ее жалоб на плохо вымытые палочки и холодный суп, по три раза на дню, — ну нет, это было бы настоящим кошмаром.

Но все же где-то в глубине души я считаю, что это прекрасная мысль. Мы втроем, оставив все наши различия позади, вместе поднимаемся на борт самолета, садимся бок о бок, взлетаем и движемся на запад, чтобы попасть на Восток.

## Роуз Су Джордан

### Когда недостает дерева

Когда-то я верила всему, что говорила моя мама, даже не понимая, что она имеет в виду. Когда я была маленькой, она говорила, что если заблудившиеся духи кружат под нашими окнами и воют: «Ву-ву-ву», просясь, чтобы их впустили в дом, значит, скоро пойдет дождь. Она уверяла, что если дважды не проверить перед сном, что двери закрыты, то они сами собой раскроются среди ночи. Она утверждала, что, в отличие от зеркала, видит меня насквозь, даже если я нахожусь совсем в другом месте.

И всему этому я верила. Такая сила убеждения была в ее словах.

Она говорила: если я буду слушать ее, то узнаю, что знает она: самые верные слова всегда приходят сверху, самыми первыми, на открытом дыхании. А если я не буду слушать ее, говорила она, то мои уши будут склоняться к словам других людей, которым не надо придавать большого значения, потому что они приходят не сверху, а из самой глубины сердца, где у каждого запряваны собственные помыслы и нет места для меня.

Слова, которые произносила мама, приходили сверху. Я припоминаю, что всегда смотрела на ее лицо снизу вверх — со своей подушки. В те времена мы с сестрами спали все вместе на большой двуспальной кровати. У моей старшей сестры Дженис была аллергия, поэтому по ночам она всегда свистела как птичка, за что получила прозвище Нос-Свистулька. Руфь была Костяная Нога, потому что умела растопыривать пальцы на ногах как ведьмины когти. Мое прозвище было Глазок-Бояка, потому что я боялась темноты и всегда крепко-крепко зажмуривалась, а это, по мнению Дженис и Руфи, было глупостью. В детстве в течение нескольких лет я всегда засыпала последней. Я изо всех сил вцеплялась в постель, чтобы подольше не засыпать.

— Твои сестры уже отправились в гости к Старому Мистеру Чоу, — шептала мама по-китайски. По ее словам, Мистер Чоу охранял двери, ведущие в мир сновидений. — Ты тоже готова повидаться со Старым Мистером Чоу? — И каждую ночь я отрицательно трясла головой.

— Старый Мистер Чоу показывает мне плохие места, — плакала я.

Старый Чоу отправлял моих сестер в мир снов, но на следующее утро они никогда ничего не помнили. Он широко распахивал дверь и для меня, но, когда я пыталась проскользнуть в нее, быстро захлопывал ее, стараясь прилепнуть меня, как муху. Вот почему я всегда пулей вылетала назад.

Но в конце концов Старый Мистер Чоу уставал и оставлял дверь без присмотра. Кровать тяжелела у изголовья и медленно запрокидывалась назад. В результате я соскальзывала с нее головой вперед, пролетала сквозь дверь Старого Мистера Чоу и приземлялась в доме без окон и дверей.

Помню, однажды мне приснилось, что я провалилась сквозь дырку в полу в доме Старого Мистера Чоу и оказалась в ночном саду. Я услышала, как Старый Чоу кричит: «Кто забрался ко мне на задний двор?» — и побежала. На бегу я топтала какие-то растения с кровавыми прожилками, потом неслась по длинным грядкам, переливавшимся всеми цветами радуги, мимо клацающих зубами львиных зевов,<sup>[9]</sup> пока не оказалась на огромной детской площадке, где рядами стояли одинаковые квадратные песочницы, и в каждой лежала новая кукла. И моя мама, которая находилась совсем в другом месте, но тем не менее видела меня насквозь, сказала Старому Мистеру Чоу, что знает, какую куклу я выберу. Поэтому я решила взять совсем другую.

«Останови ее! Останови ее!» — кричала мама. И когда я попыталась убежать, Старый Мистер Чоу погнался за мной со словами: «Вот видишь, что получается, когда ты не слушаешься свою маму!» От страха у меня отнялись руки и ноги, и я не могла сдвинуться с места.

Наутро я рассказала маме свой сон, а она рассмеялась и сказала:

— Не обращай внимания на Старого Чоу. Он всего лишь сон. Ты должна слушаться только меня.

А я воскликнула в ответ:

— Но Старый Чоу тоже тебя слушается.

Сейчас, тридцать с лишним лет спустя, мама все еще пытается заставить меня слушаться. Через месяц после того как я ей сказала, что мы с Тедом разводимся, мы с ней встретились в церкви на похоронах Чайна Мэри, чудесной девяностодвухлетней старухи, которая становилась настоящей крестной матерью каждому ребенку, входившему в двери Первой китайской баптистской церкви.

— Ты очень похудела, — произнесла мама своим страдальческим голосом, когда я села рядом с ней. — Ты должна побольше есть.

— У меня всё в порядке, — ответила я и улыбнулась в подтверждение своих слов. — И вообще, не ты ли говорила, что на мне все всегда сидит в обтяжку?

— Ешь побольше, — настоятельно сказала она и ткнула в меня небольшой, обвязанной шнурочком книгой с надписью от руки: «Готовим по-китайски. Чайна Мэри Чан». Книжки продавались у входа, всего по пять

долларов, выручка шла в Фонд помощи беженцам.

Органная музыка стихла, и священник прочистил горло. Это был какой-то новый пастор. Приглядевшись, я узнала в нем Вина, мальчишку, в свое время воровавшего бейсбольные карточки вместе с моим братом Люком. Только потом Вин, благодаря Чайна Мэри, попал в богословскую школу, а Люк угодил в окружную тюрьму за продажу ворованных автомобильных стереоустановок.

— Мне до сих пор слышится ее голос, — обратился Вин к присутствующим. — Она говорила, что Бог сделал меня из хорошо подобранных частей, так что для меня было бы позором попасть в ад.

— Уже крем-ирована, — прошептала мама деловито, кивая в сторону алтаря, где стояла в рамке цветная фотография Чайна Мэри.

Я прижала палец к губам, как делают библиотекари, но она не поняла моего намека.

— Вон тот, это от нас. — Она показывала на большой букет из желтых хризантем и алых роз. — Тридцать четыре доллара. Все искусственное, он будет стоять сколько угодно. Можешь отдать мне деньги потом. Дженис и Мэттью тоже вносят часть. У тебя есть деньги?

— Да, Тед прислал мне чек.

Тут священник попросил всех склониться в молитве. Мама наконец замолчала, промокнув свой нос бумажным носовым платком, в то время как священник произносил:

— Я вижу ее перед собой: она поражает ангелов своей китайской стряпней и восторженным отношением к жизни.

Все подняли головы и встали, чтобы спеть гимн номер триста тридцать пять, любимый гимн Чайна Мэри: «Ты можешь быть ангелом, каждый день на земле...»

Но мама не пела. Она пристально смотрела на меня.

— Почему это он посылает тебе чек?

Я не отводила глаз от сборника текстов, выводя:

— Лу-чась сол-неч-ным све-том и на-пол-ня-ясь ра-дость-ю...

Так что она мрачно ответила на свой вопрос сама:

— Он занимается обезьяньим делом с кем-то другим.

Обезьяньим делом? Тед?! Мне захотелось рассмеяться: ну и выражения она выбирает, да и сама мысль хороша! Невозмутимый, спокойный, безволосый Тед, чье дыхание не меняется ни на йоту даже в пароксизме страсти! Я очень живо представила себе, как он постанывает: «Оох-оох-оох», — скребя у себя под мышкой, а потом шустренько подскакивает, издает пронзительный визг и, покачиваясь на матрасе, тянется к чьей-то

груди.

— Нет, я так не думаю, — сказала я.

— Почему?

— Я не думаю, что нам стоит говорить про Теда сейчас и здесь.

— Почему с психе-атриком ты можешь говорить об этом, а с собственной матерью — нет?

— Психиатром.

— Психе-артом, — поправились она и добавила, пытаясь перекричать поющие голоса: — Мать лучше всех. Мать знает, что у тебя внутри. От психе-арта ты станешь только *хулихуду* и увидишь один *хеймонмон*.

Я вернулась домой, раздумывая над тем, что она сказала. Мама была права. Последнее время я действительно ощущала себя *хулихуду*. И все окружающее казалось мне *хеймонмон*. Я никогда не задумывалась над тем, как это можно выразить по-английски. Кажется, самыми близкими по значению были бы выражения «прийти в замешательство» и «темный туман».

Но на самом-то деле эти слова значат гораздо больше. Наверное, их не так просто перевести потому, что они обозначают присущее именно китайцам чувство, будто вы падаете головой вперед через дверь Старого Мистера Чоу, а потом пытаетесь найти дорогу назад. Но вы так испуганы, что боитесь открыть глаза, поэтому становитесь на четвереньки и ползком, на ощупь, ищете дорогу в темноте, прислушиваясь к голосам, чтобы понять, в какую сторону держать путь.

Я разговаривала со многими из своих друзей — пожалуй, со всеми, кроме Теда. И каждому я рассказывала всю историю по-новому. И тем не менее каждая версия правдива, я была в этом совершенно уверена, по крайней мере в тот момент, когда рассказывала ее.

Своей подруге Уэверли я сказала, что не знала, как сильно люблю Теда, до тех пор пока не осознала, как сильно страдаю из-за него. Я сказала, что чувствую такую боль — в буквальном смысле физическую боль, — как будто кто-то вырвал мне обе руки без наркоза и не зашил ран.

— Тебе когда-нибудь вырывали руки с *наркозом*? Боже! Никогда не видела тебя в таком истеричном состоянии, — сказала Уэверли. — Если хочешь знать мое мнение, то тебе даже лучше без него. Ты испытываешь боль лишь потому, что у тебя ушло пятнадцать лет жизни на то, чтобы понять, что он настоящее ничтожество в эмоциональном отношении. Поверь, я знаю, что это такое — так чувствовать.

Своей подруге Лене я сказала, что мне без Теда лучше, потому что после первого шока я поняла, что совсем не скучаю без него. Мне не

хватает только того состояния, в котором я находилась, когда была с ним.

— И что это было? — У Лены аж дыхание перехватило. — Да он же тебя подавлял и манипулировал тобою. Внушил, что ты ничто рядом с ним. А сейчас ты думаешь, что ты ничто без него. Будь я на твоём месте, я бы нашла хорошего адвоката и пошла бы на всё. Я бы свела с ним счеты.

Своему психиатру я сказала, что меня преследует навязчивое желание отомстить. Я мечтаю позвонить Теду и пригласить его на обед в одно из этих супермодных заведений, напичканных знаменитостями, вроде кафе «Мажестик» или «Розалис». И после того как он приступит к первому блюду, такой расслабленный и милый, я скажу: «Не так-то все просто, дорогуша Тед», — и вытащу из сумки маленького африканского идола, которого одолжу у Лены, из ее реквизита. Примерюсь вилкой к стратегической точке на теле куклы и громко, во весь голос, перед всей этой фешенебельной публикой в ресторане произнесу: «Тед, ты настоящий ублюдок и импотент, и, чтобы ты остался таким навсегда, смотри, что я с тобой сделаю». *Вун!*

Говоря это, я чувствовала, что взлетаю на самую вершину, что это важный, поворотный момент в моей жизни, с которого, всего-навсего после двух недель психотерапии, начинается мое новое «я». Но психиатр смотрел на меня со скучающим видом, подперев рукой подбородок.

— Очевидно, вы переживаете очень сильные эмоции, — проговорил он с сонным видом. — Полагаю, на следующей неделе мы поговорим об этом поподробнее.

После этого я уже не знала, что и думать. В течение нескольких следующих недель я перебрала в уме всю свою жизнь, переходя из комнаты в комнату и стараясь припомнить историю каждого предмета в доме: то, что было у меня до того, как я встретила с Тедом (стаканы ручной работы, макраме на стенах, кресло-качалка, которое я когда-то заново оплела); то, что мы купили вместе сразу после женитьбы (большая часть мебели); подарки (часы под стеклянным колпаком, которые уже сломались и не ходят, три комплекта чашечек для сакэ, четыре чайника); вещи, которые приобрел Тед (авторские литографии, при этом ни одна не отмечена номером большим, чем двадцать пять, тогда как серии состоят из двухсот пятидесяти, стьюбеновские хрустальные клубничины); и те вещи, которые я купила, потому что, раз увидев, уже не могла мысленно расстаться с ними (не подходящие друг к другу подсвечники с гаражных распродаж, старинное стеганое одеяло с дыркой, необычной формы флаконы, в которых когда-то были притирания, специи или духи).

Я начала пересматривать содержимое книжных полок, когда от Теда

пришло письмо, вернее сказать записка, написанная наспех шариковой ручкой на бланке для рецептов. «Распишись в 4-х местах, где отмечено» — говорилось в ней. А потом, уже перьевой ручкой, синими чернилами: «Прил. чек, чтобы поддержать тебя, пока все не устроится».

Записка была прикреплена к бракоразводным документам, вместе с чеком на десять тысяч долларов, подписанным той же самой перьевой ручкой с синими чернилами. Но вместо того чтобы преисполниться благодарности, я почувствовала себя задетой.

Почему он прислал чек вместе с этими документами? Почему две разные ручки? Или мысль о чеке пришла ему в голову не сразу? Как долго сидел он у себя в кабинете, определяя, какой суммы будет достаточно? И почему он выбрал именно эту ручку для подписи?

Я все еще помню, как осторожно он разворачивал золотистую фольгу. Я помню выражение его лица и удивление в глазах, когда он в свете огней на рождественской елке медленно осматривал эту ручку со всех сторон. Это было в прошлом году Он поцеловал меня в лоб и пообещал: «Я буду подписывать ею только самые важные бумаги».

Вспоминая все это, с чеком в руках, я только и могла, что присесть на край кушетки, чувствуя, как голова, начиная с макушки, наливается свинцовой тяжестью. Так я и сидела, уставившись на эти «4 места» в документах о разводе, на выражения в записке на рецептурном бланке, на два цвета чернил, на дату в чеке и на аккуратно выведенное прописью: «Десять тысяч ровно, без центов».

Я сидела тихо, стараясь прислушаться к своему сердцу и принять верное решение. Но тут вдруг поняла, что не знаю, между чем и чем выбираю. Поэтому я убрала документы и чек в ящик стола, где у меня лежали купоны из магазинов, которые я почему-то никогда не выбрасывала, хотя никогда и не использовала.

Мама однажды сказала мне, почему я всегда во всем запутываюсь. Она сказала, что мне недостает дерева. Что я рождена без дерева и поэтому легко клонюсь в любую сторону. Ей это хорошо знакомо, потому что однажды она сама чуть не стала такой же.

— Девочка подобна молодому деревцу, — сказала она. — Ты должна стоять прямо и слушать, что тебе говорит стоящая рядом с тобой мама. Это единственный способ вырасти прямой и сильной. Но если ты отворачиваешься, чтобы слушать других людей, ты вырастешь кривой и слабой. Первый же сильный ветер повалит тебя, и ты станешь как ползущий по земле сорняк, который цепляется за всё и мотается в разные стороны, пока кто-нибудь не вырвет его с корнем и не выбросит прочь.

Но к тому времени, когда она сказала мне это, было слишком поздно. Я уже начала клониться в сторону. Я пошла в школу, где учительница, миссис Берри, заставляла нас строиться в шеренги и маршировать из кабинета в кабинет, вверх и вниз по лестнице, повинувшись ее выкрикам: «Мальчики и девочки, за мной!» А тех, кто не слушался, она заставляла наклониться и отсчитывать десять ударов линейкой по одному месту.

Я все еще слушалась маму, но уже научилась пропускать ее слова мимо ушей. Иногда я заполняла свое сознание мыслями других людей — всё на английском, — чтобы, взглянув сквозь меня, она пришла в замешательство.

В течение нескольких лет я училась выбирать лучшие мнения из лучших. У китайцев были китайские взгляды. У американцев — американские. И почти в каждом случае американский вариант оказывался гораздо лучше.

Только позже я поняла, что в американской версии была серьезная брешь: выбор был настолько велик, что можно было легко запутаться и выбрать что-то не то. Именно так я чувствовала себя в ситуации с Тедом. Столько всего нужно было обдумать и столько решений принять! И каждое решение означало поворот в другую сторону.

Например, чек. Мне было интересно, пытается ли Тед перехитрить меня, подвести к тому, чтобы я согласилась уступить и не противилась разводу. И если я обналичу чек, не решит ли он, что сумма была вполне достаточной. Потом я расчувствовалась и вообразила — правда, всего лишь на мгновение, — что он послал мне десять тысяч долларов, потому что на самом деле любит меня и показывает мне таким образом, как много я для него значу. Но тут же осознала, что я для него такая же мелочь, как и эти десять тысяч.

Мне подумалось, что надо положить конец этой пытке и подписать документы о разводе, и я была уже совсем готова вытащить эти бумаги из ящика с купонами, как вдруг вспомнила о доме.

Я люблю этот дом, сказала я себе. Большую дубовую дверь, ведущую в холл с витражными окнами. Солнечный свет в комнате, где мы обычно завтракали. Вид на город из окон гостиной. Цветник, разбитый Тедом. По выходным он обычно работал в саду. Становился коленями на зеленую резиновую подушечку и внимательнейшим образом, словно делая маникюр, обследовал листик за листиком. Каждому растению было отведено определенное место. Тюльпаны нельзя было сажать с многолетними растениями. Отростку алоэ, который мне дала Лена, места вообще не нашлось, потому что у нас не было других суккулентов.

Я посмотрела в окно и увидела, что каллы в саду завяли и почернели,

ромашки склонились под собственной тяжестью, салат-латук отцвел и дал семена. На вымощенных плитами дорожках, проложенных среди клумб, в щелях разрослись сорняки. Весь цветник заметно одичал за месяцы небрежения.

Глядя на заброшенный сад, я вспомнила одно из изречений на записках с предсказанием судьбы из китайского печенья: «Если муж перестает ухаживать за садом, значит, он думает о том, чтобы выдернуть корни». Когда в последний раз Тед подрезал розмарин? А когда в последний раз опрыскивал клумбы средством от улиток?

Я заспешила к садовому сараю с намерением отыскать средства от насекомых и сорняков, как будто количество жидкости в бутылке, срок годности или что-нибудь в этом роде могло помочь мне понять, что происходит в моей жизни. Осознав это, я поставила бутылку на место: у меня возникло чувство, будто кто-то наблюдает за мной и смеется.

Я вернулась в дом, на этот раз для того, чтобы позвонить адвокату. Но едва начав набирать номер, растерялась окончательно и положила трубку. Что я могла сказать? Чего я могла хотеть от развода, если никогда не знала, чего хочу от брака?

На следующее утро я все еще продолжала размышлять о своем замужестве: пятнадцать лет жизни в тени Теда. Крепко зажмурившись, я лежала в постели, будучи не в состоянии принять простейшего решения.

Я пролежала трое суток, вставая лишь для того, чтобы сходить в туалет или подогреть очередную банку куриного бульона с лапшой. Почти все время я спала. Я принимала снотворное, которое Тед забыл в своем кабинете. И впервые, насколько помню, не видела снов. Все, что осталось в моей памяти, — это мягкое падение в темноту, вне времени и пространства. Я была единственным существом в этой черной дыре, и каждый раз, проснувшись, принимала следующую таблетку и опять возвращалась в это место.

Но на четвертый день мне приснился кошмар. В темноте мне было не видно Старого Мистера Чоу, но я слышала, как он пригрозил разыскать меня и превратить в лепешку. Его голос гремел как колокол, и чем громче становился этот звук, тем меньше шансов на спасение у меня оставалось. Я задержала дыхание, чтобы не завизжать, но колокол звучал все громче и громче до тех пор, пока не прервал мой сон.

Это был телефон. Должно быть, он звонил уже целый час не переставая. Я сняла трубку.

— Ну вот, теперь, раз ты уже встала, я привезу тебе остатки того, что наготовила, — сказала мама. По ее тону можно было подумывать, что она

видит меня в этот момент. Но в комнате было темно: сквозь плотно задернутые шторы свет не пробивался.

— Мам, я не могу... — сказала я. — Я не могу с тобой увидеться. Я занята.

— Слишком занята для собственной матери?

— У меня назначена встреча... прием у психиатра.

Какое-то время она молчала.

— Почему бы тебе не высказаться? — произнесла она наконец своим страдальческим голосом. — Почему ты не поговоришь со своим мужем?

— Мам, — произнесла я, чувствуя себя совершенно опустошенной. — Пожалуйста, не говори мне больше, что я должна спасти свой брак. Мне и без того плохо.

— Я не советую тебе спасать брак, — возразила она. — Я только говорю, что тебе следует высказаться.

Едва я повесила трубку, телефон зазвонил опять. Это была секретарша моего психотерапевта. Я пропустила прием в это утро, а также два дня назад. Не хотела бы я составить новое расписание? Я сказала, что посмотрю на свое расписание и перезвоню.

Через пять минут раздался еще один телефонный звонок.

— Где ты была? — услышала я голос Теда.

Меня начало трясти.

— В отъезде, — сказала я.

— Я пытаюсь дозвониться тебе уже три дня. Я даже звонил в телефонную компанию, чтобы проверить исправность линии.

И я знала, что он это делал, но не из-за меня, а потому что, когда ему что-то нужно, он становится нетерпелив и злится на всех, кто заставляет его ждать.

— Ты знаешь, прошло уже две недели, — сказал он с нескрываемым раздражением.

— Две недели?

— Ты могла бы обналичить чек или вернуть бумаги, например. Мне хотелось вести себя прилично, Роуз. Я ведь могу пригласить кого-нибудь для официального ведения дела, ты знаешь.

— Можешь?

И тут, без всякой передышки, он продолжил разговор и перечислил все, чего на самом деле хочет, и это было еще хуже, чем те кошмары, которые я себе представляла.

Он хотел, чтобы я вернула бракоразводные документы — подписанными. Он хотел дом. Он хотел, чтобы все закончилось, и как

можно скорее. Потому что он собирается еще раз жениться.

Не сдержавшись, я ахнула:

— Ты хочешь сказать, что занимался обезьяньим делом с кем-то еще? — Я почувствовала себя такой униженной, что чуть не расплакалась.

И тут впервые за несколько месяцев, проведенных мною в заточении, все вдруг встало на свои места. Вопросов больше не было. Выбора — тоже. Возникло ощущение пустоты. Я почувствовала себя свободной и дикой. Откуда-то сверху раздался чей-то смех.

— Что тут такого забавного? — сердито спросил Тед.

— Извини, — ответила я. — Просто... — Я старалась изо всех сил подавить хохот, но от усилий фыркнула носом, что заставило меня опять расхохотаться. Молчание Теда рассмешило меня еще больше.

Все еще задыхаясь от смеха, я попыталась начать снова более ровным голосом:

— Прости, Тед. Послушай... Я думаю, тебе лучше всего заехать ко мне после работы. — Я не знала, почему сказала это, но почувствовала, что делаю правильно.

— Нам не о чем говорить, Роуз.

— Я знаю, — сказала я настолько спокойным голосом, что даже сама удивилась. — Просто я хочу тебе кое-что показать. И не волнуйся, ты получишь свои бумаги. Правда.

У меня не было никакого плана. Я не знала, что скажу ему, когда он придет. Я знала только одно: мне нужно, чтобы до развода Тед увидел меня еще раз.

То, чем я закончила показ, был сад. К тому времени, как он приехал, уже набежал послеобеденный туман. Документы о разводе лежали в кармане моей ветровки. Тед дрожал в своей спортивной курточке, осматривая запущенный сад.

— Что за хаос, — пробормотал он себе под нос, пытаясь отцепить от штанины плеть ежевики, выползшей на дорожку, и я поняла, что он прикидывает, сколько времени уйдет на то, чтобы привести всё в порядок.

— Мне нравится и так, — сказала я, проведя рукой по ботве переросшей моркови, оранжевые головки которой, торчавшие из земли, были такими толстыми, что казалось, вот-вот разродятся. А потом я увидела сорняки: некоторые из них проросли сквозь трещины во внутреннем дворике, другие обосновались прямо около дома. Многие нашли убежище под прохудившейся кровлей и уже начали взбираться на крышу. Когда они поселяются в каменной кладке, нет никакого способа

изгнать их оттуда, лучше и не пытаться, а то кончится тем, что снесешь дом до основания.

Тед подбирал с земли сливы и перекидывал их через забор на соседний участок.

— Где документы? — спросил он наконец.

Я вручила ему бумаги, и он сунул их во внутренний карман куртки. Мы стояли лицом к лицу, и я видела его глаза и это их выражение, которое однажды по ошибке приняла за доброжелательное и опекающее.

— Ты можешь не переезжать прямо сейчас, — сказал он. — Я понимаю, что тебе нужен по крайней мере месяц, чтобы определиться с жильем.

— Я уже определилась, — быстро проговорила я, потому что в тот самый момент поняла, где собираюсь жить.

Его брови в изумлении поднялись, и он улыбнулся — на короткое мгновение, — пока я не сказала:

— Здесь.

— Это еще что такое? — проговорил он резко. Его брови были все еще подняты, но улыбка исчезла.

— Я сказала, что остаюсь здесь, — повторила я свое заявление.

— Кто сказал? — Он сложил руки на груди и прищурился, изучая мое лицо — будто оно в любой момент могло рассыпаться на мелкие кусочки.

Обычно это нагоняло на меня такой страх, что я начинала заикаться. Но сейчас я не чувствовала ничего — ни страха, ни злости.

— Я сказала, что остаюсь здесь, и мой адвокат скажет то же самое, когда мы подготовим все документы, — произнесла я.

Тед вытащил бумаги из кармана и уставился на них. Галочки стояли на своих «4-х местах», но места эти были пусты.

— Что ты вытворяешь? Скажи на милость, что?! — спросил он.

И ответ, тот единственный, который был важнее всего остального, прошел через все мое тело и слетел с губ:

— Ты не можешь просто так вырвать меня из своей жизни и выбросить прочь.

Я увидела то, что хотела: его глаза — сначала растерянные, потом испуганные. Он был в замешательстве, *хулихуду*. Такова была сила моих слов.

В ту ночь мне приснилось, будто я пробираюсь по какому-то саду. Деревья и кусты скрывает легкий туман. На некотором расстоянии от себя я вижу маму и Старого Мистера Чоу; от их быстрых движений туман

закручивается, как водоворот. Они останавливаются возле одной из клумб. «Вот она!» — восклицает мама. Старый Мистер Чоу улыбается мне и призывно машет рукой. Я подхожу к маме и вижу, что она наклонилась к чему-то, как к ребенку. «Смотри, — говорит она с сияющим видом, — как раз сегодня утром я посадила их — одни для тебя, другие для себя».

И я вижу, что под мглой *хеймонмон* повсюду, насколько хватает глаз, растут сорняки. Буйным потоком перехлестывают через все границы, расползаясь во все стороны — дико и свободно!

## Цзиньмэй У

### Самый лучший

Пять месяцев назад, после празднования китайского Нового года, когда закончился обед с крабами, мама подарила мне мой «смысл жизни» — нефритовый кулон на золотой цепочке. Сама я никогда в жизни не выбрала бы себе такое украшение. Огромный зеленый кулон, размером почти с мизинец, весь испещренный белесым крапинками и покрытый сложной резьбой. Он был совсем не в моем вкусе: слишком большой, слишком зеленый, слишком броский. Я положила кулон с цепочкой в свою лакированную шкатулку и забыла про него.

Но сейчас я все время думаю о смысле жизни и не могу найти ответа на свои вопросы, потому что три месяца назад, за шесть дней до моего тридцать шестого дня рождения, мама умерла. Она была единственным человеком, которого я могла бы попросить рассказать мне о смысле жизни, и единственным, кто мог бы помочь мне понять мое горе.

Сейчас я ношу этот кулон каждый день. Я думаю, что резьба на нем что-то означает, потому что характер очертаний, форма изгибов и другие тонкости, которых я сама обычно не замечаю, пока мне на них не укажут, для китайцев всегда таят в себе особый смысл. Конечно, я могу спросить тетю Линьдо, тетю Аньмэй или других наших китайских знакомых, но проблема в том, что они истолкуют всё иначе, чем истолковала бы мама. А вдруг они скажут, что этот завиток, расходящийся на три овальных лепестка, символизирует гранат и это означает, что мама желала мне жить долго и нарожать кучу детей? А на самом деле мама могла иметь в виду, что он означает, например, грушевую ветвь — символ чистоты и правдивости. Или капли влаги, источаемые волшебной горой вот уже десять тысяч лет и предназначенные для того, чтобы помочь мне выбрать верное направление в жизни и заслужить славу и бессмертие на тысячу лет?

И поскольку я все время думаю об этом, то часто замечаю других людей с такими же нефритовыми кулонами — не с плоскими прямоугольниками или белыми дисками с дыркой посередине, а с точно такими же, как у меня: двухдюймовый продолговатый камень яблочно-зеленого цвета. Нас так много, что можно подумать, будто все мы дали клятву и заключили какое-то тайное соглашение, настолько тайное, что не знаем даже, в чем оно состоит. Например, на прошлой неделе я увидела

похожий кулон у одного бармена. Показав на свой, я спросила:

— Откуда у тебя такой?

— Мама подарила, — ответил он.

Я спросила его, по какому поводу. Конечно, такой бесцеремонный вопрос может задать только китаец китайцу: просто в толпе белокожих два китайца становятся друг другу почти что родственниками.

— Она дала мне его, когда я развелся. Наверное, таким образом хотела дать мне понять, что я все еще чего-нибудь да стою.

По некоторой растерянности в его голосе я поняла, что он тоже ничего не знает о символике своего кулона.

Когда мы отмечали прошлый Новый год по китайскому календарю, мама приготовила для праздничного обеда одиннадцать крабов — по одному на каждого человека и еще одного на всякий случай. Продукты к обеду мы с мамой покупали на Стоктон-стрит, в Чайнатауне, спустившись в центр с крутого холма, на котором живут мои родители. Они занимают одну из квартир на первом этаже принадлежащего им шестиквартирного дома на Ливенворт. Это неподалеку от Калифорния-стрит и всего в шести кварталах от моего места работы — небольшого рекламного агентства, где я занимаюсь разработкой рекламных концепций. Раза два-три в неделю я забегала к родителям после работы. У мамы всегда было достаточно всего наготовлено, и ей не приходилось долго настаивать на том, чтобы я пообедала с ними.

В этом году китайский Новый год пришелся на четверг, так что я пораньше ушла с работы, чтобы помочь маме с покупками. Маме шел семьдесят первый год, но у нее все еще была бодрая походка и хорошая осанка. Она целеустремленно ходила по магазинам, маленькая и шустрая, с яркой полиэтиленовой сумкой в руках. Я возила следом за ней металлическую тележку.

Каждый раз, когда мы с ней бывали в Чайнатауне, она показывала мне на других китаянок ее возраста. «Дамы из Гонконга», — говорила она, указывая глазами на двух женщин с безупречными прическами, одетых в длинные темные норковые шубы. «Из Кантона, деревенские», — шепотом сообщала она, когда мы проходили мимо женщин в вязаных шапках, которых в буквальном смысле пригибали к земле слои стеганых ватников и мужских жилетов. Мою маму, одетую в голубые полиэстеровые штаны, красный свитер и зеленую детскую пуховку нельзя было перепутать ни с кем. Она приехала сюда в тысяча девятьсот сорок девятом году, тут окончилось ее путешествие, начавшееся в Куэйлине в сорок четвертом; она

побывала на севере, в Панкине, где познакомилась с моим отцом, оттуда вместе с ним поехала на юго-восток, в Шанхай, потом они бежали на юг, в Гонконг, откуда отправились на корабле в Сан-Франциско. Так что мама приехала из множества мест.

По дороге в город она, сопя в такт своим шагам, с раздражением жаловалась мне:

— Даже ты будешь тупик, не надо они.

У нее был очередной приступ злопыхательства по поводу жильцов с верхнего этажа. Два года назад она попыталась выжить эту супружескую пару под предлогом, что к нам приезжают родственники из Китая. Но те поняли, что это лишь уловка, чтобы обойти инспекцию по сдаче недвижимости в аренду. Они заявили, что с места не сдвинутся, пока мама не предъявит родственников. И после этого мне приходилось раз за разом выслушивать рассказы о кознях, чинимых зловредными жильцами.

Мама сказала, что седовласый мужчина выбрасывает слишком много мешков мусора в общий контейнер: «Стоить мне лишний расход!»

А женщина, элегантная блондинка артистического типа, по маминым предположениям, выкрасила квартиру в кошмарные красные и зеленые цвета: «Ужасный, — ворчала мама. — И они принимать ванна два, три раза каждый день. Бежать вода, бежать, бежать, бежать, никогда не выключать!»

— Прошлый неделя, — сказала она, раздражаясь все сильнее с каждым шагом, — *вайгорен* клеветать. — Она называла всех белых *вайгорен*, иностранцы. — Сказать, я положить яд рыба убить этот кот.

— Что за кот? — спросила я, хоть и знала отлично, о каком коте она говорит. Я видела этого кота много раз. Это был серо-полосатый одноухий котяра, научившийся запрыгивать на наружный подоконник маминой кухни. Мама вставала на цыпочки и стучала по окну, чтобы согнать кота. А он усаживался поудобнее и в ответ на ее крики только шипел.

— Этот кот всегда, задравши хвост, класть свой вонь на мой дверь, — жаловалась мама.

Однажды я видела, как мама гналась по лестнице за этим котом с кастрюлей кипятка в руках, поэтому у меня возникло сильное искушение спросить, не отравила ли она рыбу на самом деле, но я давно научилась никогда не выступать против мамы.

— И что случилось с этим котом? — спросила я.

— Кот сбежавши! Испарился! — Она всплеснула руками и улыбнулась, на какое-то мгновение приняв довольный вид, но потом снова нахмурилась. — И этот мужчина, он поднимать руки вот так, показать мне

свой гадкий кулак и обозвать меня самый плохой хуэлиньский [\[10\]](#) домовладелец. Я не из Хуэлиня. Хмм! Много он понимать! — сказала она, довольная тем, что поставила его на место.

На Стоктон-стрит мы ходили из одного рыбного магазина в другой, разыскивая самых активных крабов.

— Никогда не покупай мертвого, — предупреждала меня мама по-китайски. — Даже нищий не станет есть мертвого.

Я тыкала крабов карандашом, чтобы проверить, насколько они задиристы. Если краб хватался за карандаш, я его поднимала и укладывала в полиэтиленовый мешок. Одного краба я едва успела приподнять, как вдруг заметила, что другой краб зажал в клешне его ногу. В результате короткого состязания по перетягиванию каната мой краб остался без ноги.

— Положи его назад, — зашептала мама. — Недостающая нога — плохой знак для китайского Нового года.

Но к нам уже подошел мужчина в белом халате и на повышенных тонах заговорил с мамой по-кантонски, а мама, которая говорила на кантонском диалекте так плохо, что он звучал скорее как ее родной мандарин, так же громко отвечала ему, показывая на краба и его недостающую ногу. После непродолжительного препирательства в резких выражениях краб и его оторванная конечность были препровождены к нам в мешок.

— Ничего, — сказала мама. — Этот номер одиннадцать, дополнительный.

Вернувшись домой, мама отлепила от крабов приставшую газетную бумагу и опустила их в наполненную холодной водой раковину. Она достала свою старую деревянную доску и разделочный нож, потом нарезала имбирь и лук-шалот и налила в миску соевого соуса и кунжутного масла. На кухне запахло мокрыми газетами и китайскими специями.

Затем одного за другим она стала доставать из раковины крабов. Она ухватывала их за спину, стряхивая с них воду и приводя в чувство. По пути от раковины к плите крабы шевелили в воздухе ногами. Она сложила крабов в пароварку с несколькими уровнями, стоявшую на плите на двух горелках, закрыла ее крышкой и зажгла газ. Чтобы не видеть дальнейшего, я ушла в столовую.

Когда мне исполнилось восемь лет, мама тоже купила краба для праздничного обеда. Помню, как мне понравилось с ним играть: я дразнила его и отпрыгивала каждый раз, когда он выставлял наружу свои клешни. Когда я решила, что мы с крабом достигли полного взаимопонимания, ему наконец удалось выбраться из раковины. Он отправился бродить по кухонному столу, а я стала думать, как назвать своего нового друга. Но

придумать я ничего не успела, потому что мама опустила его в кастрюлю с холодной водой и поставила ее на огонь. С нарастающей тревогой я наблюдала, как по мере нагревания воды краб все отчаяннее скребся, пытаюсь выбраться из своего горячего супа. До сих пор помню, как он завизжал, выбросив из кипящей кастрюли красную клешню. Очевидно, это был мой собственный визг: сейчас-то я, конечно, знаю, что у крабов нет голосовых связок, и пытаюсь заодно убедить себя в том, что у них недостаточно мозгов, чтобы осознать, в чем заключается разница между горячей ванной и медленной смертью.

На празднование Нового года мама пригласила своих старых друзей Линьдо и Тиня Чжун. Конечно, подразумевалось, что приглашены также и дети Чжун: их тридцативосьмилетний сын Уинсент, который все еще живет с родителями, и их дочь Уэверли, примерно моего возраста. Уинсент позвонил спросить, может ли он прийти со своей подругой Лизой Лам. Уэверли сказала, что привезет своего жениха Ричарда Шилдса. Он, как и Уэверли, работает налоговым инспектором в «Прайс Уотерхаус». Она добавила, что Шошана, ее четырехлетняя дочь от предыдущего брака, хотела бы знать, есть ли у моих родителей видеомэгнитофон, чтобы она могла посмотреть «Приключения Пиноккио», если заскучает. Мама напомнила мне, чтобы я пригласила мистера Чона, моего старого учителя музыки, который по-прежнему жил в трех кварталах от моих родителей, в том доме, где мы раньше снимали квартиру.

Включая маму, папу и меня, за столом должно было быть одиннадцать человек. Но мама насчитала только десять, потому что, по ее понятиям, Шошана как ребенок в счет не шла, по крайней мере когда дело касалось крабов. Она не учла, что Уэверли, возможно, думала иначе.

Когда блюдо с дымящимися крабами было передано по кругу, Уэверли оказалась первой и выбрала самого лучшего краба — самого яркого, самого крупного — и положила его на тарелку своей дочери. Потом она взяла следующего отборного краба для Рича и еще одного — для себя. А поскольку умению выбирать самое лучшее она научилась у своей матери, было вполне естественно, что и ее мать знала, как выбрать из того, что осталось на блюде, лучших крабов для своего мужа, своего сына, его подруги и для самой себя. А моя мама, рассмотрев четырех последних крабов, конечно же, выбрала того, который теперь выглядел самым лучшим, для Старого Чона, потому что ему было почти девяносто лет и он заслужил такое уважение, а следующего более-менее приличного положила папе. На блюде осталось два краба: большой блекло-оранжевый

и тот, номер одиннадцать, с оторванной ногой.

Мама потрясла передо мной блюдом.

— Бери скорее, уже холодный, — сказала она.

Я не была большим поклонником крабов с тех самых пор, как у меня на глазах тот несчастный был сварен заживо в честь моего дня рождения, но я знала, что не могу отказаться. Китайские матери не целуют и не обнимают своих детей, чтобы выразить свою любовь к ним. Они подносят им на блюде вонтоны, утиные желудки и крабов, сохраняя при этом самый суровый вид.

Взявшись за безногого краба, я полагала, что поступаю правильно, но мама запротестовала:

— Нет! Нет! Большой, он тебе. Я сытый.

Я помню аппетитные звуки, производимые всеми присутствующими, — хруст панцирей, высасывание мяса, выскребание палочками последних лакомых кусочков — и тишину у маминой тарелки. Только я одна заметила, как она вскрыла панцирь, понюхала мясо и ушла на кухню с тарелкой в руке, а вернулась уже без краба, с новой партией розеток с соевым соусом, имбирем и луком.

Наполнив желудки, все разом заговорили.

— Суюань! — обратилась тетя Линьдо к маме. — Почему ты носить этот цвет? — Тетя Линьдо указывала крабьей ногой на мамин красный свитер. — Как ты еще можно надеть такой? Слишком молодой! — выговаривала она.

Мама отреагировала так, словно это был комплимент.

— «Эмпориум Кэпвелл», — сказала она. — Девятнадцать доллар. Чем вязать сам, дешевле.

Тетя Линьдо кивнула, как будто цвет стоил такой цены. Потом она ткнула крабьей ногой в своего будущего зятя:

— Смотрите, этот не знает, как есть китайский еда.

— Крабы не китайская еда, — сказала Уэверли своим капризным голосом. Удивительно, но до сих пор ее голос звучит так же, как двадцать пять лет назад, когда нам было по десять лет и она возвестила мне тем же самым тоном: «В отличие от меня ты не гений».

Тетя Линьдо сердито посмотрела на свою дочь.

— Откуда ты знать, что китайский, что не китайский? — А потом повернулась к Ричу и веско произнесла: — Почему самый вкусный не есть?

И я увидела, что Рич улыбается в ответ с выражением смирения на лице, а про себя посмеивается. У него была та же окраска, что и у

лежащего на его тарелке краба: рыжие волосы, молочно-белая кожа и россыпь крупных оранжевых веснушек. Пока он ухмылялся, тетя Линьдо продемонстрировала правильную технику, тыкая палочкой в оранжевую губчатую массу:

— Ты должен здесь покопать, достать вот этот. Мозг самый вкусный, ты попробуй.

Уэверли и Рич обменялись одинаковыми гримасами отвращения. Я услышала, как Уинсент с Лизой шепнули друг другу: «Фи!» — и тоже захихикали.

Дядя Тинь начал посмеиваться, чтобы дать нам понять, что у него припасена своя, особенная шутка. Судя по преамбуле, состоявшей из фырканья и толчков ногами под столом, я заключила, что он, должно быть, выступал с этим номером уже не раз:

— Я сказать мой дочь: «Хей, почему быть бедный? Выходи замуж за богатый!» — Он громко засмеялся и подтолкнул локтем сидевшую рядом с ним Лизу. — Хей, до тебя дошло? Смотри, что выходит. Она выходит за этот малый здесь. За Рич. Потому что я говорить, выходи за богатый. <sup>[11]</sup>

— И когда же вы собираетесь бракосочетаться? — спросил Уинсент.

— То же самое мне хотелось бы спросить у тебя, — ответила Уэверли.

Лиза смутилась, когда Уинсент проигнорировал этот вопрос.

— Ма, я не люблю крабов, — протянула Шошана.

— Хорошая прическа, — бросила мне Уэверли через стол.

— Спасибо, Дэвид всегда делает свою работу отлично.

— Ты хочешь сказать, что до сих пор стрижешься у этого парня на Ховард-стрит? — спросила Уэверли, поднимая одну бровь. — И ты не боишься?

Я почувствовала опасность, но все-таки произнесла в ответ:

— Что ты имеешь в виду? Чего мне бояться? Он всегда очень хорошо стрижет.

— Я имею в виду, что он голубой, — сказала Уэверли. — У него ведь может быть СПИД. Он же стрижет твои волосы, а это ведь живая ткань. Наверное, я, как все матери, немного сумасшедшая, но в наше время нельзя чувствовать себя в полной безопасности!

Я сидела с таким чувством, будто мои волосы стали заразными от корней до самых кончиков.

— Тебе надо сходить к моему парикмахеру, — сказала Уэверли. — Мистер Роури. Он делает чудеса, хотя, пожалуй, берет больше, чем ты привыкла платить.

Я была близка к истерике. Подобные выходы всегда выводят меня из

себя. Например, каждый раз, когда я задаю ей простейший вопрос относительно налогов, она ухитряется повернуть разговор так, чтобы показать, что мне не по карману заплатить за ее совет по официальным расценкам.

Она произносит что-нибудь вроде: «На самом деле о серьезных налоговых вопросах я предпочитаю разговаривать в офисе. Представь, что будет, если за обедом ты невзначай что-то скажешь, а я между делом подам тебе какой-то совет. И потом ты сделаешь как я сказала, а окажется, что это неправильно, потому что ты не предоставила мне исчерпывающей информации. Я буду чувствовать себя ужасно. И ты тоже, не так ли?»

Во время обеда с крабами она так взбесила меня своими инсинуациями по поводу моих волос, что мне захотелось оконфузить и ее, выставив перед всеми в смешном свете. Я решила осадить ее, напомнив про договорную работу, которую сделала для ее фирмы, — восемь страниц рекламы налоговых услуг. Фирма уже на тридцать дней просрочила выплату по моему счету.

— Может быть, я и смогла бы заплатить мистеру Роури по его расценкам, если бы чья-то фирма вовремя заплатила мне по моим, — сказала я с задиристой усмешкой.

Реакция Уэверли превзошла все мои ожидания. Она пришла в неподдельное замешательство и замолчала.

Я поддалась соблазну продолжить:

— Думаю, есть доля иронии в том, что солидная фирма, имеющая дела с серьезными бухгалтерскими расчетами, не может вовремя оплатить свои собственные счета. Уэверли, что это вообще за контора, где ты работаешь?

Она притихла и сидела с потемневшим лицом.

— Эй-эй, девочки, драться не надо! — сказал мой папа, как будто мы с Уэверли по-прежнему были детьми, поссорившимися из-за трехколесного велосипеда и цветных карандашей.

— Хорошо-хорошо, не будем говорить об этом сейчас, — тихо сказала Уэверли.

— Как вы думаете, чем кончится битва гигантов? — Уинсент сделал попытку всех насмешить. Никто не засмеялся.

Но на этот раз я не собиралась позволить ей увильнуть:

— Конечно-конечно, но почему-то каждый раз, когда я тебе звоню, ты тоже не хочешь об этом говорить, — продолжила я.

Уэверли взглянула на Рича, но тот лишь пожал плечами. Тогда она повернулась ко мне и вздохнула:

— Послушай, Джун, я не знаю, как тебе об этом сказать. Просто то, что

ты написала... ну в общем, фирма решила, что это неприемлемо.

— Неправда. Ты говорила, что это великолепно.

Уэверли снова вздохнула:

— Да, я действительно так сказала. Мне не хотелось огорчать тебя. Я надеялась хоть как-нибудь пристроить твою работу. Но ничего не вышло.

Меня как будто бросили без предупреждения в глубокую воду, и я, отчаянно барахтаясь, пошла ко дну.

— Концепции всегда нужно подгонять, — сказала я. — Это... нормально, что с первого раза получается не совсем безупречно. Мне надо было получше объяснить процесс.

— Джун, ну правда... Я не думаю...

— Я могу переделать. Это ничего не стоит. Я настолько же заинтересована в том, чтобы сделать эту работу хорошо, как и ты.

Уэверли вела себя так, словно не слышала моих слов.

— Я стараюсь убедить их оплатить тебе по крайней мере какую-то часть твоего времени. Я знаю, ты вложила в это много труда... Я в долгу у тебя хотя бы за то, что втянула тебя в это дело.

— Ты просто скажи мне, что они хотят изменить. Я позвоню тебе на следующей неделе, чтобы мы могли обсудить всё, строчка за строчкой.

— Джун, я не могу, — произнесла Уэверли с непреклонным видом. — Просто работа сделана... не на том уровне. Я уверена: то, что ты пишешь для других клиентов, превосходно. Но у нас большая фирма. Нам нужен кто-то, кто понимает... ну... наш стиль. — Говоря это, она прикладывала руку к груди, словно речь шла о *ее* стиле.

А потом она, как ни в чем не бывало, расхохоталась:

— Ну на самом деле, Джун. — И она заговорила настойчивым голосом телевизионных реклам: — «*Три* выгоды, *три* удобства, *три* причины купить... Удовлетворение *гарантируется*... для сегодняшних и завтрашних налоговых потребностей...»

Уэверли произнесла это так комично, что все приняли это за хорошую шутку и рассмеялись. И тут, в довершение всего, я услышала, как моя мама говорит ей:

— Правда, учительский стиль не можно. Джун не на такой уровень, как ты. Так родиться надо.

Я удивилась тому, до какой степени униженной я себя почувствовала. Уэверли в очередной раз выставила меня дурой, да еще вдобавок ко всему собственная мать предала. Я улыбалась с таким старанием, что моя нижняя губа начала подрагивать от напряжения. Попытавшись сосредоточиться на чем-нибудь другом, я, помню, взяла свою тарелку и тарелку мистера Чона,

как будто бы убирая со стола, и сквозь слезы четко рассмотрела щербины на краях наших старых тарелок, и даже спросила себя, почему, интересно, мама не пользуется новым сервизом, который я подарила ей пять лет назад.

Стол был усеян останками крабов. Уэверли и Рич закурили и вместо пепельницы положили между собой панцирь краба. Шошана подобралась к пианино и барабанила по клавишам зажатými в обеих руках клешнями. Мистер Чон, ставший со временем совсем глухим, наблюдал за ней и аплодировал: «Браво! Браво!» Если не считать его странных выкриков, никто не произнес ни слова. Мама ушла на кухню и вернулась с тарелкой порезанных на дольки апельсинов. Папа постукивал по останкам своего краба. Уинсент дважды откашлялся, прочищая горло, и похлопал Лизу по руке.

Тишину в конце концов нарушила тетя Линьдо:

— Уэверли, ты дать ей попробовать еще раз. Ты заставить ее спешить первый раз. Конечно, она не можно сразу соображать.

Я услышала, как мама ест апельсиновую дольку. Она была единственным известным мне человеком, кто хрумкал апельсинами так, словно это были хрустящие яблоки. Это звучало хуже, чем зубовой скрежет.

— Хороший надо время, — продолжала тетя Линьдо, кивая головой в знак согласия со своими словами.

— Положить кучу сил, — посоветовал дядя Тинь. — Кучу сил, парень, вот что мне нравится. Хмм, вот что требуется, делай правильно.

— Пожалуй, нет, — сказала я и улыбнулась, перед тем как отнести тарелки в раковину.

Я была на кухне, и уже наступил поздний вечер, когда я осознала, что я не лучше того, что я есть. Я составитель реклам. Я работаю в маленьком рекламном агентстве. Я обещаю каждому новому клиенту: «Мы обеспечим корочку вашей отбивной». Корочка обычно ужаривается до «Трех Выгод, Трех Удобств, Трех Причин Купить». Отбивная обычно оказывается одноосными кабелями, мультиплексерами, конвертерами и тому подобным. Когда речь идет о таких мелочах, я хорошо справляюсь со своей работой.

Я включила воду, чтобы помыть посуду. Я уже не сердилась на Уэверли, а только чувствовала себя усталой глупышкой, как будто спасалась от какой-то погони, а потом оглянулась и обнаружила, что за мной никто и не гнался.

Я взяла мамину тарелку, ту самую, которую она отнесла на кухню в начале обеда. Краб на ней был нетронут. Я приподняла панцирь и

понюхала его. Наверное, из-за того, что я в принципе не любила крабов, мне трудно было понять, что с ним не так.

Когда все ушли, мама пришла ко мне на кухню. Я убирала посуду. Она поставила чайник, чтобы еще попить чаю, и села за маленький кухонный стол. Я ждала, что она начнет ругать меня.

— Обед удался, мам, — сказала я вежливо.

— Не так хороший, — ответила она, ковыряя во рту зубочисткой.

— Что случилось с твоим крабом? Почему ты его выбросила?

— Не так хороший, — повторила она. — Помирать этот краб. Последний нищий не есть такой.

— Как ты это определяешь? Запах был самый обычный.

— Можно сказать заранее, чем готовить! — Она уже стояла у окна, глядя в ночь. — Я перед готовить трясти этот краб. Ноги висеть. Рот — открытый, как покойник.

— Почему же ты сварила его, если знала, что он уже мертвый?

— Я думать... может, только что умирать. Может, на вкус не так плохой. Но я знать запах, мертвый вкус, упругость нет.

— А что, если бы кто-нибудь другой взял этого краба?

Мама посмотрела на меня и улыбнулась:

— Только *ты* выбирать этот краб. Никто другой не брать. Я знать это заранее. Все остальные хотеть качество самый лучший. Ты думать по-другой.

Она произнесла это таким тоном, словно это что-то доказывало — и доказывало что-то хорошее. Она часто говорила вещи, которые звучали хорошо и плохо одновременно.

Я отложила последнюю, треснутую, тарелку и тут вспомнила:

— Мам, почему ты никогда не пользуешься новыми тарелками, которые я тебе купила? Если они тебе не понравились, ты бы лучше сказала мне. Я могла бы их поменять на какие-нибудь другие.

— Конечно нравится, — сказала она с легким раздражением. — Иногда я думать: что-то так хороший, я хочу беречь этот. А потом забывать, что я беречь.

И тут, как будто внезапно вспомнив, она расстегнула свою золотую цепочку и сняла ее, собрав в горсти и цепочку, и висевший на ней нефритовый кулон. Она взяла мою руку, положила все это мне на ладонь и сжала мои пальцы в кулак.

— Нет, мам, — запротестовала я. — Я не могу это взять.

— *Нала, нала!* — Бери, бери! — сказала она бранчливым тоном. И

продолжила по-китайски: — Я давно хотела дать его тебе. Смотри, я ношу его на своем теле, а когда он ляжет на твою кожу, ты поймешь, что это значит. Это смысл твоей жизни.

Я посмотрела на светло-зеленый кулон. Мне хотелось отдать его назад. Я не хотела принимать его. И тем не менее я почувствовала себя так, словно уже проглотила его.

— Ты даешь мне его только из-за того, что произошло сегодня, — сказала я наконец.

— Что произошло?

— Что сказала Уэверли. Что все сказали.

— Тсс! Почему слушать ее? Почему идти за ней, гнаться за ее слова? Она как этот краб. — Мама ткнула в панцирь, лежавший в мусорном ведре. — Всегда ходить вбок, всегда кривая дорога. Ты можно сказать свои ноги ходить другая сторона.

Я надела цепочку на себя. Кулон был холодный.

— Не так хороший, этот нефрит, — сказала она деловито, трогая кулон, и добавила по-китайски: — Это молодой камень. Он пока еще очень светлый, но, если ты будешь носить его каждый день, он потемнеет.

С тех пор как мама умерла, папа ни разу не ел как следует. Поэтому сегодня я здесь, на их кухне, пришла, чтобы приготовить ему обед. Я режу тофу. Я решила приготовить острое блюдо из бобовой пасты. Мама часто говорила мне, что горячее восстанавливает дух и здоровье. Но я делаю это скорее потому, что знаю: папа любит это блюдо, а я умею его готовить. Мне нравится его запах: имбирь, лук-шалот и красный соус чили, который щекочет ноздри, стоит только приоткрыть банку.

Я слышу, как наверху начинают дрожать старые трубы, издавая протяжное «танк!», и вода, льющаяся в раковину, превращается в тоненькую струйку. Кто-то из верхних жильцов, должно быть, принимает дуги. Я вспоминаю мамины жалобы: «Даже ты будешь тупик. Не надо они». Теперь я понимаю, что она имела в виду.

Я ополаскиваю тофу в раковине и вздрагиваю от испуга: в окне неожиданно возникает какая-то темная масса. Это одноухий кот верхних жильцов. Он балансирует на подоконнике и трется боком о стекло.

Я вздыхаю с облегчением: оказывается, мама все-таки не отравила этого проклятого кота. И тут я вижу, что кот трется все сильнее и уже начинает поднимать свой хвост.

— Проваливай отсюда! — кричу я и трижды хлопаю ладонью по стеклу. Но кот в ответ только сужает глаза, прижимает к голове свое

единственное ухо и шипит на меня.

## **МАТЬ-ВЛАДЫЧИЦА ЗАПАДНЫХ НЕБЕС**

— О, хай дуньчжи! Ах ты негодница! — сказала женщина, подтрунивая над своей несмышленной внучкой. — Разве Будда учит нас смеяться без причины?

Ребенок продолжал заливаться смехом, и женщина почувствовала, как в ее душе шевельнулось одно потаенное желание.

— Даже если б я жила вечно, — сказала она девочке, — я бы все равно не знала, чему учить тебя. Я тоже была когда-то такой наивной и беззаботной. Я тоже смеялась безо всякой причины. Но потом мне пришлось расстаться со своей глупой наивностью, чтобы защитить себя. А затем я научила и свою дочь, твою мать, не быть наивной, чтобы ничто не могло причинить ей боль.

Хай дуньчжи, правильно ли я тогда решила? Если я сейчас распознаю плохих людей, не значит ли это, что я и сама стала плохая? Или я вижу, как кто-то подозрительно водит носом, — разве я сама не нюхала той же вони?

Девочка только хохотала в ответ ни бабушкины вздохи.

— О! О! Говоришь, что тебе смешно оттого, что ты уже жила вечно — снова и снова? Говоришь, что ты и есть Сюй Ань Му, Мать-Владычица Западных Небес? Пришла, чтобы ответить на мой вопросы? Хорошо, хорошо, я слушаю...

Спасибо, моя маленькая королева. Тогда ты должна преподать этот урок и моей дочери. Да, да, пусть она узнает, как можно потерять наивность, но сохранить надежды. Как можно научиться смеяться вечно.

## Аньмэй Су

### Сороки

Вчера моя дочь сказала мне: «Мой брак распадается».

И теперь она только и делает, что смотрит, как он разваливается. Она лежит на кушетке у психиатра и выжимает из себя слезы по поводу этого позора. И я думаю, она будет лежать там до тех пор, пока больше нечему будет разваливаться, не о чем плакать, пока все не перегорит.

Она плачет: «У меня нет выбора! Нет выбора!» — и не знает, что делает свой выбор, если не сопротивляется. Можно потерять свой шанс навсегда, если не пытаться его удержать.

Я знаю это, потому что меня воспитали по-китайски: учили не иметь собственных желаний, проглатывать чужие невзгоды, давиться собственной горечью.

И хотя я учила свою дочь прямо противоположному, она стала точно такой же! Может быть, потому что характером она пошла в меня и родилась женщиной. А я пошла характером в свою мать и тоже родилась женщиной. Все мы как ступеньки, шаг за шагом продвигаемся вверх или вниз, но все идем одним путем.

Я знаю, что значит молчать, слушать и смотреть, как будто твоя собственная жизнь только сон. Если не хочется смотреть, можно закрыть глаза. Но что делать, когда не хочется слушать? Я до сих пор слышу то, что случилось более шестидесяти лет назад.



Когда моя мать впервые приехала в дом моего дяди в Нинбо, я ее совсем не знала. Мне было девять лет, и я уже несколько лет ее не видела. Но я знала, что это моя мать, потому что чувствовала ее боль.

— Не смотри на эту женщину, — предупреждала меня тетя. — Она уронила свое лицо, бросила его в поток, текущий к востоку. Дух рода утерян ею навсегда. То, что ты видишь, — это просто разложившаяся плоть, порочная, прогнившая до костей.

Но я смотрела на свою мать. Она не выглядела порочной. Мне хотелось дотронуться до ее лица, так похожего на мое.

Да, на ней была чудная иностранная одежда. Но она не сказала ни слова

в ответ, когда моя тетя проклинала ее. Она склонила голову еще ниже, когда мой дядя дал ей пощечину за то, что она назвала его братом. Она плакала от всего сердца, когда умерла Попо, хотя Попо, ее мать, выгнала ее из дому много лет назад. И после похорон Попо она не перечила моему дяде и приготовилась к возвращению в Тяньцзинь. Она жила там с тех пор, как, запятнав позором свое вдовство, стала третьей наложницей какого-то богача.

Неужели она уедет без меня? Такой вопрос я не могла задать. Я была ребенком. Я могла только смотреть и слушать.

В ночь накануне своего отъезда она прижимала мою голову к себе, как бы стараясь защитить от опасности, которой я не знала. Она еще не успела уехать, а я уже плакала о том, как бы вернуть ее. И пока я лежала, уткнувшись в ее колени, она рассказала мне одну историю.

— Аньмэй, — прошептала она, — ты видела маленькую черепашку, которая живет в пруду?

Я кивнула. Речь шла о прудике у нас во дворе, и я часто баламутила палкой спокойную воду, чтобы заставить черепаху выплыть из-под камней.

— Когда я была маленькой девочкой, черепаха уже жила там, — сказала мама. — Я часто сидела у пруда и наблюдала за тем, как она поднимается к поверхности воды, хватая воздух своим острым клювом. Это очень старая черепаха.

Я хорошо представляла себе эту черепаху и знала, что мама говорит именно о ней.

— Эта черепаха кормится нашими мыслями, — сказала мама. — Я узнала об этом однажды, когда мне было столько же лет, как тебе сейчас. Попо сказала, что я уже больше не ребенок и теперь мне нельзя ни шуметь, ни бегать, ни садиться на землю, чтобы поймать кузнечика. Нельзя и плакать, если мне что-то не нравится. Я должна молчать и слушаться старших. А если я не буду слушаться, сказала Попо, то она отрежет мне волосы и отправит в то место, где живут буддийские монахи.

В тот вечер, когда Попо сказала мне это, я сидела у пруда, глядя на воду. И поскольку я была слабой девочкой, я заплакала. И тут я увидела, как черепаха всплыла и стала подбирать своим клювом мои слезы. Они едва успевали коснуться воды, как она их проглатывала, очень быстро, — пять, шесть, семь слезинок, — а потом черепаха выбралась из пруда, вскарабкалась на гладкий камень и заговорила. Она сказала: «Я съела твои слезы, и поэтому знаю теперь все твои беды. Но я должна предупредить тебя. Если ты будешь плакать, твоя жизнь всегда будет грустной». Потом черепаха раскрыла клюв, и оттуда выпало семь перламутровых яичек.

Яички разбились, из них вылетели семь птиц и тут же принялись стрекотать и петь. Я поняла по их белоснежным брюшкам и приятным голосам, что это были сороки, птицы радости. Они опустили клювы в пруд и начали жадно пить. А когда я протянула руку, чтобы схватить одну из них, они все поднялись в воздух, начали хлестать меня по лицу своими черными крыльями, а потом с хохотом улетели прочь. «Теперь ты видишь, — сказала черепаха, направляясь к пруду, — почему плакать совершенно бесполезно. Твои слезы не смывают твою печаль. Они питают чужую радость. Вот почему ты должна научиться глотать свои слезы».

Но когда мама завершила свой рассказ, я взглянула на нее и увидела, что она плачет. И я тоже заплакала о том, что нам выпала такая несчастная доля — жить подобно двум черепахам, которые видят мир со дна маленького прудика, и он расплывается у них перед глазами.

Проснувшись утром, я услышала — нет, не птиц радости, а сердитые голоса где-то в отдалении. Я выскочила из постели и тихонько подбежала к окну.

Первым делом я увидела свою маму. Опустившись на колени посреди переднего двора, она скребла пальцами каменные плиты, как будто потеряла что-то и знала, что уже не сможет найти. Перед ней стоял дядя, мамин брат, и кричал:

— Ты хочешь забрать свою дочь и загубить заодно и ее жизнь! — Дядя топнул ногой от одной мысли о такой дерзости. — Да тут уж и след твой должен был простыть!

Мама ничего не говорила. Она оставалась на земле, согнувшись в три погибели, и ее спина была такая же круглая, как у черепахи, живущей в пруду. Она плакала, не раскрывая рта. И я начала плакать точно так же, глотая свои горькие слезы.

Я стала поспешно одеваться. И к тому времени, как я сбежала по лестнице и влетела в переднюю, мама уже была готова к отъезду. Слуга выносил ее дорожный сундук. Тетушка держала за руку моего младшего брата. Не успев вспомнить о том, что мне положено держать язык за зубами, я закричала во весь голос:

— Мама! Мамочка!

— Вот видишь, твое пагубное воздействие уже распространилось на твою дочь! — воскликнул дядя.

Мама, не поднимая головы, взглянула на меня и увидела мое лицо. Я не могла сдержать слез. И мне кажется, увидев бегущие по моему лицу слезы, мама переменилась. Она высоко подняла голову и распрямила спину, став

чуть ли не выше дяди. Она протянула мне руку, я подбежала к ней, и она сказала тихо и спокойно:

— Аньмэй, я ни о чем тебя не прошу. Но сейчас я уезжаю в Тяньцзинь, и ты можешь поехать со мной.

Моя тетушка, услышав это, зашипела:

— Девчонка не лучше той, за кем она увязалась! Аньмэй, ты думаешь, что увидишь что-нибудь новое, сидя в новой повозке? Да перед тобой будет всего лишь зад того же самого старого мула. Твоя жизнь — это то, что ты видишь перед собой.

Ее слова еще больше укрепили меня в намерении уехать от них. Потому что то, что я видела перед собой, было домом моего дяди. А он был окружен какими-то мрачными, душераздирающими тайнами, в которых я не разбиралась. Так что я отвернулась от тетушки, будто не слыша ее странных слов, и посмотрела на маму.

Тут мой дядя схватил фарфоровую вазу.

— Ты этого хочешь? — сказал он. — Выбросить свою жизнь на помойку? Если ты поедешь с этой женщиной, то никогда больше не сможешь поднять голову. — Он швырнул вазу на землю, и она разлетелась на тысячу осколков.

Я отпрыгнула, и мама взяла меня за руку. Ее ладонь была теплой.

— Пошли, Аньмэй. Нам надо спешить, — произнесла она с таким выражением, будто вот-вот начнется дождь.

— Аньмэй! — услышала я за спиной жалобный зов своей тетки, но потом дядя сказал:

— *Сюань!* — Кончено! Она уже испорчена.

Оставляя за плечами свою старую жизнь, я задумалась о том, правду ли сказал мой дядя, что я уже испорчена и никогда больше не смогу поднять голову. И я попробовала. И подняла.

Я увидела своего младшего братишку — тетка держала его за руку, а он горько-горько плакал. Мама не отважилась взять с собой и его. Сын никогда не мог перейти жить в чей-нибудь дом. Если бы он ушел, он бы потерял всякую надежду на будущее. Но я знала, что он так не думает. Он плакал от испуга и от обиды, что мама не позвала его с собой.

То, что сказал мой дядя, оказалось правдой. После того как я увидела своего брата, я уже не могла идти дальше с высоко поднятой головой.

В повозке рикши по дороге к вокзалу мама шептала:

— Бедная моя Аньмэй, только ты знаешь. Только ты знаешь, что я пережила.

Когда она сказала это, я почувствовала гордость: только мне были доверены эти утонченные и необыкновенные мысли.

Но в поезде я начала понимать, как далеко позади остается моя жизнь. И я испугалась. Мы ехали семь дней: один день на поезде, шесть дней на пароходе. Сначала мама была очень оживлена. Когда бы моя голова ни повернулась назад, чтобы проводить взглядом то место, где мы только что были, она начинала рассказывать мне про Тяньцзинь.

Она говорила о сообразительных торговцах, готовивших прямо на улице незамысловатую еду: пирожки на пару, вареный арахис и ее любимые тонкие блины. На середину блина продавец разбивал яйцо, потом намазывал слой черной бобовой пасты, после чего заворачивал блин в трубочку и прямо с пылу с жару вручал его голодному покупателю.

Описывая порт, она рассказала мне о том, что попадаете в рыбацкие сети. Она уверяла, что эта еда гораздо вкуснее той, что мы ели в Нинбо. Большие моллюски, креветки, крабы, рыба всех сортов, морская и пресноводная, — все самое лучшее, иначе в порт не приезжало бы столько иностранцев.

Она рассказывала мне об узких улочках и многолюдных базарах. С раннего утра крестьяне продавали там овощи, которых я до тех пор никогда в жизни не видела и не пробовала, но она была уверена, что они покажутся мне небывало вкусными, ароматными и свежими. В городе были целые кварталы, где жили иностранцы, приехавшие бог знает откуда: японцы, русские, американцы, немцы — они всегда селились отдельно друг от друга, каждый народ со своим укладом, у одних чисто, у других — грязь. Их дома были самого необычного вида: одни выкрашены в розовый цвет, другие, как старомодная европейская одежда, были составлены из множества частей, нагроможденных друг на друга под разными углами; у третьих были крыши наподобие остроконечных шапочек, а по фасаду шла декоративная резьба из дерева, покрашенного в белый цвет для сходства со слоновой костью.

А еще мама пообещала, что зимой я увижу снег:

— Через несколько месяцев настанет время холодной росы, после него пойдут дожди, но постепенно дождь будет становиться все более легким и медленным, пока не побелеет и не сделается сухим, как лепестки цветущей айвы.

Но она сказала, что закутает меня в теплые одежды, оденет в куртку и штаны на меху, и тогда никакой холод нам будет не страшен!

Она рассказала мне столько историй, что мое лицо повернулось вперед, навстречу моему новому дому в Тяньцзине. Но когда наступил пятый день

и мы приблизились к Тяньцзиньской бухте, вода поменяла цвет с грязно-желтого на черный, а наш пароход застонал и его начало качать. Я перепугалась и меня стало тошнить. Ночью мне снился текущий к востоку поток, о котором меня предупреждала тетя, и темные воды, изменяющие человека навсегда. Глядя на эти черные воды, я испуганно подумала, что слова тетки сбываются. Я видела, как начала меняться моя мама, как темнело и затуманивалось от мрачных мыслей ее лицо, когда она смотрела на море, думая о чем-то своем. И у меня на душе тоже становилось пасмурно и смутно.

В утро того дня, когда мы должны были прибыть в Тяньцзинь, она оставила меня в кают-компании на верхней палубе и ушла в нашу каюту в своем белом траурном китайском платье, а вернулась оттуда уже иностранкой. Она нарисовала себе широкие брови, удлинив и заострив их ближе к вискам. На ее веки легли темные тени, лицо стало белым, а губы — пурпурными. На самую макушку мама надела маленькую фетровую шляпку коричневого цвета, на которой красовалось большое изогнутое перо в коричневых крапинках. Ее короткие волосы были убраны под шляпку, и только два изящно закрученных локона были выпущены на лоб по обеим сторонам и смотрели друг на друга, будто вырезанные тонким резцом и покрытые черным лаком. На ней было длинное коричневое платье с белым кружевным воротником, спадавшим до пояса и пристегнутым серебряной розой.

Это зрелище потрясло меня. Ведь мы были в трауре. Но я не имела права высказывать собственное мнение. Я была ребенком. Не могла же я упрекать в чем-либо собственную мать! Я могла только испытывать стыд за то, что она носила свой позор с таким бесстыдством.

В руках, закрытых перчатками, она держала большую коробку кремового цвета с иностранной надписью на крышке: «Модная одежда по английским выкройкам, Тяньцзинь». Я помню, что она поставила коробку на пол между нами и сказала мне:

— Открывай же! Чего ты ждешь?

Затаив дыхание, она улыбалась мне. Меня так поразил тогда ее новый вид, что только несколько лет спустя, когда я стала использовать эту коробку для хранения писем и фотографий, я впервые задалась вопросом о том, откуда мама могла знать. Она не видела меня несколько лет и все-таки знала, что однажды я последую за ней и что, когда это случится, мне нужна будет новая одежда.

Когда я открыла коробку, все мои страхи и сомнения развеялись. В коробке лежало новое белоснежное накрахмаленное платье. По воротнику

и рукавам оно было украшено гофрированными оборками, и такие же оборки шли в шесть ярусов по подолу юбки. В коробке лежали также белые чулки, белые кожаные туфли и огромный белый бант, снабженный двумя тесемочками, для того чтобы привязывать его к волосам.

Все оказалось мне велико. Мои плечи выскальзывали из слишком большого выреза, в талии платье было так свободно, что в нем поместилось бы две таких, как я. Но меня это не смутило. И маму не смутило. Она велела мне поднять руки и стоять не шевелясь, а сама достала нитки и булавки и подогнала платье прямо на мне, сделав там и сям небольшие зацепы. Потом она натолкала в носки моих туфель оберточной бумаги, и они стали мне в самый раз. Одетая во все это, я почувствовала себя так, словно у меня выросли новые руки и ноги и мне надо теперь учиться ходить по-новому.

И тут мама снова помрачнела. Она сидела, сложив руки на коленях, и наблюдала за тем, как наш пароход приближается к доку.

— Аньмэй, теперь ты готова начать новую жизнь. Ты будешь жить в новом доме. У тебя будет новый отец. Много сестер. Другой маленький братик. Много одежды и вдоволь вкусной еды. Ты думаешь, этого будет достаточно, чтобы сделать тебя счастливой?

Я тихо кивнула, думая о своем несчастном братишке в Нинбо. Мама ничего больше не сказала ни о доме, ни о моей новой семье, ни о том, какая я буду счастливая. И я больше не задавала вопросов, потому что уже раздались удары колокола и стюард объявил о нашем прибытии в Тяньцзинь. Мама поспешно отдала распоряжения носильщику, указав на два небольших дорожных сундука, принадлежавших нам, и расплатилась с ним так, как будто делала это всю свою жизнь каждый день. Потом она осторожно открыла другую картонку и вытащила оттуда что-то похожее на пять или шесть мертвых лисиц с открытыми стеклянными глазами, мягкими лапами и пушистыми хвостами. Она водрузила эту жуть на свои плечи и шею, крепко сжала мою руку, и мы двинулись с толпой пассажиров вниз.

На пристани нас никто не встречал. Мама медленно спустилась по сходням и прошла через багажную платформу, беспокойно оглядываясь по сторонам.

— Аньмэй, иди же! Ну что ты медлишь! — говорила она, и в голосе ее слышался страх.

Я с трудом переставляла ноги, стараясь устоять в новых, не по размеру туфлях на ускользавшей из-под меня земле. А когда я переставала смотреть себе под ноги и поднимала глаза, то видела только, что люди вокруг нас

страшно суетились и производили впечатление неприкаянных: многочисленные семейства со старыми матерями и отцами, все в темных, мрачных одеяниях, волокли куда-то мешки и корзины со своими пожитками; бледные иностранки, одетые как моя мама, расхаживали под ручку с иностранцами в шляпах; богатые матроны распекали горничных и слуг, которые переносили их дорожные сундуки, детей и корзины с едой.

Мы остановились неподалеку от улицы, по которой в разные стороны сновали рикши и двигались тяжелые повозки. Мы держались за руки, но думали каждая о своем, наблюдая, как одни приезжают на пристань, а другие торопятся уехать. Близился полдень, и хотя на улице было тепло, небо над нами висело серое и пасмурное.

Проведя довольно продолжительное время в бесплодном ожидании и убедившись, что никто за нами не приехал, мама вздохнула и в конце концов подозвала рикшу.

На протяжении этой поездки мама успела поторговаться с рикшей, который хотел получить дополнительную плату за то, что вез нас двоих и наш багаж в придачу. Потом она начала жаловаться на пыль от повозки, запахи на улице, ухабы на дороге, поздний час и боли в желудке. Закончив с этими жалобами, она обратила свое недовольство на меня: пятно на моем новом платье, колтун в волосах, перекрутившиеся чулки. Я старалась снова завоевать ее расположение, задавая ей вопросы о том, что видела по дороге: маленький парк, пролетевшую над нами птичку, длинную электрическую машину, которая обогнала нас, оглушив своим гудком.

Но маму эти вопросы только раздражали, и она одергивала меня:

— Аньмэй, сиди спокойно. Откуда такое нетерпение? Мы всего лишь едем домой.

К тому моменту, когда рикша наконец-то довез нас до места, мы обе были совершенно измотаны.

Что наш новый дом будет незаурядным, мне было известно с самого начала. Мама говорила, что мы будем жить в доме У Циня и что он очень богатый купец. Она рассказывала, что он владеет несколькими ковровыми фабриками и живет в большом особняке в британской концессии Тяньцзиня, лучшем районе города из тех, где было разрешено селиться китайцам. Мы жили неподалеку от Пайма Ди, на Рейсхорс-стрит, населенной только приезжими с Запада. В этом районе было множество маленьких магазинчиков, специализировавшихся на чем-нибудь одном: чай, ткани, мыло.

Дом, по словам мамы, был построен иностранцами; У Цинь любил

иностранные вещи, потому что разбогател благодаря именно иностранцам. И я сделала вывод, что по этой же причине и мама должна была носить иностранную одежду: это было в стиле китайских нуворишей, любивших демонстрировать окружающим свое богатство.

Но хоть я и знала все это заранее, то, что я увидела, поразило мое воображение.

Мы подъехали к каменным китайским воротам в виде арки, с большими створками из черного лакированного дерева и высоким порогом, через который нужно было переступить. За воротами я увидела необычный внутренний двор. В нем не было ни ив, ни сладко пахнущих кассий, ни садовых павильонов, ни скамеечек около прудов, ни бассейнов с рыбой. Вместо этого там были длинные ряды кустов по обе стороны от вымощенной кирпичами широкой дорожки, а за кустами на просторных лужайках были устроены фонтаны. Приблизившись к дому, я увидела, что он выстроен в западном стиле: трехэтажный, каменный, с длинными металлическими балконами на всех этажах и печными трубами на каждом углу.

Когда мы прибыли, навстречу нам с радостными приветствиями выбежала молодая служанка. У нее был высокий гортанный голос:

— О тайтай, вы уже приехали! Да может ли это быть!

Это была Ян Чань, мамина горничная, и она тонко чувствовала, сколько шума нужно поднимать вокруг мамы, чтобы не переборщить. Она называла мою маму тайтай — почтительное обращение к жене хозяина дома, — так, словно мама была его первой и единственной женой.

Ян Чань стала громко звать других слуг, чтобы они забрали наш багаж. Одному из них она велела принести для нас чай и приготовить горячую ванну. А потом начала торопливо пересказывать, как вторая жена уверяла всех, что нас не стоит ждать по крайней мере до конца следующей недели.

— Какой позор! Никого нет, чтобы встретить вас как положено! Вторая супруга со своими домочадцами уехала в Пекин навестить родственников. Ваша дочь такая милая, так похожа на вас! Ой, она такая застенчивая? Первая супруга со своими дочерьми... они все отправились с паломничеством в другой буддийский храм... На прошлой неделе нам нанес визит дядя какой-то кузины, явно не в себе, а потом оказалось, что такой кузины и не существует и он никакой не дядя, и до сих пор никто не знает, кто это был...

Как только мы вошли в дом, я растерялась, не зная, на что смотреть сначала, так много всего там было: винтовая лестница, ведущая все выше и выше, потолок с лепниной, просторные коридоры, за каждым изгибом

которых обнаруживались все новые и новые помещения. Справа от меня был зал, превосходивший размерами все, что я когда-либо видела: он был обставлен парадной мебелью тикового дерева: диванами, столами и стульями. В противоположном конце этого зала виднелись двери, а за ними целая анфилада комнат с превосходной обстановкой. Слева от меня была слабо освещенная гостиная, уже с иностранной мебелью: темно-зеленые кожаные диваны, кресла, конторки красного дерева; стены ее были увешаны картинами, изображавшими охотничьих собак. Обводя глазами все эти комнаты, я замечала то тут, то там каких-то людей, и Ян Чань объясняла мне:

— Эта молодая женщина — служанка второй супруги. А вон там — это никто, просто дочь помощника повара. Этот мужчина ухаживает за садом.

Потом мы начали подниматься по лестнице. Дошли до верхней площадки и попали в еще одну просторную гостиную; потом повернули налево, прошли по широкому коридору, миновали одну комнату и вошли в следующую.

— Это комната твоей мамы, — с гордостью сказала мне Ян Чань. — Здесь ты будешь спать.

И первая вещь, которую я заметила, — она сразу же бросалась в глаза — была великолепная кровать. Она была тяжелой и легкой одновременно: нежный розовый шелк и массивное темное лакированное дерево, украшенное резными драконами. Четыре колонны поддерживали шелковый полог, и с каждой из них свешивался длинный шелковый шнур для подвязывания внутренних занавесов. Ножки кровати имели форму подогнутых львиных лап, отчего создавалось впечатление, что под кроватью скрывается настоящий лев, придавленный ее весом к полу. Ян Чань показала мне маленькую приступочку, с помощью которой можно было забраться на кровать. Упав на шелковое покрывало, я рассмеялась, ощутив, насколько мягкий под покрывалом матрас: раз в десять толще того, что был у меня в Нинбо.

Восседавая на этом ложе, я почувствовала себя настоящей принцессой и с восхищением принялась рассматривать все остальное. Застекленная дверь вела из комнаты на балкон. Перед этой дверью стоял круглый столик из такого же дерева, что и кровать. Его также поддерживали изогнутые львиные лапы, а вокруг стояло четыре стула. Слуга уже поставил на столик чай, принес сладкое печенье и теперь разводил огонь в *хоулу*, маленькой угольной печурке.

Надо сказать, что дом моего дяди в Нинбо назвать бедным было никак нельзя. Дядя был по-настоящему зажиточным человеком. Но этот дом в

Тяньцзине просто поражал воображение. И я подумала, что мой дядя ошибался: в том, что мама вышла замуж за У Циня, не было ничего позорного.

Мои размышления были прерваны неожиданными звуками — кланг! кланг! кланг! — за которыми последовала музыка. На противоположной стене висели большие деревянные часы, украшенные резьбой, изображавшей медведей в лесу. Дверка в часах распахнулась, и оттуда выскочила крошечная комнатка, полная людей. Там был сидевший за столом бородатый мужчина в остроконечной шапочке. Он опускал и поднимал голову, чтобы выпить свой суп, но ему мешала попадавшая в чашку борода. У стола стояла девушка в синем платье с белым шарфом, она каждый раз наклонялась, чтобы подлить ему супу. А за этими мужчиной и девушкой стояла еще одна девушка, в юбке и коротком жакете. Она водила туда-сюда рукой, играя на скрипке. Она всегда играла одну и ту же заунывную песенку. Я до сих пор слышу эту мелодию, хотя прошло столько лет: ни-а! на! на! на! на-ни-на!

Каждый, кто просто посмотрел бы на них и ушел, сказал бы, что это роскошные часы. Но после того как я услышала их бой в первый раз, а потом через час, а потом через два, и так изо дня в день, я стала видеть в них не более чем экстравагантную доуку. Сколько раз среди ночи я просыпалась из-за этих часов! И только позже обнаружила у себя способность не слышать не имеющих значения звуков.

Как счастлива я была в самые первые ночи, в этом интересном доме, где можно было спать вместе с мамой в большой мягкой постели! Иной раз, лежа на этой комфортной кровати, я вспоминала о дядином доме в Нинбо и приходила к заключению, что была там очень несчастна. В такие моменты я начинала жалеть своего младшего братика. Но чаще всего мои мысли устремлялись ко всем тем новым вещам в доме, которые нужно было рассмотреть и потрогать.

Я видела, что горячая вода льется из кранов не только на кухне, она наполняла раковины и ванны на всех трех этажах. Я видела ночные горшки, которые делались чистыми сами по себе, а не с помощью выносивших их слуг. Я видела комнаты, обставленные так же роскошно, как мамина. Ян Чань показала мне комнаты первой жены и еще двух жен — второй и третьей. Некоторые комнаты не принадлежали никому.

— Это для гостей, — пояснила Ян Чань.

Третий этаж был предназначен исключительно для мужской прислуги, а в одной из комнат, по словам Ян Чань, была даже дверь в кабинет-

тайник, устроенный на случай нападения пиратов с моря.

Оглядываясь назад, я затрудняюсь припомнить все, что было в этом доме: при обилии хороших вещей все они через какое-то время кажутся на одно лицо. Мне надоедало все, что не было новым.

— Ах, это! — разочарованно тянула я, когда Ян Чань приносила мне то же самое сладкое мясное блюдо, что и накануне. — Это я уже пробовала.

К маме, казалось, вернулось душевное равновесие. Она снова надела свою старую одежду — длинные китайские платья и юбки с пришитыми понизу белыми траурными полосами. В течение дня она показывала мне странные и забавные вещи и объясняла, как они называются: биде, фотокамера, вилка для салата, салфетка. Вечером, когда делать было нечего, мы разговаривали о слугах: кто из них умнее, кто усерднее, кто самый преданный. Мы судачили обо всем и запекали на плоской поверхности *хоулу* маленькие яички и сладкую картошку только ради того, чтобы просто насладиться ее запахом. И по ночам мама опять рассказывала мне разные истории, пока я не засыпала в ее объятиях.

Оглядываясь на прожитые годы, я не могу припомнить, чтобы я когда-либо еще чувствовала себя столь безмятежно, как в те дни: у меня не было ни тревог, ни страхов, ни желаний, моя жизнь казалась такой приятной, словно я лежала внутри мягкого кокона из розового шелка. Но я очень четко помню, когда весь этот уют перестал быть уютным.

Пожалуй, это произошло недели через две после нашего приезда. Я играла в большом саду позади дома, отфутболивая мяч и наблюдая, как две большие собаки гоняются за ним. Мама сидела за столиком и смотрела, как я играю. И тут в отдалении послышались гудки и крики. Собаки забыли про мяч и с заливистым радостным лаем помчались в ту сторону.

Мамино лицо приняло то же испуганное выражение, что и в порту. Она поспешно скрылась в доме. А я обошла угол дома и увидела, что к парадному входу прибыли две сияющие черные повозки рикш, а за ними — большой черный автомобиль. Из одной повозки слуга вытаскивал багаж, со второй соскочила молоденькая горничная.

Все слуги столпились вокруг автомобиля, восторженно рассматривая свое отражение в полированном металле, стекла с задернутыми шторками и бархатные сиденья. Потом водитель распахнул заднюю дверцу, и оттуда выбралась молоденькая девушка. У нее были короткие волосы с завивкой в несколько рядов. Она казалась всего на несколько лет старше меня, но была одета как женщина, носила чулки и высокие каблуки. Я бросила взгляд на свое перепачканное травой белое платье и устыдилась своего

вида.

А потом я увидела, как слуги, по пояс скрывшись в недрах автомобиля, поднимают кого-то с заднего сиденья, бережно поддерживая под обе руки. Это был У Цинь, крупный мужчина, не высокий, но надутый как индюк, гораздо старше моей мамы, с высоким блестящим лбом и большой темной родинкой на одной ноздре. На нем был западного покроя пиджак, жилет, явно с трудом застегнутый на все пуговицы, и довольно просторные брюки. Охая и кряхтя, У Цинь выбрался из машины на всеобщее обозрение. Но едва лишь его ботинки коснулись земли, он сразу же направился к дому, при этом, несмотря на раздававшиеся со всех сторон приветствия, вел себя так, словно не слышал и не видел, как суетятся слуги, распахивая перед ним двери, перетаскивая в дом багаж, бережно принимая его длинное пальто. У Цинь прошествовал в дом, не удостоив никого взглядом, а приехавшая с ним девочка семенила следом, жеманно улыбаясь всем подряд, как будто люди собрались здесь только для того, чтобы поприветствовать ее. Она еще не успела переступить порог, как я услышала, что один слуга говорит другому:

— Пятая жена такая юная, что не привезла с собой никаких слуг, кроме кормилицы.

Я подняла глаза и увидела свою маму, наблюдавшую за всем происходящим из окна. Таким вот бестактным образом ей дали знать, что У Цинь взял еще одну жену, которая на самом деле была лишь причудой, аляповатым украшением его нового автомобиля.

Мама не испытывала никакой ревности по отношению к этой девочке, которую отныне станут величать пятой супругой. Из-за чего стала бы она ревновать? Мама не любила У Циня. Девушка в Китае выходила замуж не по любви, а чтобы получить некое положение. Положение моей матери, как я узнала позже, было самым худшим.

После прибытия У Циня и пятой жены мама часто оставалась в своей комнате, занимаясь вышиванием. Днем мы отправлялись в долгие молчаливые поездки по городу, разыскивая отрез шелка такого оттенка, который она, казалось, не могла назвать со всей определенностью. Точно таким было и ее несчастье. Его она тоже не могла назвать.

И поэтому, хотя все казалось весьма мирным, я знала, что это был обманчивый мир. Можно лишь удивляться тому, как маленький ребенок, всего-навсего девяти лет, мог знать это. Сейчас я и сама этому удивляюсь. Я припоминаю только, как неуютно я себя чувствовала, как где-то в животе возникало ощущение, что скоро произойдет что-то ужасное. Нечто подобное я испытала лет пятнадцать спустя, когда японцы начали

сбрасывать на нас бомбы и я, услышав в отдалении приглушенное гроыхание, поняла, что приближается что-то непоправимое.

Через несколько дней после прибытия У Циня домой я проснулась среди ночи. Мама мягко трясла меня за плечо.

— Аньмэй, будь хорошей девочкой, — произнесла она усталым голосом. — Ступай в комнату Ян Чань.

Я протерла глаза, увидела темную тень и начала плакать. Это был У Цинь.

— Не надо плакать. Ничего страшного не случилось. Ступай к Ян Чань, — прошептала мама.

И потом она тихонько перенесла меня из постели на холодный пол. Я слышала бой резных часов и возмущенный бас У Циня, жаловавшегося на то, что он уже продрог. А когда я пришла к Ян Чань, то поняла, что она, по-видимому, ожидала меня и знала, что я буду плакать.

На следующее утро я не могла поднять глаз на маму. Но я заметила, что у пятой жены было такое же заплаканное лицо, как у меня. И за завтраком в то утро ее злость прорвалась наружу: она при всех накричала на слугу, упрекая его в медлительности. Все, даже моя мама, повернули головы в ее сторону, удивляясь ее плохим манерам, тому, что она позволяет себе так грубо обращаться с прислугой. Я увидела, как У Цинь бросил на нее потцовски колючий взгляд, и она расплакалась. Но ближе к полудню пятая жена уже снова улыбалась, расхаживая по дому в новом платье и новых туфлях.

Днем мама впервые заговорила со мной о том, как она несчастна. Мы ехали на рикше в магазин за нитками для вышивания.

— Ты видишь, какая унижительная у меня жизнь? — заплакала она. — Ты видишь, что со мной здесь никто не считается? Он привез домой новую жену, девчонку-простолюдинку, со смуглой кожей и плохими манерами! Купил ее за несколько долларов в бедной деревенской семье, которая лепит кирпичи из грязной глины. А в те ночи, когда он не может пользоваться ею, он приходит ко мне, провоняв всей этой грязью.

Она уже плакала вовсю, перескакивая, как сумасшедшая, с одного на другое:

— Видишь теперь, что четвертая жена значит меньше, чем пятая? Аньмэй, ты не должна это забыть. Я была главной супругой, *йи тай*, была женой образованного человека! Твоя мать не всегда была четвертой женой, *си тай!*

Она произнесла слово *си* с такой ненавистью, что я вздрогнула. Оно

прозвучало как сц, означающее «смерть». И я вспомнила, как Попо однажды сказала мне, что четыре — очень несчастливое число, потому что, если произнести его сердито, оно обязательно прозвучит неправильно.

Наступило время холодной росы. Похолодало. Вторая и третья супруги со своими детьми и слугами вернулись в Тяньцзинь. Их приезд вызвал в доме переполох. У Цинь приказал отправить за ними на вокзал новый автомобиль, но, конечно же, его было недостаточно, чтобы привезти их всех домой. Поэтому за машиной ехало около дюжины рикш, они колесили сзади, выбрасывая коленки вверх, словно кузнечики, составляющие свиту большого сияющего жука. Из машины начали выбираться женщины.

Мама стояла за моей спиной, готовая приветствовать всех приехавших. Первой в нашу сторону направилась женщина в однотонном иностранном платье, обутая в большие некрасивые туфли. За ней шли три девочки, одна из которых была примерно моего возраста.

— Это третья жена и три ее дочери, — сказала мама.

Эти девочки были еще более застенчивы, чем я. Опустив головы, они молча жалась к своей матери. А я продолжала наблюдать за ними. Они были такие же невзрачные, как и их мать, с большими зубами, мясистыми губами и такими мохнатыми бровями, что их можно было принять за гусениц. Третья жена тепло поприветствовала меня и разрешила мне отнести наверх один из ее пакетов.

Я почувствовала, как мамина рука сжимает мое плечо.

— А это вторая жена. Она захочет, чтобы ты звала ее Большой Мамой, — прошептала она.

Я увидела женщину в черном меховом манти до пят и модной западной одежде, выдержанной в темных тонах. На руках у нее был маленький мальчик, упитанный и розовощекий, на вид около двух лет.

— Это Сюаюди, твой младший брат, — прошептала мама.

На мальчике была шапочка, сшитая из того же черного меха, и он водил своим маленьким пальчиком по длинному жемчужному ожерелью второй жены. Меня удивило, что у нее такой маленький ребенок. Вторая жена была даже красива и, по-видимому, здорова, но при этом совсем старая, наверное лет сорока пяти. Она передала ребенка слуге и начала давать указания толпившейся вокруг нее челяди.

Потом вторая жена с улыбкой приблизилась ко мне, от переливающегося меха ее манти, казалось, исходило сияние. Она смотрела на меня в упор, так пристально, как будто уже когда-то видела раньше, а потом улыбнулась, потрепала меня по голове и вдруг быстрым грациозным

движением маленьких рук сняла с себя длинную жемчужную нить и повесила ее мне на шею.

Это было самое великолепное ювелирное изделие из всего, что я когда-либо видела. Оно было сделано в западном стиле: длинная нить, ровные бусины одинакового розоватого оттенка и тяжелая серебряная застежка, украшенная замысловатым рисунком.

Моя мама попыталась протестовать:

— Это слишком дорогой подарок для маленького ребенка. Она его испортит или потеряет где-нибудь.

— Личико такой хорошенькой девочки обязательно нужно чем-нибудь подсвечивать! — обращаясь ко мне, невозмутимо парировала вторая жена.

Мама промолчала в ответ и слегка отстранилась от меня, из чего я заключила, что она рассержена. Она не любила вторую супругу. Мне следовало быть осмотрительной в проявлении своих чувств: мама не должна была подумать, что вторая супруга покорила мое сердце. Но у меня возникло чувство безрассудной радости оттого, что она выказала мне особое расположение.

— Благодарю вас, Большая Мама, — сказала я второй супруге. Чтобы не показать ей свое лицо, я смотрела вниз, но при этом ничего не могла поделать со своей улыбкой.

Некоторое время спустя мы с мамой пили чай у нее в комнате, и я знала, что она сердится.

— Будь осторожна, Аньмэй, — сказала мама. — То, что ты слышишь, на самом деле неискренне. Одной рукой она делает облака, а другой — дождь. Она пытается подкупить тебя, чтобы ты была готова для нее на всё.

Я сидела спокойно, стараясь не слушать маму. Я думала о том, что мама всегда всем недовольна и что, возможно, все ее несчастья происходят от постоянных жалоб. Я думала о том, что не надо слушать ее.

— Дай-ка мне это ожерелье, — неожиданно сказала мама.

Я смотрела на нее, не шевелясь.

— Ты мне не веришь, поэтому дай сюда это ожерелье. Я не позволю ей купить тебя так дешево.

Я по-прежнему сидела неподвижно, и тогда она встала, подошла ко мне и сняла с меня ожерелье. И прежде чем я успела вскрикнуть, чтобы остановить ее, она бросила его на пол и топнула по нему каблуком. Когда она положила его на стол, я увидела, зачем она это сделала: в ожерелье, почти покорившем мое сердце и разум, теперь появился изъян —

треснувшая стеклянная бусина.

Потом мама сняла эту разбитую бусину и связала нитку так, что ожерелье снова выглядело целым. Она велела мне носить его каждый день в течение недели, чтобы я запомнила, как легко потерять себя, купившись на фальшивку. И только после того как я проносила искусственный жемчуг достаточно долго для того, чтобы усвоить этот урок, мама разрешила мне снять его. Она открыла свою шкатулку и повернулась ко мне:

— Теперь ты сможешь отличить настоящее от поддельного?

Я утвердительно кивнула. Она положила что-то мне в руку. Это было тяжелое кольцо с кристально-чистым, как вода, синим сапфиром, в центре которого была сияющая звезда, столь прекрасная, что я всегда потом смотрела на это кольцо как на чудо.

Еще до наступления следующего холодного месяца первая супруга со своими двумя незамужними дочерьми вернулась из Пекина, где у нее был свой дом. Я помню, мне подумалось, что теперь-то пришла очередь второй супруги кланяться. Первая супруга была главной женой по закону и по обычаю.

Но первая жена оказалась ходячим призраком и не представляла никакой угрозы для второй жены, чей сильный дух нисколько не страдал от ее присутствия. Первая жена, с ее расплывшейся фигурой, перетянутыми ступнями, старомодными жакетами и штанами на ватной подкладке, с изрезанным морщинами, плоским лицом, казалась мне древней и хилой старушкой. Но теперь, когда я вспоминаю ее, мне думается, она не должна была быть слишком уж старой, ей было, наверное, столько же лет, сколько и У Циню, — что-нибудь около пятидесяти.

Когда я впервые увидела первую жену, то решила, что она слепая. Она вела себя так, будто не видит меня. Она не видела У Циня. Она не видела мою маму. Но, правда, своих дочерей она видела хорошо. Они обе были старыми девами, перестарками, вышедшими из возраста, подходящего для замужества, — им было по крайней мере лет по двадцать пять. И первая жена всегда обретала зрение, чтобы вовремя отругать двух собак за то, что они вынюхивают что-то у нее в комнате, или роются в саду у нее под окном, или мочатся на ножку стола.

— Почему первая жена что-то видит, а что-то нет? — спросила я у Ян Чань однажды вечером, когда она помогала мне мыться.

— Первая супруга говорит, что видит только совершенство Будды, — сказала Ян Чань. — И уверяет, что к недостаткам она слепа.

Ян Чань добавила, что первая жена предпочитает закрывать глаза на свой неудачный брак. Она была соединена с У Цинем в *тяньди*, в небесной

и земной юдоли. Это был спиритуальный брак, устроенный свахой по заказу его родителей и находящийся под покровительством духов предков. Но через год замужества первая жена родила девочку, у которой одна нога была короче другой. После такого несчастья первая жена начала ездить по буддийским храмам, делая щедрые пожертвования и поднося монахам искусно сшитые шелковые одеяния; она жгла благовония и молилась перед изваяниями Будды, чтобы он удлинил ногу ее дочери. После чего Будда решил облагодетельствовать первую жену еще одной дочерью, на этот раз с ногами без изъяна, но — увы! — с расплзшимся на пол-лица родимым пятном цвета черного чая. После этого второго несчастья первая жена стала так часто ездить с паломничеством на юг, в Циннань, до которого было всего полдня езды на поезде, что У Цинь купил ей дом возле утеса Тысячи Будд в бамбуковой роще у кипящих источников. И каждый год он увеличивал сумму, отпускаемую ей на содержание ее собственного дома. Однако дважды в год, на самые холодные и на самые жаркие месяцы, она приезжала в Тяньцзинь с визитом вежливости, чтобы пострадать от невыносимых зрелищ в доме своего мужа. Во время пребывания в Тяньцзине она не покидала своей спальни, сидя, как Будда, целый день на одном месте, покуривая опиум и тихо бормоча что-то себе под нос. Она не спускалась вниз к общим трапезам, поскольку обычно либо постилась, либо ела вегетарианские блюда у себя в комнате. А У Цинь раз в неделю навещался к ней в спальню с получасовым визитом, обычно ближе к полудню, чтобы попить с ней чай и поговорить о ее самочувствии. По ночам он ее не беспокоил.

Появление этой женщины-привидения, конечно, не причиняло никаких страданий моей маме, но зато оно способствовало зарождению некоторых идей. Мама решила, что она претерпела уже достаточно для того, чтобы тоже получить свой собственный дом, может быть не в Циннани, но восточнее, в Петайхо, состоящем из садов и террас очаровательном курортном местечке на морском побережье, где обитали преимущественно богатые вдовы.

— Мы будем жить в своем собственном доме, — счастливым голосом сообщила она мне в тот день, когда первый снег мягко падал за окном, засыпая окрестности. На ней был новый шелковый халат на меху, отливавший бирюзой подобно перьям зимородка. — У нас будет совсем маленький домик, не сравнить с этим. Но мы сможем жить там одни. С нами поедет Ян Чань и несколько других слуг. У Цинь обещал мне.

В течение холодных зимних месяцев мы все, как взрослые, так и дети,

скучали. Мы не отваживались выходить из дома. Ян Чань предупредила меня, что стоит мне высунуть нос наружу, как кожа у меня замерзнет и растрескается на тысячу кусочков. Другие слуги, каждый день бывавшие в городе, все время болтали о том, что они видели: выходы из подсобных помещений магазинов были забаррикадированы телами замерзших нищих. Мужчина это или женщина, разобрать было невозможно, потому что лица у них запорошены снегом.

Так что целыми днями мы сидели в доме, изыскивая способы занять себя. Мама рассматривала иностранные журналы, вырезая из них картинки с понравившимися ей платьями, потом спускалась вниз к портнихе, чтобы обсудить, как сшить такое платье из имеющихся под руками тканей.

Я не любила играть с дочерьми третьей жены, такими же забитыми и недалекими, как их мать. Они могли целыми днями сидеть у окна, наблюдая, как восходит и садится солнце, и им этого хватало. Поэтому я шла к Ян Чань, и мы с ней жарили сладкие каштаны на маленькой угольной печке. Разумеется, мы хихикали и судачили обо всем на свете, когда, обжигая пальцы, шелушили готовые орехи. Как-то раз, услышав бой часов — все ту же надоевшую мелодию, — я состроила кислую мину. Ян Чань напела дурным голосом нечто в стиле классической оперы, и мы обе залились громким хохотом, вспомнив развлечение, устроенное накануне вечером второй женой. Она взялась исполнять нам какие-то арии своим дребезжащим голосом, аккомпанируя себе на трехструнной лютне и постоянно сбиваясь с ритма. Это мучение продолжалось до тех пор, пока У Цинь, заснув в своем кресле, не дал всем понять, что уже достаточно. Все еще посмеиваясь, Ян Чань рассказала мне историю второй супруг и.

— Лет двадцать тому назад она была знаменитой кафешантанной певицей и пользовалась определенным уважением, особенно у женатых мужчин — завсегдатаев чайных домов. Не будучи красавицей даже и в молодые годы, она уже тогда была многоопытной чаровницей, поднаторевшей в искусстве обольщения. Она играла на нескольких музыкальных инструментах и с разрывающей сердце невинностью пела старинные баллады, прикладывая пальчик к щечке и скрещивая свои крошечные ножки в нужной манере. У Цинь предложил ей стать его наложницей вовсе не из любви, а из тщеславия, чтобы завладеть тем, чего хотели многие другие мужчины. И эта певичка, посмотрев на его непомерное богатство и слегка тронувшуюся умом первую жену, согласилась.

С самого начала вторая супруга знала, как держать деньги У Циня под контролем. По тому, как бледнеет его лицо при вое ветра, она поняла, что

его страшат духи и привидения. А всем известно, что есть только один способ избавиться от мужа — совершить самоубийство. Только так женщина получает возможность отомстить неугодному ей мужу, потому что в любой момент может явиться к нему в виде привидения и отвернуть от дома удачу, пустив по ветру состояние мужа, словно чайные листья. Поэтому когда У Цинь отказался увеличить сумму на ее содержание, она совершила притворное самоубийство: съела кусок чистого опиума, достаточный для того, чтобы ее начало выворачивать наизнанку, и отправила свою горничную к У Циню сообщить, что госпожа умирает. Через три дня вторая супруга получила даже большее содержание, чем то, о котором просила.

Она совершила столько притворных самоубийств, что мы, слуги, начали подозревать, что она более не утруждала себя принятием опиума, а просто искусно разыгрывала все это. Вскоре ей выделили лучшие комнаты и личного рикшу, она получила дом для своих престарелых родителей и достаточно денег, чтобы делать богатые пожертвования в храмах.

Единственное, чего она не могла иметь, так это детей. А она знала, что У Цинь вскоре озаботится тем, чтобы у него родился сын, который со временем будет выполнять церемонии поклонения предкам и таким образом обеспечит ему бессмертие в загробной жизни. Так что еще до того как У Цинь смог бы выразить недовольство по поводу отсутствия сыновей, вторая супруга сказала: «Я ее уже нашла. Я нашла наложницу, подходящую для того, чтобы родить тебе сыновей. С первого взгляда на нее можно понять, что она девственница». И это было совершеннейшей правдой. Как ты сама знаешь, третья супруга совсем некрасива. Она не может похвастать даже маленькой ножкой.

Третья супруга, конечно, была столь многим обязана второй супруге — ведь та пристроила ее замуж! — что никаких споров по поводу ведения домашнего хозяйства между ними и быть не могло. Конечно, второй супруге можно было и пальцем не шевелить, но именно она стала распоряжаться закупками, следить за пополнением запасов, нанимать слуг и рассылать родственникам приглашения на праздники. Она заботилась о хороших кормилицах для всех трех дочерей третьей жены, рожденных ею У Циню. И позже, когда У Цинь опять забеспокоился о сыне и начал тратить слишком много денег на посещения чайных домов в других городах, вторая жена устроила так, чтобы третьей наложницей и четвертой женой У Циня стала твоя мама.

Ян Чань рассказала всю эту историю с такой непосредственностью, что я даже захлопала в ладоши, восхищаясь тем, сколь находчиво она ее завершила. Мы продолжали лущить каштаны, но я недолго смогла усидеть спокойно.

— А что сделала вторая супруга для того, чтобы моя мама вышла замуж за У Циня? — спросила я робким голосом.

— Детям нечего совать нос в такие дела! — осадил меня Ян Чань.

Я тут же потупила взор и молчала до тех пор, пока Ян Чань самой не захотелось послушать, как ее голос нарушает тишину этого дня.

— Твоя мама, — сказала Ян Чань, как бы разговаривая сама с собой, — слишком хороша для этой семьи. Пять лет назад — твой отец умер всего лишь за год до этого — мы с ней отправились в Ханьчжоу, чтобы попасть в пагоду Шести Совершенств на дальней стороне Западного озера. Твой отец

был уважаемым исследователем, знатоком буддизма; среди прочего он занимался и Шестью Совершенствами, которым посвящена эта пагода. Твоя мама отправилась туда на поклонение, дав обет стремиться к совершенству духа и тела, к гармонии между мыслями, словами и делами, воздерживаться от легковесных суждений и остерегаться богатства. А в лодке, которая везла нас обратно, на другой берег озера, мы с ней сидели напротив мужчины и женщины. Это были У Цинь и вторая супруга.

У Цинь, должно быть, сразу заметил красоту твоей мамы. В то время волосы у нее были до пояса, и она собирала их в большой пучок высоко на затылке. И кожа у нее была необычная, розовая и блестящая. Даже белая вдовья одежда не умаляла ее красоты. Но именно потому, что она была вдовой, она не представляла особого интереса для мужчин, ведь во второй раз она уже не могла выйти замуж.

Но это не остановило вторую супругу. Ей к тому времени надоело смотреть, как деньги ее мужа перетекают в чайные дома. Того, что У Цинь тратил на стороне, хватило бы на содержание еще пяти жен! Она была озабочена тем, как бы умерить аппетиты своего мужа в том, что касалось связей на стороне. Поэтому она сговорила с У Цинем о том, чтобы залучить твою маму к нему в постель.

Вторая супруга завязала разговор с твоей мамой и выяснила, что на следующий день она собиралась отправиться в монастырь Духовного Уединения. И вторая супруга тоже туда заявила. После дружеской беседы она пригласила твою маму на обед, якобы для продолжения знакомства. Твоей маме очень не хватало хороших собеседников, и она с радостью согласилась. А после обеда вторая жена обратилась к ней со словами: «Вы играете в маджонг? О, даже если вы играете плохо, это не имеет значения: ведь нас здесь только трое, и если вы не будете так добры составить нам компанию завтра вечером, то нам и вовсе не удастся поиграть».

Вечером следующего дня, после затянувшейся игры в маджонг, вторая супруга, зевая во весь рот, стала настаивать, чтобы гостья у них переночевала: «Оставайтесь! Оставайтесь! К чему церемониться? Нет-нет, ваша церемонность на самом деле оборачивается неудобством. Зачем будить мальчика-рикшу? — говорила вторая супруга. — Посмотрите, какая широкая у меня постель! Тут вполне хватит места для двоих».

И пока твоя мама безмятежно спала в постели второй супруги, та поднялась среди ночи и потихоньку ушла, а на ее место пришел У Цинь. Проснувшись оттого, что кто-то трогает ее, просунув руку под белье, твоя мама выскочила из постели. Но У Цинь схватил ее за волосы, швырнул на

пол и, наступив ей на горло, велел раздеваться. Когда он навалился на нее, она не проронила ни звука.

Рано утром, с распущенными волосами и вся в слезах, она уехала на рикше. О том, что случилось, она не сказала никому, кроме меня. Но вторая супруга раструбила повсюду о бесстыдной вдове, затащившей У Циня в постель.

Как могла какая-то вдова обвинить богатую госпожу во лжи! Поэтому, когда У Цинь предложил твоей маме стать его третьей наложницей и родить ему сына, какой у нее был выбор? Ведь она была уже так опозорена! Когда она вернулась в дом своего брата, чтобы проститься со всеми, и сделала три нижайших поклона, брат пнул ее, как проститутку, а собственная мать выгнала ее из дома с проклятиями. Вот почему ты не видела свою маму до тех пор, пока не умерла твоя бабушка. Твоя мать уехала в Тяньцзинь, чтобы скрыть свой позор — ведь богатых не судят. А через три года у нее родился сын, которого забрала вторая супруга и объявила своим собственным.

— Так вот я и попала в дом У Циня, — с гордостью заключила Ян Чань.

А я так вот и узнала, что малыш Сюаюди на самом деле был маминым сыном, моим младшим братом.

По правде говоря, Ян Чань нехорошо поступила, рассказав мне мамину историю. Секреты, как кастрюли на огне, надо держать подальше от детей, потому что, опрокинув на себя суп, ребенок может обвариться, а правда ведь обжигает куда больнее, чем кипящий суп.

После того как Ян Чань рассказала мне эту историю, я стала всё видеть. Я стала слышать то, чего раньше просто не понимала.

Я поняла истинную натуру второй жены.

Я видела, что она часто давала деньги пятой жене, чтобы та съездила в свою бедную деревню, и слышала, как она подначивала эту глупую девчонку: «Покажи, покажи своим родственникам, какой богатой ты стала!» Конечно же, эти частые поездки напоминали У Циню о низком происхождении его пятой супруги и о том, каким глупцом он был, польстившись на ее грязную плоть.

Я видела, как вторая супруга с глубочайшим почтением кланялась первой супруге, и слышала, как она вопрошает, не иссякли ли у госпожи запасы опиума. И я поняла, почему первая жена потеряла свою силу и власть.

Я видела, каким страхом переполнялась третья жена, когда вторая жена рассказывала ей истории про то, как состарившихся младших жен

выставляют на улицу. И я понимала, почему третья жена так пеклась о благоденствии второй супруги.

Я видела, как больно моей матери смотреть на то, как вторая жена покачивает Сюаюди на своих коленях, целует его и приговаривает: «До тех пор, пока я твоя мать, ты никогда не будешь бедным. Ты никогда не будешь несчастным. Ты вырастешь, чтобы владеть этим домом и заботиться обо мне, когда я состарюсь».

И я знала, отчего мама так часто плакала в своей комнате. Обещание У Циня купить ей дом — за то, что она родила ему его единственного сына, — было аннулировано в тот день, когда вторая супруга устроила очередное представление с самоубийством. И мама понимала, что она уже не сможет заставить его выполнить это обещание.

Я очень страдала после того, как Ян Чань рассказала мне мамину историю. Мне хотелось, чтобы мама накричала на У Циня и на вторую супругу, и на Ян Чань тоже и сказала бы ей, что она была не права, рассказав мне все это. Но у мамы не было даже права кричать. И выбора у нее тоже не было.

За два дня до Нового года по лунному календарю Ян Чань разбудила меня, когда за окном было еще темно.

— Быстро! — крикнула она, потащив меня за собой еще до того, как мое сознание включилось и стало отражать то, что видели мои глаза.

Мамина комната была ярко освещена. Едва переступив порог, я увидела ее, подбежала к кровати и встала на приступочку. Мама лежала на спине, поворачивая голову то вправо, то влево, а руки и ноги у нее дергались как у солдата, марширующего в никуда. А потом все ее тело вытянулось и напряглось так, словно она пыталась выбраться сама из себя. Челюсть у нее отвисла — я увидела, как распух ее язык, и она стала кашлять так, как будто пыталась выплюнуть его.

— Проснись! — прошептала я ей, обернулась и увидела всех: У Циня, Ян Чань, вторую супругу, третью супругу, пятую супругу, врача — все они были там.

— Она приняла слишком много опиума, — запричитала Ян Чань. — Врач говорит, что не может ничего сделать. Она отравилась.

И никто ничего не делал, все только ждали. Я тоже ждала, и время тянулось нескончаемо.

Единственное, что нарушало тишину, была песенка, которую играла на скрипке девочка из часов. И мне хотелось крикнуть часам, чтобы они прекратили эти бессмысленные звуки, но я молчала.

Я смотрела, как мама марширует в своей постели. Мне хотелось сказать ей слова, которые смогли бы успокоить ее тело и дух. Но, как и все остальные, я стояла рядом и не произносила ни слова.

И тогда я вспомнила историю про маленькую черепаху, предупреждавшую о том, что не надо плакать. И мне хотелось крикнуть маме, что от этой истории нет никакого проку. Слез было уже слишком много. Я старалась глотать их, но они набегали так быстро, что мои стиснутые губы разжались и я зарыдала в голос, все громче и громче, предоставляя всем присутствующим питаться моими слезами.

От горя я упала в обморок, и они отнесли меня назад, в постель Ян Чань. Поэтому в то утро, когда моя мама умирала, я видела сны.

Я падала с неба на землю, в маленький пруд. И стала маленькой черепахой, лежащей на дне этого водоема. Я видела над собой клювы тысячи сорок, пьющих из пруда, они пили и пели счастливыми голосами, наполняя свои снежно-белые животы. Я горько плакала, слезы лились ручьями, но они всё пили и пили, и их было очень много, и пили они до тех пор, пока у меня уже не осталось слез и пруд не был осушен до последней капли.

Потом уже Ян Чань сказала мне, что мама, по совету второй супруги, хотела сделать притворное самоубийство. Ложь! Неправда! Она никогда не стала бы слушать эту женщину, причинившую ей столько зла.

Я знаю, что мама слушала только свое собственное сердце, говорившее ей, что не надо больше притворяться. Я знаю это, иначе зачем бы ей было умирать за два дня до лунного Нового года? Зачем нужно было так тщательно спланировать свою смерть, что она стала оружием?

За три дня до лунного Нового года она ела *юваньсю*, клейкие сладкие пирожки, которые готовят на праздник. Она глотала их один за другим. И я помню ее странное замечание: «Видишь, какая жизнь. Ты будешь давиться горечью, пока не съешь ее достаточно». Дело в том, что эти *юваньсю* были начинены каким-то горьким ядом, а не опиумом, не подслащенными семенами идиотского счастья, как думала Ян Чань и все остальные. Когда яд начал проникать в ее тело, она прошептала мне, что предпочитает убить свой слабый дух, чтобы укрепить мой.

Клейкое тесто удержало яд в ее теле. Удалить его оказалось невозможно, и поэтому она умерла — за два дня до лунного Нового года. Ее положили на деревянных носилках в холле. Погребальные одежды, в которые ее облачили, были куда богаче тех, что она носила при жизни. Шелковое нижнее белье, чтобы она не мерзла и без спуда меховых одежд.

Шелковое платье, расшитое золотой нитью. Золотой головной убор, украшенный нефритом и лазуритом. На ногах у нее, чтобы облегчить ей путь в нирвану, были легчайшие шлепанцы с подметками из мягчайшей кожи, с двумя огромными жемчужинами на носках.

Придя посмотреть на нее в последний раз, я припала к ней всем телом. И она медленно открыла глаза. Я не испугалась. Я знала, что она может видеть меня и то, чего она в конце концов добилась. Так что я закрыла пальцами ее глаза и сказала ей всем своим сердцем: я тоже могу видеть правду, я тоже стала сильной.

Просто мы обе знали одну вещь: на третий день после смерти душа умершего возвращается сводить счеты. И в мамином случае это был первый день нового лунного года. И поскольку это был новый год, все долги к этому дню должны были быть уплачены, иначе на дом обрушатся бедствия и неудачи.

Поэтому в тот день У Цинь, преисполненный страха перед мстительным духом моей мамы, надел траурные одежды из самого сурового белого полотна. Он пообещал ее призраку, явившемуся в дом, что воспитает Сюаюди и меня как своих самых почитаемых детей. Он пообещал упоминать о ней в дальнейшем так, как будто она была его первой женой, его единственной женой.

В тот день я швырнула на пол ожерелье из поддельного жемчуга, которое мне подарила вторая супруга, и растоптала его у нее на глазах.

В тот день она начала сесть.

В тот день я научилась кричать.



Я знаю, что значит проживать свою жизнь как сон. Слушать и смотреть, просыпаться и пытаться понять, что же произошло.

И тебе не нужен для этого психиатр. Психиатр не хочет, чтобы ты просыпалась. Он велит тебе спать дальше, найти пруд и лить в него слезы. На самом-то деле он всего-навсего еще одна птица, насыщающаяся твоими страданиями.

Моя мама — вот кто страдал. Она потеряла свое лицо и старалась скрыть это. Но все, что она нашла, оказалось еще большим несчастьем, и в конце концов она уже не могла скрывать это. Больше тут нечего понимать. Это был Китай. Тогда люди так жили и так умирали. У них не было

выбора. Они не могли протестовать. Они не могли убежать. Это была их судьба.

Но сейчас у людей есть выбор. Сейчас им не нужно больше глотать свои слезы и страдать от насмешек сорок. Я прочитала об этом в одном журнале из Китая.

Там говорилось, что в течение тысяч лет птицы были сущим наказанием для крестьян. Они слетались со всех сторон посмотреть, как крестьяне гнут спину в поле, возделывая неподатливую землю и наполняя арыки своими горячими слезами, чтобы полить семена. А как только люди разгибали спину, птицы снижались, пили их слезы и склевывали все семена. А дети умирали от голода.

Но однажды все эти измученные крестьяне — по всему Китаю — вышли на свои поля. Они посмотрели, как птицы едят и пьют, и сказали: «Хватит нам молча страдать!» Они стали хлопать в ладоши, колотить палками по кастрюлям и сковородкам и кричать при этом: «*Су! Су! Су!* — Умрите! Умрите! Умрите!»

И все эти птицы взлетели в воздух, встревоженные и удивленные людской злобой. Взмахивая своими черными крыльями, они держались невысоко в воздухе, ожидая, пока стихнет этот шум. Но люди кричали все громче и громче, все злее и злее. Птицы уставали, но не могли ни спуститься на землю, ни утолить голод. И это продолжалось много часов, много дней, до тех пор, пока все эти птицы — сотни, тысячи, миллионы! — не начали замедленно падать вниз и в небе не осталось ни одной из них.

Что подумает твой психиатр, если я скажу ему, что плакала от радости, когда прочитала об этом?

## Иннин Сент-Клэр

### Затаившись среди деревьев

Моя дочь выделила мне в своем новом доме самую крохотную комнатку.

— Это спальня для гостей, — сказала Лена со своей американской гордостью.

Я улыбнулась. По китайским понятиям, спальня для гостей — лучшая комната в доме, а значит, та, где спят они с мужем. Этого я ей не говорю. Ее мудрость подобна бездонному колодцу. Вы бросаете туда камни, они погружаются в темноту и исчезают. Вы смотрите ей в глаза, а они ничего не отражают.

Хоть у меня в голове и бродят такие мысли, не подумайте, что я не люблю свою дочь. Мы с ней похожи, и не только внешне: какая-то часть меня живет в ней. Но в момент рождения она выскользнула из меня, как рыбка, и уплыла навсегда. С тех пор я смотрю на нее будто с другого берега. Но сейчас я должна рассказать ей все о своем прошлом. Это единственный способ пробить ее броню и тем самым спасти.

Эта комната тесная, как гроб, потолок прямо нависает над изголовьем моей кровати. Надо бы сказать дочери, чтобы она никогда не укладывала в этой комнате детей. Но она, конечно, не станет меня слушать. К тому же она заявила, что не хочет детей. Они с мужем слишком заняты, рисуя дома, которые построит кто-то другой и в которых кому-то другому доведется жить. Я не могу правильно произнести американское слово, чтобы объяснить, кто они — она и ее муж. Противное слово.

— Арки-теки, — сказала я однажды своей невестке.

Моя дочь, услышав это, рассмеялась. Когда она была маленькой, мне следовало почаще шлепать ее за неуважение к старшим. А теперь уже поздно. Теперь они с мужем приплачивают кое-что в добавление к моей скромной пенсии. Поэтому, хотя у меня иногда и чешутся руки, мне приходится подавлять это чувство и прятать его глубоко в сердце.

Что толку рисовать красивые дома, а самим жить в таком несуразном! У моей дочери есть деньги, но все в ее доме сделано даже не для красоты, а напоказ. Взять хотя бы этот столик. Громоздкая плита белого мрамора на полированных черных ножках. Ничего тяжелого на него поставить нельзя — того и гляди, перевернется. Единственное, что может на нем удержаться, это высокая черная ваза, похожая на паучью лапу. Она такая

узкая, что в нее можно поставить только один цветок. Если задеть столик, ваза с цветком упадут.

Везде в доме я вижу знаки. А моя дочь смотрит и не видит. Этот дом скоро развалится на куски. Откуда мне это известно? Я всегда знаю заранее, что случится.



Когда я была ребенком и жила в Уси, я была *лихай*. Дикой и упрямой. Насмешливой. Своевольной. Я была маленькой и красивой. У меня были крошечные ножки, что льстило моему тщеславию. Стоило шелковым тапочкам запылиться, как я их выбрасывала. Я сносила много пар дорогих заграничных туфель из телячьей кожи на небольшом каблучке и порвала не одну пару чулок, носясь по вымощенному булыжником двору.

Я часто расплетала косы и бегала с распущенными волосами. Мама смотрела на мои патлы и выговаривала: «Аяй-йя, Иннин, ты похожа на дух утонувшей женщины со дна озера».

Речь шла о женщинах, которые топили в озере свой позор. Они поднимались со дна озера и являлись в дома к живым людям с распущенными волосами, что свидетельствовало об их неизбывном отчаянии. Мама говорила, что я принесу позор в дом, но я только хихикала, когда она пыталась заколоть мои волосы длинными шпильками. Мама слишком любила меня, чтобы сердиться. Я была очень на нее похожа. Поэтому она назвала меня Иннин, Чистое Отражение.

Моя семья была одной из самых богатых в Уси. У нас в доме было много комнат, и в каждой множество больших тяжелых столов. На каждом столе стоял нефритовый сосуд, плотно закрытый нефритовой крышкой. В каждом сосуде лежали английские сигареты без фильтра, всегда столько, сколько нужно: не слишком много, не слишком мало. Сосуды были сделаны специально для этих сигарет, но я об этом никогда не задумывалась. Вот еще, хлам какой-то! Однажды мы с братьями утащили из дома такой сосуд и разбросали сигареты по улице. Потом побежали к большой дыре в тротуаре, сквозь которую была видна сточная канава, и уселись вокруг на корточках вместе с детьми, жившими неподалеку. Мы зачерпывали им грязную воду, надеясь выловить рыбу или какое-нибудь невиданное сокровище, но ничего не выловили, только извозились в грязи до такой степени, что стали неотличимы от уличных ребятишек.

В нашем доме было много роскошных вещей. Шелковые ковры и драгоценности. Старинные чаши и резные шкатулки из слоновой кости. Но когда я вспоминаю тот дом, а это случается нечасто, я думаю о том заляпанном грязью нефритовом сосуде, который держала в руках, не понимая, какое это сокровище.

И еще вот что я неизменно вспоминаю, когда думаю про тот дом.

Мне было шестнадцать лет. В тот день играли свадьбу моей самой младшей тетки. К вечеру она со своим молодым мужем уже отправилась в большой дом, где ей предстояло жить вместе со свекровью и остальными членами новой семьи.

Многие из прибывших на свадьбу родственников засиделись у нас дома. Все собрались за большим столом в парадной комнате: ели арахис, чистили апельсины и смеялись. Среди гостей был приятель жениха, приехавший из другого города. Он был старше моего самого старшего брата, поэтому я звала его дядей. Его лицо покраснелось от выпитого виски.

— Иннин, — хрипло позвал он меня, приподнявшись со стула и заглянув в свою большую сумку. — Наверное, ты все еще голодна, правда?

Я с улыбкой оглядела всех сидящих за столом — мне было приятно, что на меня обратили внимание. Я подумала: наверное, он сейчас достанет из сумки какой-нибудь особенный гостинец, хорошо бы — рассыпчатое печенье. Но он вытащил арбуз и положил его на стол с громким «бум».

— *Кай гуа?* — Разрезать арбуз? — спросил он, покачивая большим ножом над роскошным фруктом.

И, с силой всадив в него нож, расхохотался во весь свой огромный рот так, что я увидела не только золотые зубы, но и глотку. Все за столом громко засмеялись. Я вспыхнула от смущения, потому что ничего не поняла.

Да, я была необузданной девчонкой, но вместе с тем совершенно невинной. Я не поняла, какую мерзость он сказал, раскроив тот арбуз. И не понимала до тех пор, пока, шесть месяцев спустя, не вышла за него замуж. Вечером, дыша перегаром, он прошипел мне в ухо, что готов сделать *кай гуа* со мной.

Это был настолько плохой человек, что даже сейчас я не могу выговорить его имя. Почему я вышла за него замуж? Потому, что вечером после тетиной свадьбы обрела свой дар узнавать заранее то, что произойдет.

Большая часть родственников уехала на следующее утро. И к вечеру мы с сестрами уже успели заскучать. Мы сидели за тем же большим

столом, пили чай и грызли жареные арбузные семечки. Сестры громко сплетничали, а я сидела молча, щелкая семечки и складывая очищенные зернышки в кучку.

Все мои сестры мечтали выйти замуж. Но их избранники всегда были никчемными мальчишками из семей куда хуже нашей. Мои сестры не знали, как подняться на должную высоту. Они были дочерьми младших жен моего отца. Я была дочерью его старшей жены.

— Его мать будет обращаться с тобой как с прислугой... — предрекала одна сестра, услышав о выборе другой.

— Со стороны его дяди все ненормальные... — язвила другая сестра.

Когда им надоело дразнить друг друга, они спросили, за кого бы мне хотелось выйти замуж.

— Я таких не знаю, — ответила я надменно.

Не могу сказать, что этот вопрос меня не интересовал. Я знала, как привлечь к себе внимание и добиться восхищения, но была слишком тщеславна, чтобы считать кого-либо достойным себя.

Такие мысли были у меня в голове тогда. Но мысли бывают двух типов. Некоторые — точно семена, брошенные в тебя при рождении, — достаются от отца с матерью и их предков. А некоторые посеяны позже, другими людьми. Наверное, из-за арбузных семечек, что я грызла, мне в голову пришла мысль о том веселом человеке, который был здесь накануне. И едва я о нем подумала, сильный порыв северного ветра сорвал со стебля и бросил к моим ногам головку стоявшего на столе цветка.

Это был знак. Головку цветка срезало будто ножом, и я сразу же поняла, что выйду замуж за этого человека. Я подумала об этом без особой радости, но с удивлением: откуда я это знаю?

И вскоре я то и дело стала слышать, как мой отец, и дядя, и муж моей тети говорят об этом человеке. За обедом его имя наливали в мою чашку вместе с супом. А однажды во дворе дядиного дома я наткнулась на него самого. Он пристально смотрел на меня и хохотал: «Смотрите, она уже не может повернуться и уйти. Она моя».

Что верно, то верно: я не ушла. И не отвела глаз. Я слушала его, раздувая ноздри, и учуяла зловоние его слов, когда он сказал, что мой отец вряд ли даст за мной приданое, какого он потребует. Я так старательно выталкивала этого человека из своих мыслей, что в итоге поделила с ним брачное ложе.

Моя дочь не знает, что давным-давно, за двадцать лет до ее рождения, я была замужем за этим человеком.

Она не знает, какой красивой я была, когда выходила за него. Гораздо

красивее своей дочери, у которой крестьянские ноги и большой нос, как у ее отца.

Даже сейчас у меня все еще гладкая кожа и фигура как у молодой девушки. Но возле губ, на которых всегда была улыбка, пролегли глубокие морщины. А мои бедные ноги — когда-то такие маленькие и изящные! — опухли и все в мозолях, и кожа на пятках потрескалась. Мои глаза, такие сияющие и яркие в шестнадцать лет, сейчас потускнели и стали как желтые камни.

Но я почти по-прежнему ясно всё вижу. Когда я хочу что-то припомнить, я словно смотрю в чашку и отыскиваю в ней недоеденные зернышки риса.

Однажды, вскоре после того как мы с этим человеком поженились, мы поехали на озеро Тай. К тому времени я уже успела его полюбить. Он повернул мою голову в сторону предзакатного солнца, взял меня за подбородок и, погладив по щеке, сказал: «Иннин, у тебя глаза тигра. Днем они собирают лучи, а ночью светятся золотом».

Я не засмеялась, хотя эти слова — пусть и нелепо прозвучавшие в его устах — были настоящим стихотворением. Я заплакала от непритворной радости. Мое сердце было переполнено смутными чувствами. Я разрывалась между желанием убежать и желанием остаться. Вот как сильно я полюбила этого человека. Так бывает, когда кто-то овладевает твоим телом. Тогда какая-то часть твоего сознания вопреки твоей воле тоже подчиняется ему.

Я сама себя не узнавала. Я старалась во всем ему угодить. Даже надевая шлепанцы, я выбирала ту пару, которая придется ему по вкусу. Перед сном я девяносто девять раз расчесывала волосы, чтобы принести счастье в нашу супружескую постель и зачать сына.

В ту ночь, когда я зачала от его семени, я опять увидела то, что будет. Я знала, что это мальчик. Я видела этого крохотного ребеночка в своем чреве. У него были глаза моего мужа, большие и широко расставленные. Я видела его тонкие острые пальчики, толстые мочки ушей и гладкие волосики, которые росли высоко, оставляя открытым большой лоб.

Оттого что я так сильно радовалась тогда, позже я стала с не меньшей силой ненавидеть. Но даже в самое счастливое время у меня в голове жила тревога. Потом она соскользнула в сердце. Головой ты знаешь, сердцем чувствуешь, и вместе это становится правдой.

Мой муж стал часто ездить по делам на север. Эти регулярные поездки, начавшиеся вскоре после нашей женитьбы, становились все

продолжительнее с тех пор, как в моем чреве поселился ребенок. Я помнила, что северный ветер принес мне счастье и дал мужа, поэтому, когда муж уезжал, даже в очень холодные ночи я широко открывала окна в спальне, чтобы ветер принес с севера его дыхание и чувства.

Но я не знала, что северный ветер самый холодный. Он проникает в сердце и уносит тепло. Этот ветер был такой сильный, что унес моего мужа из нашей спальни через заднюю дверь. О том, что мой муж бросил меня ради оперной певички, я узнала от своей младшей тетки.

Много позже, когда я пережила свое горе и в сердце у меня остались только ненависть и отчаяние, тетка рассказала мне и о других изменах моего мужа. Танцовщицы и американские леди. Проститутки. Девочка-кузина, которая была даже моложе меня. Ее загадочный отъезд в Гонконг произошел вскоре после исчезновения моего мужа.

Так я расскажу Лене о своем позоре. О том, какой богатой и красивой я была: не было мужчины, достойного меня. И тем не менее меня, такое сокровище, бросили. Я расскажу о том, что в восемнадцать лет моя красота поблекла. И о том, как я хотела утопиться в озере, подобно другим опозоренным женщинам. И еще я расскажу ей о ребенке, которого убила, потому что слишком сильно возненавидела этого человека.

Чтобы этот ребенок не появился на свет, я вырезала его из своего чрева. В то время в Китае не считалось предосудительным убить ребенка до его рождения. Но даже тогда я понимала, что поступаю плохо, потому что, пока из моего тела вытекали соки первенца этого человека, меня переполняло удовлетворение, что эта ужасная месть удалась.

Когда медсестры спросили меня, что делать с безжизненным младенцем, я швырнула им газету и велела завернуть его, как дохлую рыбу, и выбросить в озеро. Моя дочь думает, я не знаю, что это значит — не хотеть ребенка.

Глядя на меня, моя дочь видит маленькую старушку. Это потому, что она смотрит на внешнее. У нее нет дара *чумин*, умения постигать внутреннюю сущность вещей. Будь у нее *чумин*, она бы увидела женщину-тигра. И ей стало бы страшно.

Я родилась в год Тигра. Это был неподходящий год, чтобы родиться, но очень удачный, чтобы стать тигром. В тот год злые духи овладели миром. В деревнях люди умирали, как цыплята в летнюю жару, в городах превращались в тени, прятались по домам и исчезали. Новорожденные младенцы не прибавляли в весе. За несколько дней мясо исчезало с их косточек, и они умирали.

Злые духи владели миром четыре года. Но меня все эти беды только закалили, и я выжила. Так мне сказала моя мама, когда я стала достаточно взрослой, чтобы знать, откуда у меня такая сила духа.

И еще она сказала мне, почему цвета тигра золотой и черный. У тигра двойственная натура. Золотая половина — это его свирепое сердце. Черная половина — хитрость, умение спрятать свое золото среди деревьев, видеть, оставаясь невидимым, и терпеливо ждать то, что должно случиться. После того как тот плохой человек бросил меня, я научилась быть черным тигром.

Я стала как привидения из озера. Я завесила белым зеркалом в своей спальне, чтобы не видеть свою беду. Я так ослабела, что у меня даже не было сил поднять руки, чтобы заколоть волосы. И в конце концов я поплыла как мертвый лист по воде, пока меня не вынесло из дома свекрови и не принесло обратно к моим родным.

Я поселилась в деревне под Шанхаем в семье моей троюродной сестры и прожила в их доме целых десять лет. Если вы у меня спросите, что я делала все это время, могу только сказать: ждала, затаившись среди деревьев. Один мой глаз спал, второй был открыт и зорко смотрел по сторонам.

Я не работала. В семье сестры со мной обращались хорошо, потому что мои родители постоянно им помогали. Дом был убогий, в нем ютились три семьи. Поэтому жить там было довольно неудобно, а этого я и хотела. Дети ползали по полу вместе с мышами. Куры входили и выходили, подобно бесцеремонным деревенским гостям моих родственников. Мы все ели на кухне среди чада подгоревшего сала. А мухи! Если вы оставляли в чашке всего несколько зернышек риса, стенки ее так густо покрывались голодными мухами, что она становилась похожей на посудину с кипящим супом из черной фасоли. Вот какой бедной была эта деревня.

Через десять лет я созрела для новой жизни. Я была уже не девочка, а странная женщина: замужняя, но без мужа. Широко открыв уже оба глаза, я приехала в город. Он меня ужаснул: будто кто-то вытряхнул чашку с черными мухами на улицу. Множество людей сновало взад и вперед, мужчины сталкивались с незнакомыми женщинами, и никто не обращал на это внимания.

Родные дали мне денег, на которые я купила себе новую одежду — модные прямые костюмы. Я обрезала свои длинные волосы и, по тогдашней моде, сделала себе мальчишескую прическу. За много лет я так устала от ничегонеделания, что решила пойти работать. Я стала продавщицей.

Мне не нужно было учиться льстить женщинам. Я знала слова, которые им хотелось услышать. Тигр умеет так мягко мурлыкать, что даже кролик почувствует себя в безопасности.

Мне повезло: я опять похорошела, хотя была уже взрослой женщиной. Я носила платья гораздо лучше и дороже тех, что продавались в нашем магазине. И это заставляло женщин покупать дешевую одежду: им казалось, что в ней они будут выглядеть такими же красивыми, как я.

В этом магазине, где я работала с утра до вечера, я и познакомилась с Клиффордом Сент-Клэром. Это был крупный бледный мужчина, американец, он покупал у нас дешевую одежду и отправлял ее за океан. По тому, как прозвучало его имя, я поняла, что выйду за него замуж.

— Мистер Сент-Клэр, — сказал он по-английски, представляясь мне.

И потом добавил на своем плохоньком китайском:

— Как ангел света.

Я не могу сказать, нравился он мне или нет. Мне было безразлично, хорош он или плох. Я знала только одно: его появление было знаком, что черная полоса близится к концу.

Четыре года Сент ухаживал за мной в своей странной манере. Хоть я и не была владелицей магазина, он обычно, здороваясь, пожимал мне обе руки, надолго задерживая их в своих. У него всегда были потные ладони, даже после того, как мы поженились. Но вообще он был чистый и приятный. Только от него пахло как от иностранца — ягнячьей вонью, от которой невозможно отмыться.

Я не была недоброй. Но он был *кэци*, чересчур обходителен. Он покупал мне дешевые подарки: стеклянную статуэтку, колючую брошку из хрусталя, зажигалочку под серебро. Сент вел себя так, будто эти подарки — пустяк, будто он богач, приучающий бедную деревенскую девочку к вещам, которых мы в Китае никогда не видывали.

Но от меня не могло ускользнуть, с каким волнением он следил за мной, когда я разворачивала подарки. Ему очень хотелось мне угодить. Он не понимал, что для меня эти вещи были действительно пустяками, что я выросла в роскоши, которую он даже не мог себе вообразить.

Я принимала его подарки с благодарностью, но сначала всегда вежливо отказывалась. Не слишком настойчиво — я знала меру. Я не поощряла его. Но поскольку знала, что в один прекрасный день этот человек станет моим мужем, аккуратно складывала эти дешевые безделушки в коробку, заворачивая каждую в папиросную бумагу. Я знала, что однажды ему захочется еще раз взглянуть на них.

Лена считает, что Сент спас меня, вытащив из бедной китайской

деревни. Она права и не права. Моя дочь не знает, что Сенту пришлось терпеливо ждать четыре года, подобно собаке перед мясной лавкой.

Как получилось, что я наконец сдалась и позволила ему жениться на мне? Я ждала знака и была уверена, что дождусь! Ждать пришлось до тысяча девятьсот сорок шестого года.

Письмо пришло из Тяньцзиня, но не от родителей, которые считали, что меня давно нет в живых, а от моей младшей тетки. Еще не успев его распечатать, я знала: мой муж мертв. Он уже давным-давно бросил свою певичку. Нашел себе какую-то пустую девчонку, молоденькую служанку. Но у девчонки оказался железный характер, а безрассудства побольше, чем у него. К тому моменту, когда он попытался и ее бросить, у нее уже был наточен самый длинный кухонный нож.

Я думала, что этот человек давно испепелил всё в моем сердце и там ничего не осталось. Но при этом известии на меня нахлынула такая сильная и горькая волна, что я почувствовала еще большую пустоту и боль в том месте, о существовании которого и не подозревала. Я прокляла его вслух, чтобы он услышал: «Паршивый ты пес! Не пропускал ни одной юбки, только бы тебя поманили. Теперь ты погнался за собственным хвостом».

И я приняла решение. Я решила позволить Сенту на мне жениться. Это не стоило мне больших усилий. Я была дочерью старшей жены своего отца. Я стала говорить еле слышным голосом. Я осунулась и побледнела. Я позволила себе стать раненым зверем. Я позволила охотнику приблизиться и превратить меня в призрак тигра. Я легко рассталась со своим *ци*, со своим духом, который принес мне столько боли.

Теперь я уже не была ни тигром, который готовится к прыжку, ни тигром, который ждет, затаившись среди деревьев. Я превратилась в невидимый дух.

Сент увез меня в Америку, где я жила в домах, меньших, чем дом моих родных в деревне. Я носила нескладную американскую одежду. Я выполняла обязанности прислуги. Я училась жить на западный лад. Я старалась говорить, точно у меня полон рот камней. Я вырастила дочь, наблюдая за ней с другого берега. Я приняла ее американские пути.

Все это мне было безразлично. У меня не было духа.

Могу ли я сказать своей дочери, что любила ее отца? Мужчину который по ночам обнимал мои ноги. Восторгался едой, которую я готовила. Расплакался от радости, когда я вытащила безделушки, которые припасла для нужного дня — дня, когда он подарил мне мою дочь, девочку-тигра.

Как я могла не любить такого человека? Но это была любовь призрака. Руки, которые обнимают, ничего не ощущая. Полная чашка риса, который не лезет в горло. Ни голода, ни сытости.

Сейчас Сент тоже призрак. Теперь мы можем любить друг друга на равных. Он знает то, что я скрывала долгие годы. Теперь я должна рассказать всё своей дочери. Что она дочь призрака. Что у нее нет *ци*. Это мой самый большой позор. Как я могу покинуть этот мир, не передав дочери свой дух?

И вот что я сделаю. Я соберу все свое прошлое и всмотрюсь. Я увижу то, что уже случилось: боль, лишившую меня духа. Я буду крепко сжимать эту боль в руке, пока она не станет твердой и сверкающей, как клинок. Я снова стану свирепым тигром — золотым и черным. И пробью своей болью прочную броню своей дочери и освобожу заключенный в ней дух тигра. Нам не избежать схватки: такова натура двух тигров. Но победа будет за мной, и я передам ей свой дух, потому что в этом — проявление материнской любви.

Я слышу, как моя дочь разговаривает внизу со своим мужем. Они произносят ничего не значащие слова. Они сидят в комнате, где нет жизни.

Я знаю заранее то, что произойдет. Она услышит, как стол с вазой падают на пол, поднимется по ступенькам и войдет в комнату. Ее глаза ничего не увидят в темноте, где я буду ждать ее, затаившись среди деревьев.

## Линьдо Чжун

### Двойное лицо

Моя дочь собиралась провести свой второй медовый месяц в Китае, но вдруг испугалась.

— Что, если я настолько придусь там к месту, что они решат, будто я одна из них? — спросила меня Уэверли. — Что, если они не пустят меня обратно в Штаты?

— Когда ты приедешь в Китай, — сказала я ей, — тебе даже рта не потребуется открывать. Они и так будут знать, что ты чужая.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она. Моя дочь любит говорить не в ту сторону. Она любит переспрашивать то, что я сказала.

— Ай-йя, — сказала я, — даже если ты наденешь их одежду, даже если ты смоешь с себя косметику и спрячешь свои модные украшения, они всё поймут. Это же видно по тому, как ты идешь, по тому, как ты несешь свое лицо. Они сразу увидят, что ты не оттуда.

Моя дочь была не очень-то польщена, когда я ей это сказала. У нее на лице появилась кислая американская мина. Пожалуй, лет десять назад от таких приятных новостей она бы захлопала в ладоши — ура! А сейчас она хочет быть китайкой, ведь это так модно. Но я знаю, что сейчас уже слишком поздно. Все эти годы я пыталась научить ее. Она делала всё по-китайски только до тех пор, пока не научилась самостоятельно выходить за дверь и не пошла в школу. Так что теперь единственные китайские слова, которые она в состоянии произнести, это *ш-ш*, *хуч*, *шр фан* и *гуань день шеюаю*. Она же не сможет разговаривать в Китае при помощи этих слов. Пи-пи, поезд чух-чух, ешь, гаси свет, спи. Как она может думать, что ее примут за китайку? Китайского в ней только цвет кожи и волосы. Все, что внутри, сделано в Америке.

Это я виновата в том, что она получилась такой. Я хотела, чтобы у моих детей было все самое лучшее: американские условия и китайский характер. Откуда мне было знать, что эти две вещи несовместимы?

Я научила ее тому, как действуют американские условия. Здесь не является несмываемым позором то, что вы родились в нищете. Зато вы будете первым в очереди на пособие. Если вам на голову рухнет крыша, это не причина плакать о том, как вам не повезло. Можно подать на кого-нибудь в суд или заставить владельца дома починить крышу. Здесь не надо, подобно Будде, сидеть под деревом, позволяя голубям делать свои

грязные дела вам на голову. Можно купить зонт. Или поменять веру. В Америке никто не скажет, что вы обречены жить так, как сложились ваши обстоятельства.

Все это она усвоила хорошо, а вот китайский характер я не смогла в ней воспитать. Не научила самому главному: почитать родителей и прислушиваться к мнению собственной матери; не проявлять свои чувства и скрывать за улыбкой свои мысли, потому что это дает человеку тайную силу. Я не внушила ей, что не надо искать легких путей, а надо знать себе цену и совершенствовать свои достоинства, не выставляя их напоказ, как дешевое кольцо. Не объяснила, чем китайский образ мыслей лучше остальных.

Нет, моего образа мыслей она не усвоила. Она была слишком занята своей жевательной резинкой. Она училась выдувать из нее пузыри размером с собственные щеки. Это она усвоила хорошо.

— Допей свой кофе, — сказала я ей вчера, — не пускай по ветру свою удачу.

— Мамуля, ты у меня настоящая ретроградка, — ответила она, выливая свой кофе в раковину. — Разве я не сама себе хозяйка?

И сейчас я думаю: как она может быть сама себе хозяйкой? Когда я упустила ее?



Моя дочь собирается замуж во второй раз. Поэтому она попросила меня сходить в ее парикмахерскую, к ее легендарному мистеру Роури. Я знаю, что у нее на уме. Она стыдится того, как я выгляжу. Что подумают родители ее мужа и его важные друзья-юристы, увидев старуху-китайку, обращенную лицом назад?

— Меня может подстричь тетя Аньмэй, — говорю я.

— Роури — парикмахер с именем, — отвечает моя дочь, словно пропустив мои слова мимо ушей. — Он делает чудеса.

И вот я сижу в кресле у мистера Роури. Он поднимает меня, потом немного опускает, пока я не оказываюсь на нужной высоте. И моя дочь начинает говорить ему обо мне так, словно меня самой там нет:

— Взгляните, как она прилизана с одной стороны, — это нападки на мою голову. — Ей требуется стрижка и завивка. А этот фиолетовый оттенок волос... она покрасилась сама. Она никогда не обращалась к

профессионалам.

Дочь смотрит в зеркало на мистера Роури. Он смотрит в зеркало на меня. Я знаю этот профессиональный взгляд. Когда американцы разговаривают, они не смотрят друг на друга по-настоящему, они говорят со своим отражением. Они смотрят на других или на самих себя только тогда, когда думают, что их никто не видит. Поэтому они никогда не знают, как выглядят на самом деле. Они улыбаются друг другу, не разжимая губ или повернувшись таким боком, с которого не видны их недостатки.

— Какую стрижку она хочет? — спрашивает мистер Роури. Он думает, что я не понимаю английского. Он пропускает мои волосы сквозь пальцы, показывая, что его волшебный талант может сделать их пышнее и длиннее.

— Мамуля, ты сама как хочешь?

Почему моя дочь считает, что мне нужно переводить с английского? Не дав мне на ответ даже секунды, она уже объясняет парикмахеру, что я думаю:

— Она хочет легкую завивку. Наверное, не стоит делать чересчур коротко, а то завивка будет слишком мелкой для свадьбы. Она хочет выглядеть как можно более естественно.

И теперь она громко повторяет это для меня, как будто у меня вдруг стало хуже со слухом:

— Правда, мамулик? Завивку не очень сильную?

Я улыбаюсь и делаю американское лицо. Американцы думают, что именно это и есть китайское лицо, которого они не могут понять. Но в душе я начинаю испытывать чувство стыда. Мне стыдно, потому что стыдно ей, потому что она моя дочь и я горжусь ею, а я ее мать, но она мною не гордится.

Мистер Роури ерошит мои волосы еще раз. Он смотрит на меня. Он смотрит на мою дочь. И потом говорит моей дочери нечто такое, что ей по-настоящему неприятно слышать:

— Просто немисливо, до чего вы похожи друг на друга.

Я улыбаюсь, на этот раз своим китайским лицом. Но глаза и губы моей дочери делаются очень узкими: так кошка сжимается в комок перед прыжком. Мистер Роури ненадолго отходит в сторону, так что у нас есть время переварить его реплику. Я слышу, как он щелкает пальцами:

— Убираемся! Следующая миссис Чжун!

Мы с дочерью остаемся одни в переполненной парикмахерской. Она хмуро смотрит на свое отражение в зеркале и ловит на себе мой взгляд.

— Такие же точно щеки, — говорит она, показывает на мои щеки и

потом тычет пальцами в свои. Она втягивает их и становится похожа на умирающую от голода. Она приближает свое лицо к моему, и мы смотрим друг на друга в зеркале.

— У тебя на лице написан твой характер, — необдуманно говорю я дочери. — И твое будущее.

— Что ты имеешь в виду? — спрашивает она.

Теперь мне надо совладать со своими чувствами. Эти два лица, думаю я, так во многом схожи. Одно счастье, одна печаль, одна удача, одни недостатки.

Я вижу себя саму и свою маму в Китае, давным-давно, когда я была еще маленькой.



Моя мама — твоя бабушка — однажды предсказала мне мою судьбу и все преимущества и трудности, которые мне сулит мой характер. Мама сидела у своего стола с большим зеркалом. Я стояла у нее за спиной, положив подбородок ей на плечо. На следующий день начинался новый год. Мне исполнилось десять лет по китайскому счету, поэтому для меня это был важный день. Может быть, по этой причине мама не сказала мне ничего плохого. Она смотрела на мое лицо.

— Тебе повезло, — сказала она, потрогав мое ухо. — У тебя мои уши, с большими, толстыми мочками, это сулит удачу. Бывают люди, несчастные с самого рождения: у них уши тонкие и плотно прижаты к голове, поэтому они никогда не слышат, как их зовет удача. У тебя правильные уши, но ты должна всегда внимательно вслушиваться в зов судьбы, чтобы не упустить свой шанс.

Она провела пальцем по моему носу сверху вниз.

— У тебя мой нос. Ноздри не слишком большие, так что деньги не будут убегать от тебя. И нос прямой и гладкий — это хороший знак. Девочке с кривым носом не будет удачи. Она всегда будет устремляться не за теми вещами, склоняться не к тем людям, гоняться за неверным счастьем.

Она постучала по моему подбородку, а потом по своему:

— Не маленький, но и не слишком большой. Мы с тобой проживем на свете примерно одинаковое количество лет. Ничто не прервет счет наших дней слишком рано, но мы и не заживем настолько, чтобы стать обузой

для окружающих.

Она откинула мне волосы со лба.

— Мы с тобой очень похожи, — заключила мама. — Пожалуй, твой лоб шире, так что ты будешь умнее меня. У тебя густые волосы, и они начинают расти низко. Это значит, что у тебя будут какие-то трудности в молодые годы. Так было и со мной. Но посмотри на мой лоб сейчас — как высоко растут мои волосы теперь! Это сулит мне удачу в старости. Позже ты тоже узнаешь, что такое заботы, и волосы у тебя начнут выпадать.

Она взяла меня за подбородок и повернула лицом к себе, глядя мне прямо в глаза. Повернув мою голову сначала в одну сторону, потом в другую, она сказала:

— Глаза у тебя честные и пытливые. Они следуют за моими и выражают искреннее почтение. Ты не отводишь взгляд и не косишься в сторону — значит, будешь хорошей женой, матерью и невесткой.

Я была еще маленькой девочкой, когда моя мама говорила мне все это. И хотя она сказала, что мы с ней во многом похожи, мне хотелось, чтобы мы были похожи еще больше. Когда она, удивляясь, поднимала брови, мне хотелось сделать то же самое. Когда уголки ее губ опускались и она казалась несчастной, я тоже хотела чувствовать себя несчастной.

Тогда я еще была похожа на свою маму. Это было до того, как нас разлучили обстоятельства: наводнение, заставившее моих родных покинуть меня, мое первое замужество и жизнь в семье, в которой меня никто не любил, война со всех сторон и потом — океан, который перенес меня в другую страну. Мама не увидела, как изменилось с годами мое лицо и сморщились губы. Она не узнала, что, пережив столько всяких невзгод, я все еще не лишилась волос. Не узнала она и того, что мои глаза стали смотреть по-американски, а нос сделался кривым — я однажды упала в переполненном автобусе. Это произошло уже в Сан-Франциско. Мы с твоим отцом ехали в церковь, чтобы вознести Господу Богу наши благодарения, часть из которых мне в итоге пришлось удержать за разбитый нос.

В Америке тяжело сохранять китайское лицо. С самого начала, еще до приезда сюда, мне приходилось скрывать свои истинные намерения. Еще в Пекине я заплатила выросшей в Америке китайке за то, чтобы она научила меня, как это делать.

— В Америке, — сказала она, — нельзя говорить, что хочешь остаться там навсегда. Если ты приехала из Китая, ты должна говорить, что тебя восхищают их школы, их образ жизни. Ты должна говорить, что хочешь

стать студенткой, чтобы потом вернуться в Китай и научить людей тому, что сама узнала.

— А что я должна говорить, если меня спросят, что я хочу изучать? — спрашивала я. — Я же не знаю, что отвечать...

— Религию. ТЫ должна сказать, что хочешь изучать религию, — сказала эта умная девушка. — У них у самих такие разные представления о религии, что, какой бы вопрос на эту тему тебе ни задали, любой ответ их устроит, никто не будет знать, правильный он или нет. Скажи им, что ты идешь путем Господним, и они отнесутся к тебе с уважением.

За отдельную плату эта девушка дала мне анкету, заполненную по-английски. Мне приходилось переписывать все это снова и снова, чтобы английские выражения отскакивали у меня от зубов. Напротив слова имя я писала *Линьдо Сан*. В графе **дата рождения** я писала *11 мая 1918 года*, что, по настойчивым уверениям этой девушки, было то же самое, что три месяца спустя после китайского Нового года по лунному календарю. В графе **место рождения** я ставила *Тайюань, Китай*. И напротив слова **занятие** писала *студентка, изучаю богословие*.

Еще больше денег я заплатила этой девушке за то, чтобы она дала мне список адресов людей с большими связями в Сан-Франциско. И наконец, уже без всякой платы, она проинструктировала меня, как мне надо себя вести, чтобы изменить свое положение.

— Первым делом, — сказала она, — ты должна найти себе мужа. Лучший вариант — гражданин США.

Заметив мое изумление, она быстро добавила:

— Китаец! Конечно же, это должен быть китаец. «Гражданин» еще не значит американец. Но если у него не будет гражданства, вы немедленно должны сделать дело номер два — завести ребенка. Мальчика или девочку, это не имеет значения в Соединенных Штатах. Ведь никто из детей не станет ухаживать за тобой, когда ты состаришься, не так ли? — Мы обе рассмеялись.

— Однако будь осторожна, — сказала она. — Тамошние власти будут расспрашивать тебя, есть ли у тебя дети или не подумываешь ли ты о том, чтобы завести ребенка. Ты должна отвечать, что нет. Тебе следует при этом выглядеть очень искренне и говорить, что ты не замужем, что ты очень религиозна и что, по-твоему, иметь детей в такой ситуации — очень нехорошо.

Должно быть, я выглядела весьма озадаченно, потому что она стала объяснять дальше:

— Смотри, как еще нерожденный ребенок может знать о том, чего ему

не положено делать? Но как только он появляется на свет, он уже гражданин Америки и может делать все что угодно. Он может попросить свою мать остаться. Не так ли?

Но не это было причиной моего удивления. Я была озадачена ее словами, что должна выглядеть искренне. Как иначе могла бы я выглядеть, говоря правду?

Посмотри, насколько правдиво мое лицо до сих пор. Почему я не передала тебе это правдивое выражение? Почему ты всегда рассказываешь своим друзьям, что я ехала в Соединенные Штаты из Китая на самом медленном пароходе? Это неправда. Я была не настолько бедна. Я прилетела на самолете. Я сберегла деньги, полученные от родственников моего первого мужа, когда они отказались от меня. И еще я копила свою зарплату все двенадцать лет работы телефонисткой. Но что правда, то правда — я не могла купить билет на самый короткий рейс. Мой самолет летел три недели. Он приземлялся в Гонконге, во Вьетнаме, на Филиппинах, на Гавайях. Поэтому к моменту прибытия я не была похожа на человека, искренне радующегося этому.

Почему ты всегда говоришь, что я встретила твоего отца в ресторане «Катай-Хауз», будто бы я разломил печенье с предсказанием судьбы и там было написано, что я выйду замуж за темного красивого иностранца, а когда я подняла глаза, якобы он и стоял передо мной, официант, твой отец? Почему ты так шутишь? Это нехорошо. И это неправда! Твой отец не был официантом, и я никогда не ела в этом ресторане. На «Катай-Хауз» была вывеска «Китайская еда», поэтому до того, как он разорился, там ели только американцы. А теперь там находится «Макдоналдс» с большим объявлением на китайском языке. Там написано *май дон лоу* — «пшеница», «восток», «дом», — и все это полная бессмыслица. Почему тебя привлекает в китайском только такая чепуха? Ты должна понимать, как это все было на самом деле, как я приехала, как я вышла замуж, как я потеряла свое китайское лицо, как ты стала такой, какая ты есть.

Когда я приехала, никто не задавал мне вопросов. Власти посмотрели на мои документы и поставили штамп, что мне разрешен въезд. Я решила сразу же обратиться по одному из тех адресов в Сан-Франциско, которые мне дала та девушка в Пекине. Автобус привез меня на широкую улицу с подвесной дорогой. Это была Калифорния-стрит. Я поднялась на холм и увидела высокое здание. Это была церковь Святой Марии. Возле входа, под табличкой с названием церкви, кто-то повесил объявление, написанное от руки китайскими иероглифами: «Китайская церемония по спиритуальному умиротворению призраков проводится в 7.00 и в 8.30». Я

запомнила эту информацию на случай, если власти спросят, какие богослужения я посещаю. Потом я увидела вывеску на противоположной стороне улицы. На фасаде маленького приземистого здания было написано: «Делайте вклады сегодня с мыслью о завтрашнем дне. Банк Америки». И я подумала: вот то место, где американцы участвуют в богослужениях. Видишь, даже тогда я была не так уж глупа! Сейчас эта церковь все такая же, а там, где стоял этот приземистый банк, построено высокое здание в пятьдесят этажей, где вы с вашим будущим мужем работаете и откуда смотрите на всех сверху вниз.

Моя дочь рассмеялась, когда я ей это сказала. Оказывается, ее мать может шутить.

Я продолжала взбираться на этот холм. Я увидела две пагоды, построенные на противоположных сторонах улицы. Такие пагоды бывают у входов в большие буддийские храмы. Но, приглядевшись повнимательнее, я поняла, что все это бутафория: пагоды были просто хлипкими сооружениями, увенчанными несколькими ярусами черепичных крыш: под перекрытиями не было ни стен, ни какого-либо помещения. Я была удивлена тем, что все здесь было сделано так, чтобы производить впечатление имперского города или императорской усыпальницы, а при этом позади претенциозных пагод улицы были узкими, темными и грязными. И мне подумалось: почему по ту сторону оказалось только самое худшее из всего, что можно найти в Китае? Почему они не разбили там сады с прудами? Да, там и сям встречалось что-то похожее на какую-нибудь знаменитую древнюю пещеру или китайский оперный театр, но внутри все было одинаковой дешевкой.

К тому времени, когда мне удалось отыскать нужное место по адресу, полученному от девушки в Пекине, я успела понять, что не стоит ждать слишком многого. Это оказался большой дом зеленого цвета, ужасно шумный: куча детей носилась туда-сюда по просторным лестницам и тесным коридорам. В комнате номер четыреста два я обнаружила старуху, которая сразу же начала попрекать меня тем, что потеряла кучу времени, прождав меня понапрасну целую неделю. Она быстро написала несколько адресов и вручила их мне, продолжая держать свою руку протянутой и после того, как я забрала из нее листок. Поэтому я дала ей один доллар, но она посмотрела на меня и сказала:

— *Сюаюйи*, мисс, мы с вами в Америке. Даже нищий умрет с голоду на этот доллар.

Тогда я дала ей вторую бумажку, но и этого оказалось недостаточно:

— Ай-йя, вы думаете, мне эта информация досталась так легко?

Только получив от меня еще один доллар, она убрала руку и закрыла рот.

По адресам, взятым у этой старухи, я разыскала дешевую квартиру на Вашингтон-стрит. Как все подобные жилища, она была расположена над маленьким магазинчиком. По этому же трехдолларовому списку мне удалось найти работу за семьдесят пять центов в час. Конечно, это была работа не из лучших. Сначала я пыталась устроиться продавщицей, но для этого требовалось знание английского. Я сходила в другое место, это было что-то вроде распорядительницы в китайском заведении, но там хотели, чтобы я водила своими руками вверх-вниз по телам иностранцев, и я сразу поняла, что это то же самое, что быть в Китае проституткой четвертого разряда. Поэтому я замазала этот адрес черными чернилами. Чтобы получить работу в некоторых других местах, нужно было иметь особые связи. Это была работа в семьях с юга — из Кантона, Тойшаня и Четырех областей, — которые прибыли сюда давным-давно с целью сколотить состояние и по сей день продолжают держаться за него руками своих правнуков.

Так что моя мама оказалась права в отношении ожидавших меня тягот. Работа на кондитерской фабрике была одной из самых худших. Большие черные машины работали днем и ночью, выдавливая маленькие лепешки на движущиеся круглые противни. Я и другие женщины сидели на высоких табуретках, и, когда печенье проплывало мимо нас, мы должны были снимать их с горячего противня в тот момент, когда они становились золотистыми. Наша задача заключалась в том, чтобы положить на серединку кружочка полоску бумаги, сложить печенье пополам и придать ему нужную форму, пока оно не успело затвердеть. Если схватить печенье слишком рано, то горячее сырое тесто обожжет вам пальцы. Но если опоздать, то оно затвердеет еще до того, как вы успеете отвернуть первый краешек. И тогда вам приходится выбрасывать этот брак в стоявший рядом бочонок, что работает в итоге против вас, потому что хозяин может продать это печенье только как лом.

В конце первого дня я мучилась от боли во всех десяти пальцах — они покраснели и распухли. Эта работа была не для дураков. Там приходилось осваивать всё очень быстро, иначе пальцы превращались в сосиски-гриль. Поэтому на следующий день у меня горели глаза — я не спускала их с печеня. В последовавший за этим день у меня ныли руки, потому что приходилось держать их в постоянной готовности, чтобы успеть схватить печенье с противня вовремя. Но уже под конец первой недели я выполняла эту работу автоматически и настолько расслабилась, что заметила наконец-

то тех, кто трудился рядом со мной. С одной стороны от меня сидела никогда не улыбавшаяся старуха, которая, если сердилась, разговаривала сама с собой по-кантонски. Она бормотала как сумасшедшая. С другой стороны сидела женщина примерно моего возраста. В ее бочонке для брака было очень мало печенья. Но я подозревала, что она его съедает. Она была довольно пухленькая.

— Эй, *сюаюйи*, — обратилась она ко мне, перебивая шум машин. Мне было очень приятно услышать ее голос и обнаружить, что мы обе говорим на мандарине, хотя ее произношение было грубее, чем у меня. — Ты когда-нибудь думала, что будешь настолько могущественной, чтобы определять чью-либо судьбу? — спросила она.

Я не поняла, что она имела в виду. Поэтому она взяла в руки одну из бумажных полосок и прочитала вслух, сначала по-английски:

— «Не воюй и не вывешивай свое грязное белье на всеобщее обозрение. Победитель испачкается». — А потом перевела на китайский: — «Не следует одновременно воевать и стирать белье. Если ты победишь, твоя одежда останется грязной».

Я все еще не понимала, о чем она говорит. Тогда она взяла другую бумажку и прочитала по-английски:

— «Деньги — корень зла. Смотри вокруг и копай глубоко». — И потом по-китайски: — «Деньги оказывают дурное влияние. Человек теряет покой и начинает грабить могилы».

— Что это за чушь? — спросила я ее, пряча бумажки к себе в карман и думая, что мне следует выучить эти классические американские изречения.

— Это предсказания судьбы, — объяснила она. — Американцы считают, что это придумали китайцы.

— Но мы никогда ничего такого не говорим! — возмутилась я. — В этих словах нет никакого смысла. Это не предсказания судьбы, а какие-то глупые наставления.

— Нет, мисс, — сказала она, рассмеявшись, — это наша судьба глупа: мы сидим тут и делаем это глупое печенье, тогда как кому-то другому выпадает глупая судьба платить за него деньги.

Так я встретила Аньмэй Су. Да, да, тетю Аньмэй, такую старую сейчас. Мы с Аньмэй до сих пор смеемся над нашими глупыми судьбами и над тем, что потом они обернулись весьма полезной стороной и помогли мне найти мужа.

— Эй, Линьдо, — однажды во время работы сказала мне Аньмэй, — приходи в это воскресенье в церковь. У моего мужа есть друг, который

ищет себе хорошую жену-китайку. Он не гражданин, но я уверена, что он знает, как сделать гражданина.

Вот так впервые я услышала о Тинь Чжуне, твоём отце. Это было совсем не похоже на мое первое замужество, где все было predetermined заранее. В Америке у меня был выбор. Я могла либо выйти за твоего отца, либо не выходить и отправиться обратно в Китай.

С первого взгляда на него я почувствовала, что тут что-то не так: он оказался из Кантона! Как Аньмэй могла предположить, что я пойду за него замуж?! Но она объяснила всё очень просто:

— Мы больше не в Китае. Ты выходишь не за деревенского парня. Здесь все мы родом из одной деревни, даже если приехали из разных концов Китая.

Видишь, как изменилась тетя Аньмэй с тех давних пор?

Поначалу мы с твоим отцом оба очень смущались и не могли даже словом перемолвиться из-за разницы в наших китайских диалектах. Потом мы пошли на курсы английского и стали изъясняться друг с другом, используя те слова, которые успевали выучить на занятиях. В затруднительных случаях мы брали в руки листок бумаги и писали на нем по-китайски, что имелось в виду. По крайней мере, это связующее звено у нас было — листок бумаги и китайские иероглифы. Но представь, как трудно строить matrimониальные планы, не умея выразить своих намерений вслух. В такой ситуации не хватает всех этих маленьких знаков — подтрунивания и подкалывания, — по которым можно понять, насколько все серьезно. Мы же могли говорить только то, что узнавали от нашего учителя английского языка: «Я вижу мама. Мама мыла рама».

Но все-таки я довольно быстро поняла, что очень нравлюсь твоему отцу. Он устраивал настоящие китайские представления, когда пытался изобразить что-нибудь: бегал взад-вперед, подпрыгивал и запускал всю пятерню себе в волосы, и всё лишь для того, чтобы дать мне понять — *манджиль!* — какую бурную деятельность приходится развивать сотрудникам телефонной компании «Пасифик», в которой он нашел себе место. Ты не замечала у своего отца актерских дарований? Не знала, что у него была когда-то настоящая шевелюра?

Ах, потом-то я выяснила, что его работа была вовсе не такой, как он ее описывал. Она была не такая уж и хорошая. Даже сейчас, когда я уже могу говорить с твоим отцом по-кантонски, я спрашиваю его, почему он не может найти место получше. Но он ведет себя так, словно не прошли еще те времена, когда он не мог понять ничего из моих слов.

Иногда я спрашиваю себя, почему мне захотелось выйти замуж за

твоего отца. Думаю, именно Аньмэй заронила мне в голову такую мысль. Она сказала:

— В фильмах мальчики и девочки всегда передают друг другу записочки во время занятий, это будоражит воображение. Тебе надо взбудоражить воображение этого мужчины, чтобы до него дошло, чего ему не хватает. Иначе ты успеешь состариться раньше, чем это придет ему в голову.

Придя в тот вечер на работу, мы с Аньмэй стали пересматривать бумажные полоски с предсказаниями судьбы, чтобы найти для твоего отца подходящее изречение. Аньмэй читала их вслух и откладывала в сторону те, которые могли бы сработать: «Бриллианты девушкам лучшие друзья, так что не пытайся и конкурировать с такими соперниками»; «Если в твоей голове бродят такие мысли, тебе самое время обвенчаться»; «Конфуций говорит, что женщина заслуживает тысячу слов; скажи своей жене, что ты уже израсходовал на нее весь свой запас».

Мы смеялись над этими предсказаниями. Но я почувствовала, что держу в руках самое подходящее, когда прочитала: «Дом — не дом, если супруга нет в нем». Я не засмеялась. Я положила это изречение в печенье и скрепила его края так, словно вложила туда свою душу.

На следующий день после занятий я словно невзначай сунула руку в сумку и тут же отдернула ее с таким видом, будто меня укусила мышь.

— Что это? — воскликнула я, извлекла из сумки припасенное накануне печенье и вручила его твоему отцу. — Фу! Везде это печенье, меня уже тошнит от одного его вида. На, это тебе.

Даже в то время я знала, что у него такая натура — не допускать, чтобы что-либо пропало понапрасну. Он разломал это печенье, закинул обломки себе в рот, а потом развернул лежавшую в нем бумажку.

— Что там написано? — спросила я как можно небрежнее. Но он замолчал на некоторое время, и тогда я повторила: — Переведи, пожалуйста.

Мы гуляли по площади Портсмут, уже набежал туман, и я начала замерзать в своем тоненьком пальтишке. Поэтому я надеялась, что твой отец поторопится и наконец уже сделает мне предложение. Но вместо этого он с самым серьезным выражением лица произнес:

— Я не знаю, что значит слово «супруг». Вечером посмотрю в словаре и завтра скажу тебе.

На следующий день он спросил меня по-английски:

— Линьдо, ты согласна быть супруг со мной?

Я посмеялась над ним и сказала, что он использует это слово

неправильно. Он парировал шуткой в конфуцианском духе: если слова неправильны, то и намерения тоже. Целый день мы подтрунивали друг над другом в этом духе — вот так мы и решили пожениться.

Через месяц нас обвенчали в Первой китайской баптистской церкви, где мы с ним познакомились. А девять месяцев спустя у нас с твоим отцом появилось право на гражданство — твой старший брат Уинстон. Я назвала его так, потому что мне нравилось значение этих двух слов: «выигрывает тонну». Мне хотелось вырастить сына, который выиграет много всего: хорошее имя, деньги, прекрасную жизнь. В ту пору я говорила себе: «Наконец-то у меня есть все, что я хотела». Я была так счастлива, что не замечала, как мы бедны. Я видела только то, что у нас было. Откуда я могла знать, что Уинстон погибнет потом в автомобильной аварии? Такой молодой! Ему было только шестнадцать!

Через два года после Уинстона я родила еще одного сына, это был Уинсент. Это имя звучало как «выиграй цент», в нем слышался звон денег: в то время я уже стала подумывать, что мы кое в чем нуждаемся. А потом я разбила себе нос в автобусе. Вскоре после этого родилась ты.

Я не знала, что заставило меня измениться. Может быть, это искривившийся нос испортил мой образ мыслей. А может быть, я увидела тебя, и то, что ты, мое крохотное дитя, была похожа на меня, заставило меня разочароваться в моей жизни. Мне хотелось, чтобы у тебя все было лучше, чем у меня. Мне хотелось, чтобы у тебя были самые лучшие условия, самый лучший характер. Мне не хотелось, чтобы ты о чем-нибудь жалела. И поэтому я дала тебе имя Уэверли. Это было название улицы, на которой мы жили. Мне хотелось, чтобы ты думала: «Я отсюда». Но я знала при этом, что если я даю тебе имя по названию улицы,<sup>[12]</sup> то, когда ты вырастешь, ты покинешь это место, унося с собой какую-то часть меня.



Мистер Роури расчесывает мои волосы. Они теперь стали волнистыми и снова приобрели черный цвет.

— Ты выглядишь великолепно, мам, — говорит моя дочь. — На свадьбе все решат, что ты моя сестра.

Я смотрю в большое зеркало парикмахерской и вижу свое отражение. Изъянов своей внешности на таком расстоянии мне не рассмотреть, но я знаю, что они никуда не делись. Я передала их своей дочери. Те же глаза,

те же щеки, тот же подбородок. Ее характер был сформирован условиями, в которых жила я. Я смотрю на свою дочь и впервые замечаю нечто ужасное.

— Ай-йя! Что случилось с твоим носом?

Она смотрится в зеркало и не видит ничего особенного.

— Что ты имеешь в виду? Всё в порядке, — говорит она. — Нос как нос.

— Но когда он успел так искривиться? — спрашиваю я. Ее нос немного перекошен, и даже щека с одной стороны немного кривовата.

— О чем ты? — спрашивает она. — Это твой нос. Я получила его от тебя.

— Как это может быть? Твой нос совсем кривой. Тебе надо сделать пластическую операцию и исправить этот дефект.

Но дочь пропускает мои слова мимо ушей. Она приближает свое смеющееся лицо к моему озабоченному:

— Не паникуй. Наши носы не так уж плохи, — говорит она. — Из-за них мы выглядим себе на уме.

— Что это — «себе на уме»? — спрашиваю я.

— Это значит, что мы смотрим в одну сторону, а идем в другую. Мы за одних, но в то же время и за других. Мы знаем, что говорим, но у нас другие намерения.

— По нашим лицам можно догадаться об этом?

Моя дочь смеется:

— Ну, не обо всем, что мы думаем. Просто видно, что у нас два лица.

— Это хорошо?

— Это хорошо, если мы получаем все, что хотим.

Я думаю о наших двух лицах. Я думаю о своих намерениях. Какое из этих лиц американское? Какое китайское? Какое лучше? Если показываешь одно, то приходится поступаться другим.

Это напоминает мне то, что случилось, когда я приехала в Китай в прошлом году, после того как не была там почти сорок лет. Я сняла с себя все дорогие украшения. Я не носила одежду ярких цветов. Я говорила на их языке. Я использовала местные деньги. Но, несмотря на все это, они знали. Они знали, что мое лицо не на сто процентов китайское. Они все-таки выставляли мне высокие счета — как всем иностранцам.

Поэтому сейчас я думаю: «Что я потеряла? Что получила взамен?» Я спрошу свою дочь, как она считает.

## Цзиньмэй У

### Два билета в Шанхай

В ту минуту, когда наш поезд пересекает Гранину между Гонконгом и Китаем и въезжает в Шэньчжэнь, я начинаю чувствовать себя по-другому. Я ощущаю, как покалывает кожу на лбу, как кровь начинает течь по новому руслу, а в костях оживает давно знакомая боль. И я думаю, что мама была права: я становлюсь китайкой.

— С этим ничего не поделаешь, — говорила мама, когда мне было пятнадцать лет и я яростно отрицала наличие в себе чего бы то ни было китайского, кроме цвета кожи. Я была на втором курсе в колледже Галилея в Сан-Франциско, и все мои белые друзья дружно утверждали, что из меня такая же китайка, как из них. Но мама говорила, что знает всё про генетику: она училась в знаменитой школе медицинских сестер в Шанхае. И — сколько бы я ни спорила — она стояла на своем: раз ты рожден китайцем, ничего не попишешь, ты будешь мыслить и чувствовать как китаец.

— Однажды ты это сама поймешь, — сказала мама. — Это у тебя в крови и просто ждет случая, чтобы проявиться.

После этих слов мне представилось, что я, как оборотень, превращаюсь в кого-то другого или что-то внутри меня — что-нибудь вроде внезапно заработавшего в результате мутации участка ДНК — начинает коварно размножаться, и вскоре у меня возникнет некий синдром — набор предательских китайских привычек, всего того, что ужасно раздражает меня в мамином поведении: я начну торговаться с владельцами магазинов, на людях ковырять во рту зубочисткой, не признавать, что лимонный цвет с бледно-розовым — не самое лучшее сочетание для зимней одежды.

Но сегодня я осознаю, что никогда по-настоящему не понимала, что значит быть китайкой. Мне тридцать шесть лет. Моя мама умерла, а я сижу в поезде, который везет меня и вместе со мной ее надежды на возвращение домой. Я еду в Китай.

Сначала мы — я и мой семидесятидвухлетний отец Каннин У — поедem в Гуанчжоу, чтобы повидаться с его теткой, которую он не видел с десяти лет. И я не знаю, из-за предстоящей ли встречи или оттого, что он вернулся в Китай, отец кажется мне маленьким мальчиком, таким доверчивым и счастливым, что мне хочется поправить ему воротничок и потрепать по голове. Мы сидим друг против друга, разделенные откидным

столиком, на котором стоят две чашки остывшего чая. До сегодняшнего дня я никогда не видела у папы на глазах слезы, а ведь он смотрит всего-навсего в окно вагона, за которым видны только желтые, зеленые и коричневые квадраты полей, узкий канал, примыкающий к путям, невысокие пологие холмы да трое мужчин в синих спецовках, этим ранним октябрьским утром едущие куда-то на запряженной волами повозке. Я и с собой не могу ничего поделать. Мои глаза тоже застланы туманом, и мне кажется, будто я видела все это давным-давно и уже почти забыла.

Меньше чем через три часа мы будем в Гуанчжоу. Согласно моему путеводителю, так теперь следует называть Кантон. Похоже, все города, о которых я когда-либо слыхала, называются теперь по-другому. Наверное, это говорит о том, что Китай и во всем остальном тоже изменился. Чункин теперь Чунцин. А Куэйлинь — Гуйлинь. Я выяснила все это заранее, потому что после встречи с папиной теткой в Гуанчжоу мы собираемся лететь в Шанхай, где я впервые увижу двух своих сестер.

Это мамины дочери-двойняшки от первого брака, малышки, которых она вынуждена была бросить на дороге, когда бежала из Куэйлиня в Чункин в тысяча девятьсот сорок четвертом году. Ничего больше мама мне о своих дочерях не говорила, поэтому все эти годы они оставались в моем представлении младенцами, сидящими на обочине дороги. Засунув в рот крохотные красные пальчики, они слушают, как в отдалении со свистом падают бомбы.

Только в этом году кто-то их разыскал и сообщил нам эту радостную новость. Адресованное маме письмо пришло из Шанхая. Когда я впервые услышала о том, что они живы, в моем воображении эти одинаковые сестры превратились из младенцев в шестилетних девочек. Я представила, как они сидят рядышком за столом и передают друг другу перьевую ручку. Одна выводит аккуратный ряд иероглифов: «Дорогая мамочка! Мы живы». Она откидывает назад свою реденькую челку и передает ручку другой сестре, а та пишет: «Приезжай за нами. Пожалуйста, поскорее».

Конечно, они не могли знать, что мама умерла за три месяца до этого: совершенно внезапно, от кровоизлияния в мозг. За минуту до смерти она разговаривала с папой, жаловалась на верхних жильцов, придумывала, как бы выжить их под предлогом, что к нам переезжают родственники из Китая. И вдруг схватила за голову, закрыла глаза, начала нащупывать за спиной диван и, взмахнув руками, мягко осела на пол.

Так что первым распечатать и прочитать это письмо довелось папе — длинное письмо, как оказалось. Они действительно называли ее «мама». Они написали, что всегда почитали ее как свою настоящую мать. У них

сохранился ее портрет в рамке. Они описали ей всю свою жизнь, с того дня, как мама бросила на них последний взгляд на дороге из Куэйлиня, и до тех пор, когда они в конце концов нашлись.

Письмо так ужасно подействовало на папу — эти дочери, зовущие маму из другой жизни, которой он сам никогда не знал, — что он отдал его старой маминой подруге, тете Линьдо, с просьбой написать моим сестрам и как можно деликатнее сообщить им, что мама умерла.

Но вместо этого тетя Линьдо принесла письмо в Клуб радости и удачи, где они с тетей Иннин и тетей Аньмэй обсудили, что делать, поскольку знали о том, что мама разыскивала своих двойняшек и никогда не оставляла надежду их найти. Тетушки поплакали об этой двойной трагедии, о том, что потеряли маму три месяца назад и сейчас — снова. Теперь им оставалось только думать, как — разве что чудом! — воскресить маму, чтобы она узнала о том, что ее мечта сбылась.

И вот что они в результате написали моим сестрам в Шанхай: «Мои дорогие дочери, я тоже всегда помнила о вас и головой, и сердцем. Я никогда не расставалась с надеждой, что мы снова будем вместе и будем счастливы. Мне только жаль, что прошло так много времени. Я хочу рассказать вам всё о моей жизни с тех пор, как видела вас в последний раз. Я расскажу вам все это, когда мы приедем в Китай, чтобы с вами встретиться...» И поставили мамино имя в конце письма.

Пока тетушки этого не сделали, они не говорили мне ни о моих сестрах, ни об этих двух письмах — из Шанхая и в Шанхай.

— Теперь они будут думать, что она приедет, — прошептала я. В этот момент мои сестры представились мне девочками лет десяти-одиннадцати. Взявшись за руки, они прыгали от радости — косички разлетались в разные стороны, — что мама — *их* мама — приезжает, тогда как моя мама — умерла.

— Как можно сообщить в письме, что она не приедет? — спросила тетя Линьдо. — Это их мать. Это твоя мать. Твой долг сказать им. Все эти годы они мечтали найти ее.

И я согласилась с тетей Линьдо.

Но потом я тоже начала мечтать о маме и о сестрах и представлять себе, как все будет, когда я приеду в Шанхай. Все эти годы, пока они жили надеждой найти друг друга, я была с мамой и потом ее потеряла. Я воображала, как увижу своих сестер в аэропорту. Когда мы выйдем из самолета, они, привстав на цыпочки, будут жадно всматриваться в прибывших, с нетерпением переводя взгляды с одной черной головы на другую. А я узнаю их сразу же, по одинаково озабоченному выражению на

лицах.

«Цзэцзэ, изэцзэ! — Сестра, сестра! Мы здесь», — скажу я на своем никуда не годном китайском. «А где мама? — спросят они и начнут оглядываться, все еще улыбаясь, и лица у обеих покраснеют от радостного нетерпения. — Прячется?» Это было бы в мамином духе: постоять минутку поодаль, поддразнить тех, кто ждет, заставить их сердца забиться от нетерпения. Но я покачаю головой и скажу сестрам, что она не прячется. «Вон она, наверное, да?» — возбужденно зашепчет одна из сестер, показывая на какую-то маленькую женщину, буквально заваленную горой подарков. И это тоже было бы в мамином духе: привезти кучу подарков, сладостей и игрушек для детей — все купленное на распродажах — и отклонять благодарности со словами, что подарки просто ерунда, а потом выворачивать ярлыки, чтобы показать моим сестрам: «Кельвин Кляйн, шерсть 100 %».

Я представила себе, как начну говорить: «Дорогие сестры, мне очень жаль, но я приехала одна...» — и еще до того, как доскажу до конца, они прочтут всё на моем лице, губы их задрожат от боли, они начнут причитать, рвать на себе волосы и в конце концов убегут от меня. Потом мне представилось, как я сажусь в самолет и возвращаюсь домой.

Проиграв в уме эту сцену много раз — пронаблюдав многократно, как их отчаяние усиливается, переходит в ужас, а потом в злость на меня, — я уговорила тетю Линьдо написать им еще одно письмо. Сначала она отказывалась:

— Как я могу сообщить, что она умерла? Я не могу этого написать, — упрямо повторяла тетя Линьдо.

— Но это ведь жестоко — заставлять их ждать, что она прилетит, — сказала я. — Когда они увидят одну меня, они меня возненавидят.

— Возненавидят тебя? Не может быть. — Она нахмурилась. — Ты их сестра, их единственная родня.

— Вы не понимаете, — упорствовала я.

— Чего я не понимаю? — спросила она.

И я прошептала:

— Они подумают, я виновата в ее смерти, потому что недостаточно бережно к ней относилась.

И тетя Линьдо взглянула удовлетворенно и печально одновременно, как будто это было истиной, которую я в конце концов осознала. И уселась за стол на целый час, а встав, вручила мне письмо на двух страницах. На глазах у нее были слезы. Она сделала за меня то, чего я так боялась. Но даже если бы она написала о маминой смерти по-английски, у меня не

хватило бы духу прочитать это письмо.

— Спасибо, — прошептала я.

Ландшафт посерел, за окнами потянулись низкие и плоские бетонные строения, старые фабрики, а потом пошли пути, все больше путей, и все чаще проносились мимо встречные поезда. Платформы заполнены людьми в тускло-коричневой одежде западного образца; на этом фоне мелькают яркими пятнами малыши в розовом, желтом, красном и оранжевом. Попадаются солдаты в оливково-зеленой и красной форме и старые женщины в серых кофтах и брюках чуть ниже колена. Мы в Гуанчжоу.

Не успевает поезд остановиться, как люди кидаются снимать свои пожитки с верхних полок. На головы обрушивается настоящий град из тяжелых чемоданов с подарками для родственников, наполовину разорванных коробок, перевязанных километрами бечевки, чтобы не рассыпалось их содержимое, полиэтиленовых пакетов с мотками пряжи и овощами, упаковок сушеных грибов и зачехленных фотоаппаратов. А потом нас подхватывает людской поток, нас пихают и толкают туда-сюда до тех пор, пока мы не оказываемся в одной из десятка очередей, ожидающих таможенного досмотра. Я чувствую себя так, словно сажусь в Сан-Франциско на автобус номер тридцать, идущий в Стоктон. Я в Китае, напоминаю я себе. И каким-то образом напиральная на нас со всех сторон толпа перестает раздражать меня. Как будто так и должно быть. Я тоже начинаю толкаться.

Я беру бланки деклараций и свой паспорт. «У» проставлено наверху, а пониже — «Цзиньмэй, родилась в Калифорнии, США, в 1951 году». Интересно, не усомнятся ли таможенники, я ли это на фотографии в паспорте. Когда я фотографировалась, волосы у меня были зачесаны назад и красиво уложены, я уж не говорю о накладных ресницах, тенях, подведенных губах и бронзовых румянах, чтобы меньше выдавались скулы. Я же не предполагала, что в октябре может быть такая жара. Сейчас мои волосы слиплись и повисли сосульками, и на лице никакой косметики: в Гонконге тени потекли, а румяна лежали на коже как слой жира. Так что сегодня мое бесцветное лицо украшают только сверкающие капельки пота на лбу и на носу.

Но даже без косметики я никогда не могла бы сойти за настоящую китайку. Моя голова возвышается над толпой — ведь во мне целых пять футов и шесть дюймов — я вровень только с другими иностранцами. Мама как-то сказала, что рост я унаследовала от деда, который был родом с севера, и, возможно, в нем текла даже монгольская кровь.

— Больше твоя бабушка ничего не сказала, — объяснила мама. — А сейчас уже не у кого спросить. Все они умерли во время войны — твои бабушка с дедушкой, твои дядя, их жены и дети, — погибли, когда на наш дом упала бомба. Несколько поколений в одну секунду.

Она сказала это таким будничным тоном, что я подумала: видно, она уже давно пережила это горе. Но откуда у нее такая уверенность, что они все погибли?

— Может, их не было дома, когда упала бомба, — предположила я.

— Нет, — сказала мама. — Никого из наших родных больше нет. Остались только мы с тобой.

— Но откуда ты знаешь? Может, кто-нибудь сумел спастись.

— Этого не может быть, — сказала мама, теперь почти сердито. Но тут же хмурое выражение сменилось озабоченным, она начала рассказывать, как будто стараясь припомнить все подробности: — Я вернулась в этот дом, вернее на то место, где он должен был быть. Подняла голову, но увидела только небо. А под ногами у меня лежало четыре этажа обугленных балок и кирпичей, вся жизнь нашего дома. Вокруг валялись вещи, разбросанные взрывом по двору, ничего ценного. Там была кровать, на которой кто-то когда-то спал, теперь просто железная рама с одним погнутым углом. И книга, не знаю какая, потому что все страницы в ней почернели. Еще я увидела чайную чашку, она не разбилась, но была засыпана пеплом. А потом нашла свою куклу с переломанными ногами и руками и обгоревшими волосами... Однажды — я была еще маленькая — я увидела эту куклу в витрине магазина, она была такая одинокая, что я расплакалась от жалости, и мама мне ее купила. Это была американская кукла с желтыми волосами. У нее двигались руки и ноги. А еще у нее были закрывающиеся глаза. Когда я вышла замуж и уехала из родительского дома, я отдала эту куклу своей самой младшей племяннице, потому что она была на меня похожа. Она всегда носила эту куклу с собой и плакала, когда та терялась. Понимаешь? Если она была дома с этой куклой, там были и ее родители, а значит, все были вместе, потому что так было заведено в нашей семье.

Женщина в таможенной будке внимательно рассматривает мои документы, окидывает меня беглым взглядом, двумя быстрыми движениями ставит нужные штампы и суровым кивком велит мне проходить. Вскоре мы с папой попадаем на большую площадь, запруженную тысячами людей и чемоданов. Я чувствую себя потерянной, папа тоже выглядит довольно беспомощно.

— Простите, — обращаюсь я к похожему на американца мужчине. — Не могли бы вы подсказать, где тут можно найти такси? — Он бормочет что-то в ответ — похоже, на шведском или голландском.

— Сяо Э! Сяо Э! — слышу я пронзительный голос у себя за спиной. Какая-то старуха в желтом вязаном берете с полиэтиленовой сумкой в руках, в которой угадываются завернутые в бумагу безделушки. Мне кажется, что она пытается нам что-то продать. Но папа всматривается в эту крошечную, похожую на воробышка женщину. Широко раскрывает глаза, и на его просветлевшем лице появляется детская улыбка.

— *Айя! Айя!* — Тетушка! Тетушка! — с нежностью говорит папа.

— Сяо Э! — воркует моя двоюродная бабушка. Забавно, что она называет папу просто Дикий Гусенок. Это, должно быть, младенческое имя, которое дается, чтобы отгонять злых духов, похищающих детей.

Они протягивают друг другу руки — но не обнимаются! — и, не разнимая рук, начинают наперебой говорить:

— Посмотри на себя! Ты стал такой старый.

— А посмотри, как ты сама состарилась!

Оба, не стесняясь, плачут и смеются сквозь слезы, и я сама прикусываю губу, чтобы не расплакаться. Я боюсь заразиться их радостью, потому что думаю о том, какой трудной окажется завтрашняя встреча, когда мы прибудем в Шанхай.

Тетушка, сияя, вытаскивает поляроидный снимок папы. Папа предусмотрительно послал ей фотографии, когда сообщил, что мы приедем. Ах, какая она умная, хвалит она сама себя с важным видом, сравнивая папу с фотографией. Папа написал, что мы, как только приедем, позвоним ей из гостиницы, так что для нас с ним эта встреча — полная неожиданность. Интересно, будут ли мои сестры завтра в аэропорту?

Только теперь я вспоминаю про фотоаппарат. Я собиралась сфотографировать папу и его тетю в момент их встречи. Еще не поздно.

— Встаньте рядом, вот здесь, — говорю я, наводя на них объектив поляроида. Вспышка — и я вручаю им снимок. Они все еще стоят рядом, каждый держит свой угол фотографии, наблюдая, как на ней появляются их изображения. Оба затихают в почти благоговейном молчании. Тетушка всего на пять лет старше папы — значит, ей около семидесяти семи. Но она выглядит древней старушкой: настоящие живые мощи. У нее сморщенное личико, тоненькие белоснежные волосы и гнилые коричневые зубы. Хороши же истории про вечно молодых китайнок, говорю я себе.

Теперь ее воркование направлено на меня:

— *Чжэньдила.* Такая большая. — Она смотрит на меня снизу вверх и,

измерив мысленно мой рост, переводит взгляд на свою розовую полиэтиленовую сумку — это, очевидно, подарки для нас, — как будто прикидывая, что же дать мне теперь, когда выяснилось, что я такая большая и взрослая. И вдруг хватает меня за локоть своими острыми, как щипчики, пальцами и поворачивает кругом. Мужчина и женщина лет пятидесяти трясут папе руку, все улыбаются и ахают. Это старший сын тетушки со своей женой, рядом стоят еще четверо взрослых, примерно моего возраста, и девочка лет десяти. Знакомство происходит так быстро, что я едва успеваю уловить, что одна пара — внук тетушки с женой, а другая — ее внучка с мужем. Девочку зовут Лили, это правнучка.

Тетушка с папой разговаривают на мандарине, диалекте своего детства. Этот диалект я понимаю, но говорю на нем, конечно, гораздо хуже, чем они. Остальные члены семьи говорят только на кантонском, как все у них в деревне. Так что тетушка с папой без умолку болтают на мандарине, вспоминая друзей детства, и лишь изредка делают небольшие паузы, чтобы бросить кому-нибудь из нас пару слов по-кантонски или по-английски.

— О, так я и думал, — говорит папа, поворачиваясь ко мне. — Он умер прошлым летом. — Это я поняла и без него, мне только неизвестно, кто такой этот Ли Гон. Я чувствую себя как на ассамблее ООН, откуда разбежались все переводчики.

— Привет, — говорю я девочке. — Меня зовут Цзиньмэй. — Но она конфузится и отворачивается от меня, заставив своих родителей смущенно рассмеяться. Я пытаюсь припомнить кантонские слова, которые когда-то слышала от друзей в Чайнатауне, но в голову приходят только ругательства, слова для обозначения физиологических отправления и короткие фразы вроде «вкуснота», «воняет как на помойке», «ну и рожа». И тогда у меня появляется другой план: я беру свой поляроид и пальцем подзываю Лили. Она немедленно подсакивает, упирается одной рукой в бок на манер манекенщицы, выпячивает грудь и ослепляет меня зубастой улыбкой. Не успеваю я вынуть из аппарата снимок, как она уже стоит рядом, припрыгивая от нетерпения, и поминутно хихикает, наблюдая за процессом появления собственной персоны на зеленоватой поверхности.

К тому моменту как мы идем брать такси, чтобы ехать в гостиницу, Лили уже висит на моей руке и тащит меня за собой.

В такси тетушка говорит безостановочно, поэтому у меня нет никакой возможности спросить ее о том, что мы видим по дороге.

— Ты написал, что приедешь только на один день, — с возмущением говорит она папе. — Один день! Разве можно увидеть всех родных за один день! От Гуанчжоу до Тайшаня несколько часов езды. И что за идея

позвонить нам, когда приедешь! Чушь! У нас нет телефона.

У меня сердце ушло в пятки: уж не написала ли тетя Линьдо моим сестрам, что мы им позвоним из гостиницы в Шанхае?

А тетушка продолжает распекать папу:

— Я из кожи вон лезла, спроси моего сына, ночей не спала, все думала, как поступить! И мы решили, самое лучшее — приехать на автобусе из Тайшаня в Гуанчжоу, чтобы прямо с самого начала тебя встретить.

Теперь я задерживаю дыхание: водитель такси начинает лихо лавировать между автобусами и грузовиками, непрерывно сигналив. Кажется, мы едем по какой-то бесконечной эстакаде, что-то вроде моста над городом. Мне видны длинные ряды многоэтажных жилых домов, где почти на каждом балконе развешается вывешенное для просушки белье. Мы обгоняем городской автобус, так плотно набитый людьми, что их лица чуть ли не расплющиваются о стекла. Потом я вижу силуэты высоких домов — вероятно, это центральная часть Гуанчжоу. На расстоянии все высотные дома и новостройки смотрятся как обычный американский город. Когда мы, снизив скорость, въезжаем в более оживленный район, нам на глаза попадает множество маленьких, темных внутри магазинчиков с выставленными наружу лотками. Потом появляется здание с лесами вдоль фасада. Леса сооружены из бамбуковых шестов, связанных полиэтиленовыми лентами. Мужчины и женщины на узеньких подмостках скребут стену здания, работая безо всякой страховки, на них даже касок нет! Ого, думаю я, сюда бы на денечек какого-нибудь инспектора из Управления по технике безопасности.

Пронзительный голосок тетушки становится громче:

— Это же настоящий позор, что ты не посмотришь на нашу деревню и наш дом. Мои сыновья неплохо зарабатывают, торгуя овощами: у нас же теперь свободный рынок. За несколько лет мы накопили столько денег, что построили большой дом: трехэтажный, весь из нового кирпича, места хватает всем, еще и остается. И каждый год у нас всё лучше с деньгами. Не только у вас в Америке знают, как разбогатеть!

Такси останавливается, из чего я заключаю, что мы приехали. И вдруг вижу, что перед нами увеличенный вариант «Хайатт редженси». <sup>[13]</sup>

— И это коммунистический Китай? — вслух удивляюсь я и негромко говорю пале: — Это, должно быть, не та гостиница. — Быстро вытаскиваю наши бумаги, билеты, заказы на гостиницы. Я совершенно определенно попросила нашего агента из бюро путешествий подобрать что-нибудь недорогое, в пределах тридцати-сорока долларов. Я абсолютно в этом уверена. А в бумагах значится он самый: «Гарден-отель, Хуаньши Дун

Лу». Ну ладно, получит же он на орехи, наш агент!

Отель просто великолепен. Коридорный в полной форме и безукоризненно отутюженной шапочке подскакивает к нам и принимается перетаскивать вещи в холл. Изнутри отель напоминает торговый центр с рядами маленьких магазинчиков и ресторанов, сплошь гранит и стекло. Но все это не столько впечатляет меня, сколько беспокоит. Я думаю, во что нам обойдется вся эта роскошь. И потом, тетушка, конечно, решит, что мы, богатенькие американцы, даже одну ночь не можем провести без своих удобств.

Но когда я подхожу к стойке администратора, готовая возмутиться, что все перепутано, выясняется, что все правильно. Наши комнаты уже приготовлены и оплачены, тридцать четыре доллара каждая. Я чувствую себя так, словно меня обвели вокруг пальца. Тетушка же и остальные, похоже, вполне удовлетворены нашим сегодняшним пристанищем. Лили смотрит во все глаза на ряды игровых автоматов.

Все наше семейство загружается в один большой лифт, коридорный машет нам рукой и сообщает, что будет ждать нас на восемнадцатом этаже. После того как двери лифта закрываются, внутри воцаряется молчание, и разговор возобновляется, только когда они, ко всеобщему облегчению, снова раздвигаются. У меня возникает подозрение, что тетушка и остальные никогда не поднимались на лифте так высоко.

Наши с папой комнаты расположены рядом; они совершенно одинаковые: коврики, занавески, покрывала в бежевых тонах, цветной телевизор с дистанционным управлением, вмонтированным в ночной столик между двумя односпальными кроватями. В ванной стены и пол облицованы мрамором. Я обнаруживаю встроенный бар с маленьким холодильником, набитым банками пива «Хайнекен», кока-колы и «Севен-ап», миниатюрными бутылочками виски «Джонни Уокер», рома «Бакарди» и смирновской водки, пакетиками с драже «Эм энд эмс», засахаренными орешками и шоколадками «Кэдбери». И опять я произношу вслух: «Это коммунистический Китай?»

Папа приходит ко мне в комнату.

— Они решили, что мы никуда не пойдём и будем общаться здесь, — говорит он, пожимая плечами. — Они говорят: так будет меньше забот и больше времени поговорить.

— А как же обед? — спрашиваю я. Я уже несколько недель представляла себе свой первый настоящий китайский обед: большой банкетный стол с дымящимся супом в украшенной причудливой резьбой тыкве, с цыплятами, запечёнными в глине, с уткой по-пекински и кучей

закусок.

Пана подходит к столу и берет в руки буклет с перечислением гостиничных услуг, лежащий рядом с журналом «Тревел энд лейжер». Быстро перелистав страницы, он показывает мне меню.

— Вот что они хотят, — говорит папа.

Ну что же, решено. Мы будем обедать сегодня в номере, всей семьей, заказав гамбургеры, жареную картошку и яблочный пирог.

Тетушка и все остальные отправились вниз поглазеть на магазины, пока мы с папой приводим себя в порядок. После духоты в поезде мне не терпится принять душ и надеть что-нибудь полегче.

В пакетике с шампунем, обнаруженном мною в номере, оказалась темная жидкость, по цвету и консистенции очень похожая на соевый соус. «Я бы не очень удивилась, если бы так оно и было, — думаю я. — А никому не пожалуешься. Это Китай», — и втираю содержимое пакетика в свои слипшиеся волосы.

Стоя под душем, я понимаю, что впервые после прилета осталась одна. Кажется, уже целая вечность прошла. Но я не испытываю облегчения, а наоборот, чувствую себя очень одинокой. Я вспоминаю, как мама говорила, что мои гены активируются и я стану китайкой. Интересно, что она имела в виду?

В первое время после маминой смерти я начала задавать себе множество вопросов — вопросов, на которые только она могла бы ответить. Я как будто нарочно растревляла себя, словно стараясь самой себе доказать, как глубоко я страдаю.

Но сейчас я задаю себе вопросы скорее потому, что действительно хочу знать ответы. Какую свинину мама использовала для начинки, чтобы фарш получился мелким, как опилки? Как звали моих дядьев, погибших в Шанхае? Что все эти долгие годы мама думала о своих старших дочерях? Вспоминала ли она про них каждый раз, когда я выводила ее из себя? Хотелось ли ей, чтобы на моем месте были они? Пожалела ли она хоть раз, что это не так?



Я просыпаюсь в час ночи оттого, что кто-то барабанит пальцами по стеклу. Должно быть, я заснула в неудобной позе, и теперь все мышцы у

меня свело. Я сижу на полу, прислонившись к одной из кроватей. Рядом лежит Лили. Все остальные тоже спят, растянувшись на полу и на кроватях. За маленьким столиком сидит сонная тетушка. А папа смотрит в окно, барабаня пальцами по стеклу. Последнее, что я слышала из их разговора, — это как папа рассказывал ей свою жизнь с тех пор, что они не виделись. Как он поступил в университет в Пекине, как потом получил должность в газете в Чункине, где он встретил мою маму, молодую вдову. Как потом они вместе отправились в Шанхай на поиски маминых родителей, но нашли только развалины вместо дома. Потом перебрались в Кантон, оттуда — в Гонконг, Хайфон и в конце концов в Сан-Франциско...

— Суюань не говорила мне, что все эти годы пыталась разыскать своих дочерей, — произносит он теперь тихим голосом. — Конечно, я сам не заговаривал с ней на эту тему. Я думал, ей стыдно вспоминать, что она их бросила.

— Где же она их оставила? — спрашивает тетушка. — И как они нашлись?

У меня уже сна ни в одном глазу. А ведь я слышала почти всю эту историю от маминых подруг.

— Это случилось, когда японцы взяли Куэйлинь, — говорит папа.

— Японцы в Куэйлине?! — восклицает тетушка. — Не было такого и быть не могло. Японцы никогда не были в Куэйлине.

— Да, так писали в газетах. Но я знаю, что было на самом деле, потому что работал тогда в телеграфном агентстве. Гомиьндановцы сплошь и рядом нам указывали, о чем можно, а о чем нельзя сообщать. Но мы знали из своих источников, что японцы заняли провинцию Гуанси, мы получали сведения о том, что их войска захватили железную дорогу Ухань — Кантон и что они стремительно наступают со всех сторон, приближаясь к столице провинции.

Тетушка удивлена:

— Если никто этого не знал, как Суюань смогла узнать о приближении японцев?

— Ее предупредил под большим секретом один гомиьндановский офицер, — объясняет папа. — Муж Суюань тоже был офицером, а все знали, что офицеров и их семьи убивают в первую очередь. Поэтому она собрала кое-какие пожитки и посреди ночи, взяв своих двух дочерей, ушла из Куэйлиня пешком.

— Как она могла бросить таких крошек! — вздыхает тетушка. — Девочки-двойняшки. Нашей семье никогда не выпадала такая удача, — она зевает. — Как их зовут?

Я внимательно прислушиваюсь. Я ведь собиралась, обращаясь к ним, говорить просто «сестра». Но теперь мне хочется знать, как звучат их имена.

— Они носят фамилию отца, Ван, — говорит папа. — А зовут их Чан Ю и Чан Ва.

— Что это означает? — спрашиваю я.

— Ах, — папа рисует на стекле воображаемые иероглифы. — Один имя означать Весенний Дождь, другой — Весенний Цветок, — объясняет он по-английски, — потому что они родиться в весна, и, конечно, дождь сначала, цветок потом, в такой порядок девочки появиться на свет. Твой мама настоящий поэт, да?

Я киваю и вижу, что тетушка тоже кивает, но, кивнув, больше не поднимает головы. Она глубоко и шумно дышит. Она заснула.

— А что означает мамино имя? — шепотом спрашиваю я.

— Суюань, — говорит папа, и опять рисует невидимые иероглифы на оконном стекле. — Как она писать этот по-китайски, означать Заветный Желание. Очень красивый имя, не так простой, как называть цветок. Видишь первый иероглиф, значить «навсегда никогда не забывать». Но можно написать «Суюань» по-другой. Звучать одинаковый, но значение противоположный. — Его палец вычерчивает другой иероглиф. — Первый часть выглядеть такой же: «навсегда никогда не забывать». Но если последний часть добавить к первой, все вместе значить «затаить обида». Когда твой мать сердиться на меня, я сказать, ее имя должен быть Обида. — Папа смотрит на меня со слезами на глазах. — Видишь, я тоже очень умный, да?

Я киваю, пытаюсь придумать, чем бы его утешить.

— А что означает мое имя, — спрашиваю я, — что значит «Цзиньмэй?»

— Твой имя тоже особенный, — говорит он. Интересно, есть ли хоть одно китайское имя, которое не было бы особенным. — «Цзинь» как что-то превосходный, *цзинь*. Не просто хороший, а чистый, отборный, самый лучший качество. *Цзинь* — это то, что оставаться, когда ты удалять примеси от золото, или рис, или соль. Просто самый суть. А «мэй» — это обычный *мэй*, как в *мэймэй*, «младший сестренка».

Я думаю о том, что он сказал. Заветное мамино желание. Я, младшая дочь, которая должна была вобрать в себя все самые лучшие качества своих старших сестер. Опять я испытываю знакомую боль при мысли о том, как сильно должна была быть разочарована мама. Тетушка неожиданно вздрагивает, ее голова, дернувшись, откидывается назад, а рот открывается. Как бы в ответ на мой вопрос, она что-то бормочет во сне,

поудобнее устраиваясь в кресле.

— Почему же она бросила детей на дороге? — Мне необходимо это знать, потому что сейчас я тоже чувствую себя покинутой.

— Долгий время меня тоже удивлять, — говорит папа. — Но потом я читать письмо из Шанхай, как ее дочери написать; потом я говорить тетя Линьдо и остальные. Теперь я знать. Никакой позор, что она сделать. Совсем нет.

— Что же произошло?

— Твоя мама бежать из... — начинает папа.

— Нет-нет, говори по-китайски, — перебиваю его я. — Правда. Я всё пойму.

И он начинает говорить, по-прежнему стоя у окна и глядя в ночь.



— Бежав из Куэйлиня, твоя мама шла несколько дней, надеясь отыскать главную дорогу. Она думала, что там скорее остановит попутный грузовик или повозку, чтобы добраться до Чункина, где находился ее муж.

Она зашила в подкладку деньги и драгоценности, которых, как ей казалось, должно было бы хватить, чтобы расплачиваться за попутки. Если повезет, думала она, то даже не придется продавать тяжелый золотой браслет и нефритовое кольцо. Эти вещи достались ей от ее матери, твоей бабушки.

Но настал уже третий день, а платить ни за что не пришлось. Дороги были забиты людьми, и все беженцы бросались к проезжающим машинам и умоляли каждую взять именно их. Но грузовики проносились мимо, боясь остановиться. Поэтому твоя мама никаких попуток не нашла, зато у нее появились первые признаки дизентерии.

Ее плечи болели от тяжелой ноши, а на ладонях вздулись пузыри от двух кожаных чемоданов. Потом пузыри лопнули и начали кровоточить. Спустя какое-то время она бросила чемоданы, оставив только еду и что-то из одежды. А потом бросила и сумки с мукой и рисом и прошла так еще много миль. Она шла и пела песни своим малышам, пока ее рассудок не помутился от боли в животе и жара.

А потом и последние силы иссякли. Она больше не могла сделать ни шагу. Она больше не в состоянии была нести своих детей. Она опустилась на землю и поняла, что так или иначе умрет: от дизентерии, или от жажды,

или от голода, а может быть, погибнет от рук японцев, которые, в этом она не сомневалась, шли за беженцами по пятам.

Она вытащила детей из перевязи, посадила на обочину и легла рядом. «Девочки мои, вы такие хорошие, такие послушные», — сказала она. Они улыбнулись в ответ и протянули к ней свои пухлые ручонки, просясь на руки. И тогда она поняла, что не сможет смотреть, как ее малыши умирают вместе с ней.

Мимо проходила семья с тремя маленькими детьми в тележке. «Возьмите моих детей, умоляю!» — закричала она. Но они посмотрели на нее пустыми глазами и не остановились.

Потом она увидела какого-то мужчину и окликнула его. На этот раз ей повезло: человек остановился, но у него оказалось такое ужасное лицо — твоя мама говорила, что он был похож на саму смерть, — что она с содроганием отвернулась.

Когда на дороге все стихло, она распоролa подкладку и засунула под рубашечку одной девочки все драгоценности, а второй — все деньги. Она достала из кармана фотографии родных — отца с матерью и свою свадебную — и написала на обороте каждой имена детей и еще несколько слов: «Пожалуйста, позаботьтесь об этих детях, возьмите деньги и драгоценности. Когда все успокоится, отвезите их в Шанхай, Вайчан Лу, 9, семья Ли вас щедро вознаградит. Ли Суюань и Ван Фучи».

Потом она погладила девочек по щечкам и велела им не плакать. Она пойдет поискать для них еды и скоро вернется. И, не оглядываясь, побрела по дороге, спотыкаясь и плача, надеясь только на то, что найдется добрый человек, который подберет ее дочерей и позаботится о них. Ни о чем другом она себе не позволяла думать.

Она не помнила, далеко ли ушла, когда потеряла сознание и как ее подобрали. Очнувшись в кузове подпрыгивающего на ухабах грузовика, где лежали еще несколько стонущих людей. Она пронзительно закричала, решив, что ее везут в буддийский ад. Но над ней склонилось лицо американской миссионерки. Эта женщина, улыбаясь, ласково заговорила с ней на незнакомом языке. И все же каким-то образом твоя мама всё поняла. Ее спасли просто так, из добрых побуждений, но возвращаться обратно и спасать детей было уже поздно.

Маму привезли в Чункин. Там она узнала, что ее муж погиб две недели назад. Позже она рассказывала, что расхохоталась, когда ей об этом сообщили: она совсем обезумела из-за болезни и отчаяния. Преодолеть такое расстояние, так много потерять и ничего не найти.

Я познакомился с ней в госпитале. Она лежала на койке, истощенная

дизентерией, и почти не могла пошевелиться. Я попал туда из-за ноги: обломком камня мне оторвало палец. Она бормотала что-то, разговаривая сама с собой.

— Посмотри на эту одежду, — сказала она, и я увидел, что платье на ней было весьма неподходящим для военного времени. Атласное, грязное, но, несомненно, когда-то очень дорогое.

— Посмотри на это лицо, — сказала она, и я взглянул на ее серое лицо и увидел ввалившиеся щеки и лихорадочный блеск в глазах. — Видишь, я, глупая, еще на что-то надеюсь?

— Мне казалось, я потеряла всё, кроме этих двух вещей, — прошептала она. — И я спрашивала себя, что потеряю следующим. Надежду или одежду? Одежду или надежду?

— А теперь смотри внимательно, сейчас ты кое-что увидишь, — сказала она, рассмеявшись, словно от радости, что ее молитвы услышаны, и стала клочьями вырывать из головы волосы с такой легкостью, с какой стебли пшеницы выдергиваются из сырой земли.

Их нашла старая крестьянка. «Разве я могла устоять?» говорила она потом твоим сестрам, когда они выросли. Они все еще послушно сидели в том месте, где их оставила твоя мама, и были похожи на маленьких фей, ожидающих прибытия своего паланкина.

Эта женщина, Мэй Цин, и ее муж, Мэй Хань, жили в каменной пещере. В Куэйлине и его окрестностях были тысячи таких пещер, настолько укрытых от глаз, что люди продолжали там прятаться даже после окончания войны. Каждые несколько дней супруги Мэй выбирались из своей пещеры, чтобы пополнить запасы еды из брошенных на дороге продуктов; иногда им попадались вещи, которые, по мнению обоих, было бы непростительно оставить. Так, однажды они принесли в пещеру набор красиво расписанных чашек для риса, в другой раз — скамеечку для ног с бархатной подушечкой и два новых свадебных покрывала. А однажды они принесли твоих сестер.

Супруги Мэй были очень набожные люди, мусульмане, и они верили, что двойняшки — знак двойной удачи. Они убедились в своей правоте в тот же вечер, когда обнаружили, какими драгоценными оказались младенцы. Ни она, ни ее муж никогда не видели таких браслетов и колец. Их восхитили фотографии, и они поняли, что дети из хорошей семьи, но оба, и муж, и жена, не умели ни читать, ни писать. Только много месяцев спустя Мэй Цин нашла кого-то, кто прочитал им надписи на фотографиях. К тому времени она полюбила девочек как своих собственных детей.

В тысяча девятьсот пятьдесят втором году Мэй Хань, ее муж, умер. Двойняшкам уже было по восемь лет, и Мэй Цин решила, что наступило время разыскать настоящую родню твоих сестер.

Она показала девочкам портрет их матери и сказала, что они родились в хорошей семье и что она отвезет их в Шанхай, к их настоящей матери и бабушке с дедушкой. Мэй Цин рассказала и о вознаграждении, ожидавшем того, кто найдет детей, но поклялась, что откажется от него. Она очень любила девочек и хотела только одного: чтобы им досталось то, что суждено по рождению — хорошая жизнь, богатый дом, образование. Может быть, родные девочек позволят ей остаться при них в качестве няни. Да, она уверена, что они будут на этом настаивать.

Конечно, когда она нашла нужное место, ничего похожего на богатый дом там не было. На Вайчан Лу, 9, в бывшей французской концессии, стояло недавно построенное фабричное здание, и никто из рабочих не знал, что случилось с семьей, чей дом сгорел на этом месте.

Мэй Цин, естественно, не могла знать, что мы — твоя мама и я — уже побывали там в сорок пятом году в надежде найти и ее родителей, и дочерей.

Мы с твоей мамой оставались в Китае до сорок седьмого года и объездили много городов: были в Куэйлине, в Чанша и еще южнее, даже в Куньмине. Повсюду мама краем глаза высматривала в толпе двойняшек — сперва малюток, затем девочек постарше. Потом мы уехали в Гонконг, а когда в сорок девятом насовсем уезжали оттуда в Соединенные Штаты, мне казалось, что даже на борту корабля она присматривалась ко всем детям. Но с тех пор, как мы приехали, больше о них не говорила. И я подумал: всё, они умерли в ее сердце.

Но как только появилась возможность свободно посылать письма из Соединенных Штатов в Китай, она написала своим старым друзьям в Шанхай и Куэйлинь. Я не знал, что она это сделала; уже потом тетя Линьдо мне рассказала. Но, конечно, к тому времени улицы были переименованы, кто-то умер, кто-то переехал. Так что прошло много лет, пока она узнала адрес своей школьной подруги и написала ей, попросив поискать ее дочерей, а та ответила, что это так же безнадежно, как искать иголку на дне моря. «С чего ты взяла, что твои дочери должны быть в Шанхае, а не где-нибудь в другом конце Китая?» Подруга, конечно, не стала спрашивать у твоей мамы, с чего она вообще взяла, что девочки еще живы.

Так что мамина одноклассница не стала их искать. Разыскивать детей, пропавших во время войны, — пустая затея, у нее не было на это времени.

Но твоя мама каждый год писала разным людям. А в прошлом году, я

думаю, у нее возникла грандиозная идея — самой отправиться в Китай на поиски. Помню, как она мне сказала: «Каннин, мы должны поехать, пока еще не слишком поздно, пока мы еще не совсем состарились». А я ответил ей, что мы уже совсем состарились и что уже слишком поздно.

Я думал, она хотела поехать просто с тургруппой. Я же не знал, что она собиралась разыскивать своих дочерей. По-видимому, когда я сказал: «уже слишком поздно», ей в голову пришла ужасная мысль, что ее дочерей нет в живых. Наверное, она не могла перестать думать об этом, и эта мысль убила ее.

Возможно, одноклассницу из Шанхая навел на твоих сестер мамин дух. Потому что уже после смерти мамы эта подруга случайно, отправившись покупать себе туфли, увидела твоих сестер. Она сказала, что это было похоже на сон: она вдруг заметила двух женщин, поразительно похожих друг на друга. Они спускались по лестнице в универмаге на улице Наньцинъ Дун. Что-то в выражении их лиц напомнило ей твою маму.

Она догнала их и окликнула по именам. Они, разумеется, даже не оглянулись, потому что Мэй Цин дала им другие имена. Но подруга твоей матери была настолько уверена, что не отступила. «Разве вы не Ван Чан Ю и не Ван Чан Ва?» — спросила она. И тогда эти женщины, похожие как две капли воды, пришли в страшное волнение, потому что вспомнили имена, написанные на обороте старой фотографии — фотографии молодых мужчины и женщины, которых они всю жизнь почитали как своих настоящих, горячо любимых родителей и которые, как они думали, наверное, умерли и превратились в духов, все еще скитающихся по земле в поисках своих детей.



В аэропорт я приезжаю совершенно разбитой. Ночью я совсем не спала. Мы с тетушкой ушли ко мне в номер в три часа утра, и она тут же заснула на одной из кроватей, захрапев как дровосек. А я пролежала всю ночь, не смыкая глаз. Думала о маминой истории, о том, как мало я о маме знала, снова и снова переживала, что мы с моими сестрами ее потеряли.

И теперь в зале аэропорта, пожав всем руки, помахав на прощанье, я размышляю о том, как по-разному мы расстаемся с людьми в этом мире. Бодро машем друг другу руками в аэропорту, зная, что никогда больше не встретимся. И наоборот, в надежде на скорую встречу оставляем детей на

обочине дороги. Обретаем собственную мать в рассказе отца и расстаемся с ней, уже не имея возможности когда-либо узнать ее получше.

Мы ждем объявления о посадке на наш рейс. Тетушка мне улыбается. Я обнимаю одной рукой ее, а другой — Лили. Они одного роста. И вот уже пора. Пока мы в последний раз машем друг другу на прощанье и идем в зал вылета, у меня возникает чувство, будто я еду с одних похорон на другие. В моей руке — два билета в Шанхай. Через два часа мы будем там.

Самолет взлетает. Я закрываю глаза. Как мне рассказать им на своем ломаном китайском о жизни нашей мамы? С чего начать?

— Просыпайся, прилетели, — говорит папа. И я просыпаюсь с колотящимся в горле сердцем. Смотрю в окно: мы уже приземлились. Снаружи все серое.

И вот я спускаюсь по трапу на посадочную полосу и иду к зданию аэропорта. Если бы, думаю я, если бы только мама дожила до этого дня. Я так нервничаю, что даже не чувствую под собою ног. Они сами меня куда-то несут.

Кто-то кричит: «Приехала!» И тут я вижу ее. Ее короткие волосы. Ее маленькую фигурку. Знакомое выражение лица. Она крепко прижимает ладонь тыльной стороной к губам и плачет, плачет так, будто прошла через тяжелейшее испытание и теперь счастлива, что оно позади.

Я знаю, что это не мама, хотя вижу ее лицо. Точно таким оно было в тот день, когда я потерялась. Мне было тогда лет пять, и мама меня потеряла, целых полдня не могла нигде найти и уже решила, что ее дочери нет в живых, когда я с заспанной физиономией вылезла из-под своей кровати. Глядя на это чудо, мама плакала и смеялась и кусала свою руку, чтобы удостовериться в том, что это правда.

И снова я вижу ее, одну в двух лицах, она машет мне зажатой в руке поляроидной фотографией, которую я им отправила. И как только я выхожу за ворота, мы бежим друг к другу и обнимаемся, все трое, забыв про свои опасения и страхи.

— Мама, мама, — бормочем мы так, будто она здесь, с нами.

Мои сестры оглядывают меня с гордостью.

— *Мэймэй чжэньдила*, — гордо говорит одна другой. — Маленькая сестренка выросла.

Я снова смотрю на их лица и не вижу в них ничего мамино. И все же они мне знакомы. И теперь я наконец понимаю, какая часть во мне китайская. Это совершенно очевидно. Это моя семья. Это наша кровь. Сколько лет должно было пройти, чтобы я сама это почувствовала.

Мы стоим обнявшись, смеемся и вытираем друг другу слезы. Нас ослепляет вспышка поляроида, и папа вручает мне снимок. Притихнув, мы с сестрами, не отрываясь, смотрим за тем, что на нем происходит.

На серо-зеленой поверхности проступают яркие пятна наших лиц, одновременно прорисовывающихся и обретающих глубину. И хотя никто ничего не говорит, я знаю, что мы все это видим: из трех наших лиц составляется одно — мамино. Ее губы, ее глаза, увидевшие наконец-то, как сбывается ее заветное желание.



Первая публикация романа Эми Тан «Клуб радости и удачи» (в сокращении) в переводе О. С. Савоскул (под редакцией К. Я. Старосельской) была осуществлена журналом «Иностранная литература» в 1996 г. (№ 9).

# Примечания

**1**

Распространенное в Америке название китайских кварталов: *букв. Китай-город. — Здесь и далее примечания переводчика.*

**2**

Китайские пельмени.

**3**

Китайское овощное блюдо.

**4**

Во время праздника Луны в Китае широко используют изображение зайца в качестве декоративного элемента, ибо считают, что сочетание темных и светлых пятен, наблюдаемых на Луне, образует рисунок, похожий на зайца.

**5**

В английском языке слова «судьба» (fate) и «вера» (faith) звучат похоже.

**6**

Престижный университет в штате Калифорния.

**7**

Английское название ветрянки.

**8**

Сеть государственных колледжей в Сан-Франциско.

## 9

По-английски цветок называется еще более устрашающе — «драконий оскал».

## 10

Суюань не уловила, что жилец произнес не название китайской провинции, а нецензурное слово в ее адрес.

## 11

Шутка основана на игре слов: rich — богатый и Rich — Рич, сокращенная форма от имени Ричард.

## 12

Полное название улицы — Waverly Place — переводится как «переменчивое место».

## 13

Роскошный американский отель.